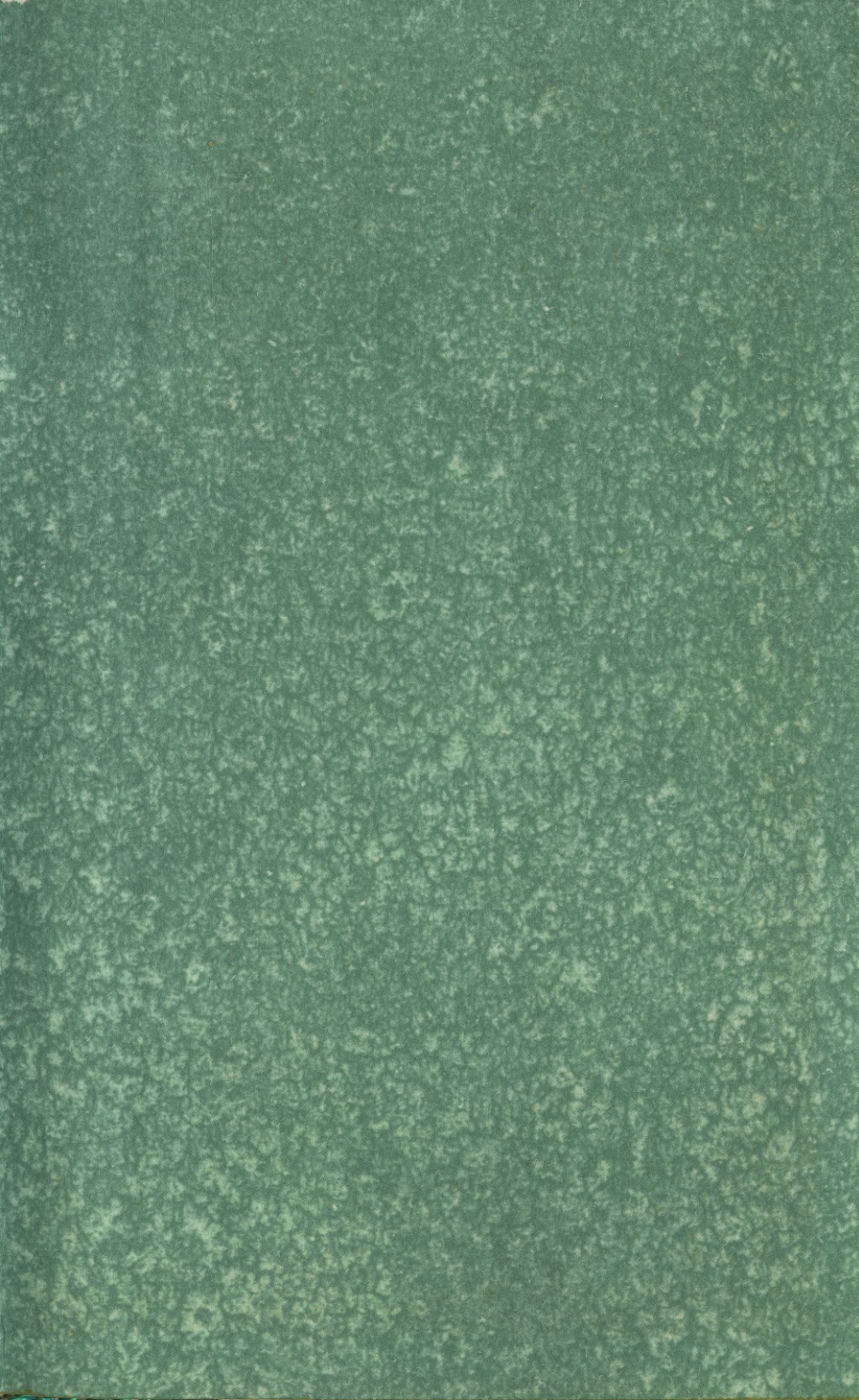


АЛЕКСАНДР
БЛОК

АЛЕКСАНДР БЛОК

5



1880 · 1980



АЛЕКСАНДР БЛОК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

М.А.ДУДИНА

В.Н.ОРЛОВА

А.А.СУРКОВА

ЛЕНИНГРАД • «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • 1982

АЛЕКСАНДР БЛОК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 5

ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА
1906 · 1921

АВТОБИОГРАФИЯ
1915

ИЗ ДНЕВНИКОВ
И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
1901 · 1921

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ
1918

ЛЕНИНГРАД · «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1982

ББК 84.Р1
Б70

СОСТАВЛЕНИЕ ВЛ. ОРЛОВА

ПРИМЕЧАНИЯ
И. ИСАКОВИЧ и ВЛ. ОРЛОВА

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА
И. ИСАКОВИЧ

ОФОРМЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА
Н. НЕФЕДОВА

Б 4702010100-084
028(01)-82

подписное

© Состав, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1982 г.



ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ДЕВУШКА РОЗОВОЙ КАЛИТКИ И МУРАВЬИНЫЙ ЦАРЬ

1

Несколько лет тому назад мне пришлось проводить лето в южной Германии, в Гессен-Нассау. Из пыльного, безнадёжного белого курорта в стиле *moderne* выходишь на высокие холмы, где, по большей части, торчит серая башня из ноздреватого, выветрившегося камня. Туристы влезают туда, крутят вверху носами, любуясь на виды, и лопочут дикие и ненужные речи об окрестных пейзажах на разноплеменных языках. Правда, страна богатая, тучная страна открывается с горной башни: хлебные пажити, красные крыши частых жилищных селений, где мельница вертит гигантское колесо. Колесо приводит в движение поршень, тянущийся по полям и холмам, под железнодорожной насыпью на несколько километров. Гуляешь вдоль этого поршня, сядешь и покатаешься на нем, боязливо оглядываясь, чтобы культурные немцы не согнали некультурного русского со своего поршня. Жарко невыносимо, нивы наливаются, черешни краснеют по краям шоссе, никем не охраняемые, пирамидальные тополя в пыли. А все-таки хорошо (особенно по воспоминанию); точно зеленым Рейном пахнет, да и правда, Рейн недалеко, и, верно, зеленый, в холмистых берегах.

Романтическая страна. В курорте скука — тоже зеленая. Сам «творишь» свою жизнь, свое отчаянное безделье и русскую скуку и лень. Немцы и англичане деловито гуляют в парке и на террасе кургауза с газетами и сигарами. В 11 часов на улицах уже нет ни души, «шпенеры»* не громяют; только русские, самые непокорные и незаконные люди, нарушая курортный режим, гуляют в парке и над озером, где совсем сказочные лебеди и туманы. Ну, конечно, объясняются

* Ш п е н е р ы — повозки (нем. Spänner). — *Ред.*

в любви и целуются на скамейках, пользуясь сном «для здоровья» благоразумных европейцев. Только, к несчастью, и целуются, пожалуй, тоже от безделья и скуки, как-то «авантюрно» и, вернувшись в свою столицу, нежно рассказывают чиновным приятелям о летних приключениях. И свидания над туманным озером еще больше нагоняют скуку, знаешь, что через месяц-два поплетешься по Невскому под мокрым снегом. И эти любовники тоже поплетутся, он — в Петербурге, а она — в Кишиневе. Скука.

Днем по солнцепеку идешь за город — среди нив. Сначала — салины-градирни, которые приводятся в движение бесконечно длинным поршнем. Это — высокие стены, туго набитые хворостом; под ними — деревянные резервуары, куда, серебристо звякая, без усталости падает жидкая соль. Против салин, задрав ноги и сопя, сидят особы обоего пола с книжками из немецкой библиотеки. Они вдыхают соль ртами и носами и представляют комментарий к тексту: «если соль потеряет свою силу, кто сделает ее соленою».¹ По крайней мере, судя по их позам, лицам, пиджакам и юбкам, думается, что никакая сила в мире не возвратит им их утраченную соль.

От такого зрелища одичалый и здоровый русский (каковым был и я) шарахается в поле. Густо колосится рожь, за нею — сырые стены города и замка, куда я направляю путь. Если наклониться во ржи, чувствуешь себя в России: небо синее, и колосья спутанные, и пробитая среди них тропа. Идешь мимо целебных ключей, где закупоривают бутылки и всюду виднеются надписи: Brunnen * такой-то. Шоссе. Красные арки большого железнодорожного моста через зеленую ложбинку, которая одним восклоном своим возносит меня незаметно на большую высоту — сразу на площадь городка, которому несколько сот лет.² Кружишь по закоулкам, стучишь по кривым плитам, минуешь гофмановские крылечки перед дверьми с узорной ручкой. Там обитают бритые сказочные тайные советники. От роз даже душно: всюду они — большие и мелкие, колючие, цепкие, бледные, яркие, густо-красные, нежно-желтые и белые, как платье Гретхен. Вдруг натыкаешься на собор, на узкой площади, и в сотый раз делаешь наивное открытие: романтическая страна. Окна стрельчатые,

* Источник (нем.). — Ред.

вышина громадная, только из-за узеньких домиков не видно. В углу у водосточного желоба — груды обломанных фигурок, свалившихся с крыши и тщательно подметенных. Это — те самые химерические уродцы, которые сидят на Notre Dame.³

Наконец, вот широкая площадь со старым дворцом и домом бургомистра. В тенистом углу — крошечная калиточка, чуть заметная, в серой каменной стене. Привратник впускает в нее и покидает посетителя. Начинается сказка.

2

Калитка распахнулась. Сразу бросается в глаза непомерный горизонт, обрамленный городами, селами, дымками локомотивов, синими рощами, белыми жаркими облаками. Что-то упорно-новое, распирающее грудь, то новое, что всегда дразнит чудесами и заставляет любить даль. Но только ли от дали эта новизна? Нет, я попал в новую страну. Меня окружает узкий и длинный сад, разбитый на валу германского замка. С вала я вижу даль, а за валом сразу срывается земля и стена и открывается зеленый ров, куда страстно, до головокружения, хочется полететь. До сих пор я был в немецком городке, среди немецких полей, рощ и насыпей. Теперь я в стране германской легенды. От того — прежнего, исторического, мертвого — меня отделяет лишь маленькая калитка.

Даже прохладнее. В самый жаркий полдень над садом господствует тень древней стены. Стена эта окрепла от равнинных дуновений. Красный герб древнего владельца впитал в себя всю соль окрестной равнины, и не разобрать уже на нем полустертых латинских слов. Но, конечно, это вечный девиз, и если бы я начертал его на своем щите, то прожил бы долгую жизнь властелина, и распри мои с миром были бы такие же свободные и мирные, как этот ветер, освежающий лицо: просто, я покори́л бы сердца всех золотокудрых красавиц, я заточил бы непокорного вассала в сырое подземелье; под игом моим была бы вся окрестная страна; вон та башня, которая торчит на дальней горе, была бы моей дозорной башней. А злодей со сросшимися бровями лежал бы мертвый во рву. И там текла бы прозрачная, злая, непорочная вода.

Всему, всему веришь за этой калиткой, обновившей меня по крайней мере на весь день. Верно, я стал красив. Чужая красота дохнула на меня. Верно, и сердце мое — раскрывающийся розовый бутон. По крайней мере я люблю сейчас и тебя, Германия, как старое крепкое вино, и тебя, золотокудрая немка, чуть заметная на зеленой равнине.

Середина сада вынута и представляет второй неглубокий ров, через который перекинут мостик. Земли и нет как будто. Земля «исчерпана»; очарования мои «неземные», и я хочу говорить, как романтик. Со дна лощины поднялись стволы и взбежал кустарник. Плющ все обнял своим забвением. Вокруг лощины идет аллея, действительно «идет» — медленным шагом взбирается, — и вот потекла по самому краю стены, постепенно открывая виды, уходя в купы стриженных лип, окружаясь розами и георгинами. Здесь розы бледны, они слишком много любили; здесь георгины — усталые, тень упоила их мутно-лиловые склоненные головы. Нет цветов лучше роз и георгин; как жизнь прекрасна среди таких цветов!

Вот аллея пошла круче; ее дыхание затруднилось, она взбежала куда-то, как живая. Здесь — крайняя точка сада, там — *конец*: остается только прыгнуть в зеленый ров, перегнувшись на ту сторону стены, на ветер, в чужую жизнь, прямо в объятия старого городка, который подбежал снизу: городок малый, красноголовый, хищный жадно заглядывает в старое свое святилище, он готов принять меня в свою «малость».

Аллея кончилась угрозой. На краю стены растопырилась беседка, серый зверь — из неободренных древесных стволов. Там — такое же кресло, такой же столик. Точно сидит в этом кресле нелепый обрубок прошедшего — низколобое существо; точно стоит перед ним на столе толстоногий золотой кубок с древним хмелем. Существо хлебает сладкий напиток, и перо хлопает беспорядочно по шляпе. Оловянные у него глаза. Топорный у него подбородок и уродливый нос. Серое чудище, — и ветер вокруг ходит серый.

Лучше я сохранию мою нежность и возвращусь к моим георгинам, в жилище пажей. Они как будто ныряют в розовых кустах — гибкие и смеющиеся мальчики. Обгоняют друг друга вприпрыжку. Я думаю, каждого по очереди целует владычица замка; она делит ме-

жду ними свои ночи, пока низколобый господин наблюдает из беседки, всюду ли горят сторожевые огни, не спят ли на валу верные латники.

От толстого ствола стриженной липы отделилась толстая ветка. В этом месте лежит черная маска, оставленная в одну из безумных германских ночей прошлых столетий. Дырявые и мертвые ее глаза смотрят все еще нежно. Верно, владелица испытала в ней первый восторг. Прохожу, — паж бегают где-то в другом конце сада. Право, он ищет кого-то. Как упорно ищет, и сколько столетий, а все еще молод! Он хочет поцеловать госпожу — где госпожа?

И вот — влюбленной моей думой, расцветшей душою, моим умом, все-таки книжным, я различаю и госпожу. Но она присутствует здесь лишь как видение. Утратила она свою плоть и стала «ewig-weibliche».* Все в розах ее легкое покрывало, и непробудны ее синие глаза. Паж ищет ее столько столетий, но он не прочел тех книг, которые прочел я. Потому он, глупый, все еще бегают по саду, у него губы дрожат от страсти и досады, он уронил свой коротенький плащик, стал совсем тоненький и стройный. Оперный пажик. Никогда он ее не найдет. Разве можно найти там, где все так увлажнено, пышно, где земля исчерпана и все в каком-то небесном расцвете, в вечном разделении. Ищи, паж, на то ты не русский, чтобы всегда искать и все не находить. Далекую ищи, но далекая не приблизится. Придет к тебе — тонкая, хорошенькая дочь привратника. Лняные будут у нее косы, и она музыкальным голосом расскажет тебе, где продаются самые свежие булки и сколько детей у бургомистра. Она покраснеет и опустит шелковые ресницы, и ты примешь ее за далекую, и будешь целовать ее, и откроешь булочную на Bürgerstrasse.** Она будет за прилавком продавать немцу самые лучшие булки и приумножит светленькие пфенниги. Она — тоже розовая, и на кофточке ее приколата роза, и розой прикрывает она грудь, когда ты возишь ее на бургерские вечеринки. Да, ты счастлив; ты встретил ее в маленькой калитке, и романтическая головка твоя дала ей имя: «Девушка розовой калитки». Вот она уже родила тебе толстенную дочку; вот она стала полнеть от невинного золотистого пива; вот пальчики ее обра-

* «Вечно-женственной» (нем.). — Ред.

** Мещанской улице (нем.). — Ред.

зовали складки вокруг обручального кольца. Но ты все еще зовешь ее: «Девушка розовой калитки».

А другие пажы все еще бегают по саду и целуются с ветром. И пугает их корявый пьяница, сидящий с кубком в беседке из толстых сучьев и ветра.

3

Весь романтизм в этом. Искони на Западе искали Елену — недостижимую, совершенную красоту.⁴ Отсюда все эти войны и кровавые распри, с полуфантастическим врагом; эти фигуры верных рыцарей с опущенными забралами и лукавых монахов, у которых бегают глаза и чрезмерно, фантастически упитаны щеки. Потом сверкающие груди отвлеченных идей, философских концепций, националистических упований. И сам сморщенный Кант, водрузивший свой маленький стульчик на холмике, с которого легко обозревать мир феноменов, гармонирующих друг с другом и по дальности расстояния, по слепоте слезящихся глазок тайного советника, — не имеющих в себе ничего ноуменального. Все отдельно, далеко, «непознаваемо», начиная с искомой идеальной Елены, все удаляющейся и наконец вступившей в раму католической иконы, кончая «вещью в себе», ноуменом, на котором написано: «Непознаваем, неприкосновенен. Проходите». И проходят очень быстро, потому что всего только «Viertelstunde» * ходьбы до грандиозного кабака современной европейской культуры с плоской крышей, похожей на вывернутую австрийскую фуражку. Гладкий натертый пол и безукоризненные кельнеры. Все далеко, недостижимо, прельстительно своей отдаленностью: немецкая национальность, «вещь в себе», железное туловище Бисмарка с пивным котлом на могучих плечах и нежная романтическая поэзия. Также далеки и идеальны эти старые городки с черепичными крышами, розами, соборами и замками. Бесцельно мучает эта древняя, прошедшая красота, не приобщись ей, не отдашь ей души. Нежнейшее остается чужим. Здесь нет «заветного», потому что «завет» обращен лицом к будущему. Неподвижный рыцарь — Запад — все забыл, заглядевшись из-под забрала на небесные розы. Лицо его окаменело, он стал

* Четверть часа (нем.). — Ред.

изваянием и вступил уже в ту цельную гармонию окружающего, которая так совершенна. Он ищет мертвым взором на многообразной равнине то, чего нет на ней и не будет. И стал он благообразен, как пастор, брит и бледен. И мечтания его ничем не кончатся. Не воплотятся.

Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал,
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не поднимал.⁵

4

Гармонические линии, нежные тона, томные розы, воздушность, мечта о запредельном, искание невозможного. Как невыносимо после этого попасть в Россию, у которой в прошлом такая безобразная история; все эти страницы о московских государях не гнутся, как толстая безобразная парча, покрывавшая боярские брюхи; и хлюпает противная кровь на этих страницах — кровь тяжелая, гнилая, болотная. И зевается над этими страницами, как боярину на лежанке или в земском соборе. А дальше идут какие-то глупые боги, полувыдумки сентиментальных и народолюбивых ученых; какие-то богатыри, которые умеют ругаться, умеют бахвалиться, а лучше всего умеют пьянствовать и расправлять грязные кулачищи. Как запахнет западной легендой, свежее становится; как обработает эту легенду какой-нибудь болгарский поп и привезет в Россию, становится нестерпимо: из легенды вышло не вздыхающее предание, не повесть о любви легкой и бессмертной, а какой-то отвратительный поползень, который окарачь ходит. И вот уже граф Алексей Толстой, этот аристократ с рыбьим темпераментом, мягкотелый и сентиментальный, имеет возможность вдохновенно изложить русскую былинку, легенду или историю скверным русским языком, выжать из нее окончательно всю западную, общечеловеческую прелесть и преподнести осклизлую губку Русского собрания.⁶ И нежный Орест Миллер имеет возможность с восхищением выудить русскую поговорку, ибо на Руси — что ни поговорка, то пошлость.

С трудом пробираясь во мраке и бездарности российских преданий, чернорабочими тропами, как это де-

ляли и делают многие русские ученые, склонные увести в книжные тексты и никуда из них не выводить, — мы внезапно натываемся на руду. Поет руда. Над ухом стоит профессор. Слышен его голос: «Ну, это, знаете, неинтересно. Какое-то народное суеверие, продукт народной темноты». Но голос профессора, тщетно призывающий к иным памятникам, заглушает певучая руда. И сразу не разберешь, что поет, о чем поет, только слышно — поет золото.

Древняя рукопись гласит: отыщи большой муравейник, от которого идут двенадцать дорог. Раскопай и облей его водою, и наткнешься на дыру в земле. Копай на три сажени и увидишь муравьиного царя на багряном или синем камне. Облей его кипящей водою, и он упадет с камня, а ты копай опять, охвати камень платом. Он спросит: «Нашел ли?» А ты продолжай копать, молча, камень держи во рту и платом потирайся. «Ты небо отец, ты земля мать, ты корень свят, благовослови себя взять на добрые дела, на добро».⁷

Что же? Корявый и хитренький мужичонка копается в муравейнике, ищет корешка, которым, верно, будет лечить коровье вымя или свою больную бабу. Отчего же муравьиный царь так беспокоится и отчего мужичонка так красиво просит о корешке небо и землю?

Оттого, что у мужичонки — сила нездешняя. И муравьиный царь — тайный его сообщник. А главное, оттого, что мужичонка *навсего* найдет корешок, на что бы он ему ни был надобен. Ищет, значит найдет. И поет этот таинственный корешок в простой легенде, как настоящая золотая руда. И всего-то навсего видны только лесная тропа, да развалившийся муравейник, да мужик с лопатой, — а золото поет.

Все различимо, близко, будто уж найдено; вытащит мужик корешок, поплывет на него и уйдет. Все так и прет прямо в глаза лубочное, аляповатое, разбухшее. Ошеломлены глаза, тошно от найденной уже, не искомой силы. Все реально, мечтам нет места, и неба не видно. Да и стоит ли смотреть на это небо, серое, как мужицкий тулуп, без голубых просветов, без роз небесных, летающих на землю от германской зари, без тонкого профиля замка над горизонтом. Здесь от края и до края — чахлый кустарник. Пропадешь в нем, а любишь его смертной любовью; выйдешь в кусты,

станешь на болоте. И ничего-то больше не надо. Золото, золото где-то в недрах поет.

Верно, на песни этого золота прилетел от каких-то испанских пределов св. Антоний. Прилетел на камне, да и стал на новгородских болотах. Пришли мужики, увидали, что святой пресветлый стоит, и тут же монастырь поставили.

Западная легенда создана, лежит она в колючих и душистых кустах, в тысячеветных рвах. И Тристан будет в одинокой тоске носиться по морю.⁸ И дева будет бесконечно ткать, вышивать пышные узоры, воссоздавая

Картину боя,
И волны синие, и бор.⁹

И оплетут душные, непроницаемые розы могилы влюбленных. Или столетняя старуха, когда-то прекрасная Больдур, встретит, шамкая, на пороге башни прекрасного Пекопена, возвратившегося с дьявольской охоты, как встретила она его в такой красивой, такой пышной и такой упадочной легенде у В. Гюго.¹⁰

Эта история протянула синий полог, дальний полог, над замком,¹¹ башней, ржавыми ключами у пояса твоего, золотокудрая! Песенка жизни спета. Навеки не поднять забрала, не опустить на ржавых петлях моста через ров с невинной и злою водой, чтобы по этому мосту ворвалась в мертвый замок веселая и трагическая жизнь.

Бедная русская легенда развивается непрестанно. Она создает жизнь. Сердце простых русских людей — тоже легенда, оно само творит жизнь. Ничего не берут с собою — ни денег, ни исторических воспоминаний, — эти русские люди, столько веков уходящие в страны, которые для искателей Елены были от века дикими, варварскими, гиперборейскими странами.

Мы живем в столицах политиканствующих, спорящих об искусстве и пожирающих тысячами тощих коров и ленивых свиней, которых пригоняют к нам дикие люди из глубины дикой России. Вряд ли что другое, кроме мычания этих несчастных коров, доходит до слуха горожан. О тех странах мы ничего не знаем, география и статистика очень затрудняют для нас познание этих стран. Из рассказов русских туристов можно иногда выжать какие-то жемчужные зерна, — но кто из

них сознавал и видел подземный блеск алмазов! Бессознательно передают они что-то бытовое о том, в чем нет никакого быта.

Я слышал один рассказ: среди печальных топей Новгородской губернии стоит монастырь. Монахи насыпали на дворе горку, устлали ее игрушечными храниками, деревцами, и поставили маленьких черноризцев из дерева или из олова. Так проводят они свою болотную жизнь: перед глазами всегда этот маленький, самодельный Афон, святая гора. «Православный» ли они, тупы ли? Думаю, что нет. Они — люди легенды, какие-то тихие, светлоокие люди, каких мы в столице никогда не встретим теперь, не обратим внимания. Среди них — какая-то безумная, нелепая старица, которая всю жизнь помогает тамошнему попу. И этот поп стал каким-то святым для нее. Она ему и стих сочинила:

Перед царским вратам
Славословлю вместе с вам.

Разве здесь не пахнет опять этим муравьиным царем? Какая-то особая нежность нищеты, неотвлеченное смирение, неустанное стремление к вещественному Афону, как к маленькому корешку под багряным камнем, — и два стиха, сочиненные после долгой жизни в однообразии монастырской тишины и влюбленности. Какая тут история, или православие, или боярская парча? Само время остановилось. Все это — какие-то тихие болотные «светловзоры».

Одного такого светловзора мне удалось встретить. Он вовсе не был даже монахом, и мне не хочется думать, что он вообще был кем-нибудь. Он был человеком. Манера его была простая, мягкая, неуклюжая. Он был самый простой, скромный человек, но отличался от других тем, что провел несколько лет в Сибири, среди тайги, в центре шаманства, и оттого глаза у него были прозрачные и голубые на огрубевшем, очень мужественном лице. Было ясно, что он сохранил свою душу. Он прислушивался с легким удивлением и очень доброжелательно к «литературным» разговорам, которые шумели вокруг, но сам принимал в них мало участия, больше спрашивал с интересом, какого никто из говорящих не испытывал. Было ясно, что он всюду прозревал новизну, даже там, где ее не было. Сама его чистая душа творила эту новизну.

Он стал немножко похож на героя гамсуновского «Пана», когда, пожимаясь и стесняясь, сообщил свои северные впечатления. Выдавая себя за «специалиста» и «материалиста», с какой-то «таежной» скромностью он рассказал, как шаманка назначила ему день, когда он будет в лесу, около ее жилища. Он не поверил, но в тот самый день, сам не сознавая, очутился на тропе, приведшей его к шаманке. И потом он рассказал еще, как всю ночь плясала шаманка, взмахивая бубном, падая в изнеможении, чтобы, отдохнув немного, снова пуститься в свой колдовской пляс.

Нам странно слушать такие рассказы. Слушаешь и думаешь: где-то, в тайгах и болотах, живут настоящие люди, с человеческого удивлением в глазах; не дикари и не любопытные ученые этнографы, а самые настоящие люди. Верно, это — самые лучшие люди: солнце их греет, тайга кроет, болото вбирает в свою зелено-бурю даль всю суетность души. Когда-нибудь они придут и заговорят на новом языке. Послушаем. Только пойдем ли свободный язык, возьмем ли из руки их то нежное, северное дитя, которое они бережно и доверчиво принесут нам?

Хочется сказать об этих северных светловзорах, общниках муравьиного царя, простыми словами певца тайги — Георгия Чулкова:

Стоит шест с гагарой,
С убитой вещей гагарой;
Опрокинулось тусклое солнце;
По тайге медведи бродят.
Приходи, любовь моя, приходи!

Я спою о тусклом солнце,
О любви нашей черной,
О щербатом месяце,
Что сожрали голодные волки.
Приходи, любовь моя, приходи!

Я шаманить буду с бубном,
Поцелую раскосые очи,
И согрею темные бедра
На медвежьей белой шкуре.
Приходи, любовь моя, приходи!¹²

СКАЗКА О ТОЙ, КОТОРАЯ НЕ ПОЙМЕТ ЕЕ

Уже разносились по городу слухи и толки о том, что он нарушил торжественную клятву, когда-то данную им, и безвозвратно предался в руки этой женщине. Уже из уст в уста переходило его имя, соединенное с ее именем, когда он, весь неприступный и весь сияющий, проходил в толпе. Но душа его оставалась по-прежнему светлой, и ни одно дурное и низкое слово не запало в нее глубоко. Все преодолевала эта душа, переплывая все моря, как острогрудый корабль с лебязьей грудью.

Но темное и тонкое имя этой женщины заставляло радоваться его врагов и сжимало трепетным страхом сердца друзей. Как будто знали те и другие, что еще недолго останется неомраченной душа его, что он, доселе гордый и сияющий, замедлит путь свой в толпе предателей и сольется с нею. Тогда, говорили враги, погибнет эта великая душа, и змеи оплетут ее. Тогда погаснет ясный свет, и змея ударом хвоста потушит лампаду, говорили друзья. И одинаково трепетно было и тревожно и друзьям и врагам, но он один ведал свои муки в одинокие часы, когда, оставаясь наедине с самим собою, следил за медленным движением луны.

Уже тонкие чары темной женщины не давали ему по ночам сомкнуть глаз, уже лицо его пылало от возрастающей страсти и веки тяжелели, как свинец, от бессонной мысли. И она принимала в его воображении образы страшные и влекущие: то казалась она ему змеей, и шелковые ее платья были тогда свистящею меж трав змеиной чешуею; то являлась она ему в венце из звезд и в тяжелом наряде, осыпанном звездами. И уже не знал он, где сон и где явь, проводя медлительные часы над спинкой кресла, в котором она мол-

чала и дремала, как ленивая львица, озаренная потухающими углями камина. И, целуя ее осыпанную кольцами руку, он обжигал уста прикосновением камней, холодных и драгоценных.

Она же любила пройти с ним по зале, и на многолюдстве любила она уронить платок, чтобы он первый поднял его, и взглянуть в глаза его обещающими глазами, чтобы он смутился и стал еще тоньше, выше и гибче, чтобы резко оттолкнул восхищенного ею юношу, открывая путь ей в толпе. Так проходили они, как небо за небом, — одну залу за другой, преследуемые взорами и восторженной завистью. Когда же они миновали все небеса, и проходили все залы, и оставались одни, она бросалась на темный ковер и застывала, неподвижная; и в холодеющие ее взоры проливалась та ночь, пережить которую было для него мучением сладостным, дотоле неведомым и таинственным.

Уже луна поднялась высоко, и дома в городе побелели, и толки смолкли, чтобы с новой силой заплясать и закружиться утром, — когда она пришла к нему взволнованная больше, чем бывала. Одна прядь волос ее упала низко, и небрежно был зашнурован корсаж, и золотым и тонким стилетом были схвачены ее черные волосы. За длинным ее шлейфом влачился безобразный карлик, шатаясь на коротких ногах и ухмыляясь рябым и поганым лицом своим. Вся она была, как беспокойная ночь, полная злых видений и темных помыслов, и, успокоенный уже близким утром, он был снова и снова взволнован ее дикой, дразнящей и странной красотой.

Опускаясь на глубокие ковры, она говорила: «Не касайся меня», и за темными шнурами и волнующимися дрожало ее сердце и шептало «возьми меня». Голосом более страстным и более нежным, чем всегда, она просила его совершить великое предательство, и зубы ее обнажались улыбкой трепетной, и губы тонули в змеиных прядях ее волос. Когда же он отрекался с трепетом, волнуясь ужасом надвигающейся гибели и страсти, она уронила золотой стилет и утопила лицо его в тяжелых и душных волосах. И когда он целовал холод благоуханного лезвия стилета, она взяла с него горестную клятву, и первая предалась ему, и долго томила его, пока не умерла опрокинутая луна и не порозовел рассвет.

Когда же солнечный луч пронизал темную занавесь окна, и заплясали и запрыгали золотые змеи в темном кубке с вином, он взглянул в лицо этой женщины, которая была для него волей, воздухом и огнем. Было неподвижно это навеки ночное и навеки незнакомое лицо, и — по-змеиному — мгновенно верные — смотрели ему в глаза черные ее и сияющие глаза. И вот уже мягким туманом неприступности, как фатою невесты, закрывалось это сияющее одними глазами ночное лицо. И безобразный карлик бормотал у двери непонятные свои речи, приглашая в путь госпожу, готовясь летать за ее шлейфом всюду, куда полетит она, как безобразный астральный осколок — проклятый спутник злобщей и прекрасной кометы.

И, услышав бормотания карлика, он раздернул занавесь и выпустил на волю все клятвы свои, все унижения бессонных ночей своих и сонные туманы дней.

Так не коснулась сердца его измена. Взяв большой кубок темно-красного вина, он подумал, что это — темная и изменчивая влага пролетевшей ночи, когда заплясали в нем золотые змеи, как золотой ее и сияющий пояс. И когда он выплеснул кубок в тишину утра, встала в его сердце строго одетая, опустившая вежды и не развязывающая пояса перед смертными — непроглядная тьма.

Тогда проснулись от стука чутких сердец своих друзья и с трепетной радостью зашевелились в своих логовах враги. И с каждой постели спрыгнул и метнулся красный слух, и облетели слухи весь город, всех извещая и лаская каждого извещениями о том, что вернулось к земле и солнцу все то, что было взято у них долгими трудами, острою мыслью и страстной волей. И смертельной тоской поросло сердце человека, которое не стало сердцем предателя.

Навеки безвозвратная, уходила она, негодую и унося в сердце оскорбление за нарушенную им клятву. И гадкий карлик едва поспевал лететь за нею в пространствах разгневанного света и взмятенного шлейфом ее эфира.

А у темной занавеси стоял он — уже не гордый и не сияющий. Невозвратно миновала ночь, и безысходное простиралось над ним осеннее и глубокое небо.

И когда он вышел на улицу, нищий толкнул его плечом, и когда он проходил по площади, маленькая

собачонка огрызнулась на него. И осыпал его желто-красной листвою облетающий клен, когда он стоял над открытой могилой, где яростно боролись, проклиная и бичуя друг друга, Великая Страсть и Великая Тишина.

Уже побеждала Тишина, и темною влагой своей затопила его сердце и уgomонила его тоску, и уже снова равнодушный и сияющий знал он, что терзает лишь то, что могло стать великим счастьем. А там — в облетевших ветвях засыпающего клена — вставала над землею грозная комета, разметав свой яростный шлейф над Тишиною.

И все долгие ночи было видно, как летел за нею, крутясь и спотыкаясь, покорный горбун, безобразный карлик, — тускло сияющий осколок какой-то большой и прекрасной, но закатившейся навеки звезды.

12 октября 1907

МОЛНИИ ИСКУССТВА

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

〈ПРЕДИСЛОВИЕ〉

Время летит, цивилизация растет, человечество прогрессирует.

Девятнадцатый век — железный век. Век — вереница ломовых телег, которые мчатся по булыжной мостовой, влекомые загнанными лошадьми, погоняемые желтолицыми, бледнолицыми людьми; у этих людей — нервы издерганы голодом и нуждой; у этих людей — раскрытые рты, из них несется ругань; но не слышно ругани, не слышно крика; только видно, как хлещут кнуты и вожжи; не слышно, потому что оглушительно гремят железные полосы, сваленные на телегах.

И девятнадцатый век — весь дрожащий, весь трясущийся и громыхающий, как эти железные полосы. Дрожат люди, рабы цивилизации, запуганные этой самой цивилизацией. Время летит: год от года, день ото дня, час от часу все яснее, что цивилизация обрушится на головы ее творцов, раздавит их собою; но она — не давит: и безумие длится: все задумано, все предопределено, гибель неизбежна; но гибель медлит; все должно быть, и ничего нет; все готово произойти, ничего не происходит. Революции ударяют, разряжаются, пролетают. Люди трясутся от страха — всегда: были людьми — давно уже не люди, только показывают себя так; рабы, звери, пресмыкающиеся. Того, что называлось людьми, бог давно не бережет, природа давно не холит, искусство давно не радуется. И само то, что прежде называлось людьми, давно ничего не просит и не требует ни у бога, ни у природы, ни у искусства.

Цивилизация растет. В начале века Бальзак говорил о «человеческой комедии».¹ В половине века Шерр — о «трагикомедии».² Теперь — уличный фарс. Час фарса пробил, когда поднялся от земли первый аэроплан.

Воздух завоеван — величественное зрелище; жалкий франтик взвился под облака: курица захлопала крыльями и собралась лететь; перелетела через навозную кучу.

Знаете ли вы, что каждая гайка в машине, каждый поворот винта, каждое новое завоевание техники плодит всемирную чернь? Нет, вы этого не знаете, ведь вы — «образованные», а «пошлость образованного человека не имеет себе равной», — как проговорился однажды ваш добродушный Рескин.³ Он и еще проговаривался:

«В настоящее время нашим дурным общественным строем создан громадный класс черни, совершенно потерявший всякую способность к благоговению и самое представление о нем.

Класс этот поклоняется только силе, не видит прекрасного вокруг, не понимает высокого над собою; его отношения ко всякой красоте, ко всякому величию — отношения низших животных: страх, ненависть и вождделение; в глубине своего падения он недоступен вашим призывам, численностью своею превышает ваши силы; его нельзя очаровать, как нельзя очаровать ехидну; нельзя дисциплинировать, как нельзя дисциплинировать муху».⁴

Что же делать искусству? «В конце концов все, что может искусство, — это сделать скотину менее злой», — думал Флобер.⁵ Скотину — менее, а человека — более.

И вот, задыхаясь от злости, от уныния, от отчаянья, человек тянется к великому прошлому, бредет, например, по картинной галерее.

Обрекая себя на унылое скитальчество по картинным галереям Европы, подчиняясь их докучному порядку, в лучшем случае хронологическому, но часто устанавливаемому «знатоками искусства», теми академиками, имя которым легион, — мы, без сомнения, надемся похитить у времени хоть одно мгновение ни с чем не сравнимого восторга.

Однако в европейском обществе дело поставлено так, что скоро мы принуждены будем лишиться и этих минутных наслаждений. О, если бы все ограничивалось только государственными плевками на билетах и молчаливыми сторожами всяких академий и муниципалитетов! Но препятствия растут, как растет цивилизация;

и конец ее чудовищного и сумасшедшего роста едва ли суждено нам увидеть.

Племя английских туристов и туристок отличается поистине поросячьей плодовитостью; «Тайная вечеря» Леонардо, например, уже недоступна для зрителя; при входе в сырую конюшню, где помещена картина, наталкиваешься, прежде всего, на забор из плоских досок; это — спины англичанок, сидящих рядом на стульях, как куры на насесте. Их племя плодит породу гидов, которые голодной стаей бросаются на посетителя.

Так и все стены живых картин заслонены мертвой людской стеною; залы наполнены ржанием англичан и пронзительными голосами гидов, несущих казенный вздор. Уединиться и сосредоточиться невозможно; два часа, потраченные на бесплодное сопротивление человеческим ростбифам, изнуряют и отбивают всякую охоту к дальнейшим попыткам что-нибудь увидеть.

Но я увидел. Ценою многих потраченных даром часов, ценою духовных унижений, связанных с пребыванием в комнатах постройки XVIII столетия, ценою многих ночных кошмаров — мне удалось кое-что похитить у старого мира.

Ценности старого мира, ценности разделенного искусства! Они отравляют, конечно. Самые смелые из нас потряслись бы, узнав, на что посягнут грядущие варвары, какие перлы творения исчезнут без следа под радостно разрушающими руками людей будущего!

Уже при дверях то время, когда неслыханному разрушению подвергнется и искусство. Возмездие падет и на него: за то, что оно было великим тогда, когда жизнь была мала; за то, что оно отравляло и, отравляя, отлучало от жизни; за то, что его смертельно любила маленькая кучка людей и — попеременно — ненавидела, гнала, преследовала, уважала, презирала толпа.

Пока же ведь «ничего не произошло» — не так ли? И потому я думаю, что не помешаю вам этими несколькими страницами далеких воспоминаний о том, что мне удалось увидеть во время моих скитаний в мире искусства.

Как бы я хотел говорить добрыми и радостными словами! Но их нет у меня; у меня пестро в глазах: там, где обрадует красота, сейчас же опечалит уродство; но все-таки я не всегда ходил без оружия по чу-

жим городам и долинам, и мои глаза не всегда слепли от пестроты открывающегося передо мной мира.

Мои записки будут оправданы, если хоть несколькими словами и немногими аналогиями я сумею передать подобным мне то живое, что я успел различить сквозь косное мелькание чужой и мертвой жизни.

Осень 1909; апрель 1918

МАСКИ НА УЛИЦЕ

Флоренция.

Из кафе на площади Дуото видна часть фасада собора, часть баптистерия¹ и начало уродливой улицы Calzaioni. Улица служит главной артерией центрального квартала, непоправимо загаженного отелями; она соединяет площадь собора с площадью Синьории.

Днем здесь скука, пыль, вонь; но под вечер, когда зной спадет, фонари горят тускло, народ покрывает всю площадь, и очертания современных зданий поглощаются ночью — не мучат, — здесь можно уютно потеряться в толпе, в криках продавцов и извозчиков, в звоне трамваев.

В этот час здесь можно стать свидетелем странного представления.

Внезапно над самым ухом раздается сипенье, похожее на хрип автомобильного рожка; я вижу процессию, которая бегом огибает паперть Santa Maria del Fiore.

Впереди бежит человек с капюшоном, низко опущенным на лицо, даже и без прореза для глаз. Он ничего не видит, значит, кроме земли, убегающей из-под его ног. Факел, который он держит высоко в руке, раздувается ветром.

Сзади двое таких же с закрытыми лицами волокут длинную черную двуколку. Колеса — на резиновых шинах, все, по-совиному, бесшумно, только тревожно сипит автомобильный рожок.

Перед процессией расступаются. Двуколка имеет форму человеческого тела; на трех обручах натянута толстая черная ткань, дрожащая от тряски и самым свойством своей дрожи указывающая, что повозка — не пуста.

«Братья Милосердия» — Misericordia, — это они быстро вкатывают свою повозку на помост перед домом на углу Calzaioli. Так же быстро распахиваются ворота, и все видение скрывается в мелькнувшей на миг большой комнате-сарая нижнего этажа. Все это делается तो-ропливо, не успеваешь удивиться, догадаться.

Большей быстроты и аккуратности в уборке, кажется, не достигала сама древняя гостя Флоренции — чума.

Ворота закрыты, дом как дом, будто ничего не случилось. Должно быть, там сейчас вынимают, раздевают — мертвеца. Но уже ни одна волна из нового прилива гуляющих офицеров, дам, проституток, торговцев не подозревает, что предыдущие волны пронесли танцующим галопом и выкинули на этот помост повозку с мертвецом.

А вот в том же безумном галопе мечется по воздуху несчастная, испуганная летучая мышь, вечная жилища всех выветренных домов, башен и стен. Она едва не задевает за головы гуляющих, сбита с толку перекрестными лучами электрических огней.

Всё — древний намек на что-то, давнее воспоминание, какой-то манящий обман. Все — маски, а маски — все они кроют под собою что-то иное. А голубые ирисы в Кашинах² — чьи это маски? Когда случайный ветер залетит в неподвижную полосу зноя, — все они, как голубые огни, простираются в одну сторону, точно хотят улететь.

Осень 1909; декабрь 1912

НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Путешествие по стране, богатой прошлым и бедной настоящим, — подобно нисхождению в дантовский ад. Из глубины обнаженных ущелий истории возникают бесконечно бледные образы, и языки синего пламени обжигают лицо. Хорошо, если носишь с собою в душе своего Вергилия, который говорит: «Не бойся, в конце пути ты увидишь Ту, Которая послала тебя».¹ История поражает и угнетает.

Италия трагична одним: подземным шорохом истории, прошумевшей и невозвратимой. В этом шорохе яс-

но слышен голос тихого безумия, бормотание древних сивилл.² Жизнь права, когда сторонится от этого шепота. Но где она в современной Италии? Здесь редко встретишь человеческое лицо, редко услышишь красивый говор без присвиста на букве *s* — кстати, очень характерного для южной Европы наших дней. Умерла не только латинская четкость, но и произношение уличных певцов режет слух этим вырожденным присвистом. Жители провинциальных городков неустанно делают вид, что у них есть какие-то занятия, но, кажется, больше неистово погружены в политические дразги. В этом царстве английских отелей, с быстротой опустошающих города, всевозможных «*Corriere della Sera*» * и лавчонок, наполненных какой-то невыразимой национальной и международной дрянью, — особенно ясно слышен «шорох истории». Жить в итальянской провинции невозможно потому, что там нет живого, потому, что весь воздух как бы выпит мертвыми и, по праву, принадлежит им. Виноградные пустыни, из которых кое-где смотрят белые глаза магнолий; на площадях — зной и стрекочущие коротконогие подобию бывших людей. Только на горах, в соборах, могилах и галереях — прохлада, сумрак и католические напоминания о мимолетности жизни.

Туда, в холод воспоминаний невозвратных, зовет русского современная северная и средняя Италия. На земле — лишь два-три жалких остатка прежней жизни, истовой, верующей в себя: молодая католичка, отходящая от исповедальни с глазами, блестящими от смеха; красный парус над лагуной; древняя шаль, накинутая на ловкие плечи венецианки. Но все это — в Венеции, где сохранились еще и живые люди и веселье; в Венеции, которая еще не Италия, в сущности, а относится к Италии как Петербург к России — то есть, кажется, никак не относится.

Чем южнее, тем пустынней; чем меньше живого на земле, тем явственней подземный голос мертвых.

Современная культура слушает голос руды в глубоких земных недрах. Как же не слышать нам того, что лежит безмерно ближе, совсем под нашими ногами, закопанное в землю или само чудесно погружившееся туда, уступившее место второму и третьему слою, ко-

* «Вечерних курьеров» (ит.). — Ред.

торым, в свою очередь, суждено погрузиться, «возвратиться в родную землю» (*revertitur in terram suam*)?

Мы налюбовались Перуджией — «столицей» Умбрии, родины св. Франциска; и сама она — родина Перуджино и Рафаэля. Вот — три светлейших имени; если прибавить сюда, что высокий холм Перуджии тонет в голубоватом воздухе, мягко озаряется солнцем, омывается прохладными дождями и струями нежнейшего ветра, — остается только дивиться тому, что видишь и что вспоминаешь.

Отчего так красны одежды у темноликого ангела, который возник из темно-золотого фона перед темноликой Марией на фресках Джиганикола Манни? — Отчего плащи играющих ангелов Дуччио на портале оратории св. Бернарда закручены таким демоническим вентром? — Отчего безумная семья Бальони, правителей Перуджии, буквально заливала город кровью, так что собор обмывали вином и вновь освящали после страшной резни на площади, среди которой юный Асторре носился, как демон, на коне, в золотых латах, с соколом на шлеме, поражая воображение маленького Рафаэля? — И отчего, наконец, в феодальном гербе Перуджии возник остервенелый гриф, терзающий тельца? Или было и другое, — а это все только мрачное изображение прищельца из России с ее Азефами, казнями и «желтыми очами безумных кабаков»,³ глядящими в необозримые поля, неведомо куда и откуда плетущимися проселками и шоссе?

Без сомнения, часть мрачности своих впечатлений я беру на себя: ибо русских кошмаров нельзя утопить даже в итальянском солнце. Но другая, и большая, часть этой мрачности объясняется тем, что жизнь Перуджии умерла, новой не будет, а старая поет, как труба, голосами зверей на порталах, на фонтанах, на гербах, а главное — голосами далеких предков, незримых свидетелей, живущих своею жизнью — под землей.

Упоительна Перуджия, как старое вино. Вдоволь налюбовавшись ею и минуя большую площадь, оскверненную лучшим отелем, мы спускаемся с ее крутого холма, чтобы отдать последний визит знаменитой этрусской могиле Волумниев (*Sepolchro dei Volumni*), лежащей версты за три-четыре в долине, открытой в 1840 году.

Хлебные поля, покрытые старыми дуплистыми оли-

вами, усадьба вся в цветах, стертая фреска на стене какой-то фермы, белое извилистое шоссе, кирпичный завод, сенокос, бабы, показывающие сомнительную дорогу.

Около самого железнодорожного шлагбаума — маленький домик, собственно играющий роль только крышки над подземным жилищем этрусского семейства. Свежее предание говорит, что бык оступился в могилу, когда мужик пахал; мужик дорылся до заваленного камнем входа, — так была открыта могила.

Она проста. На глубине нескольких десятков ступеней — в скалистом холме, над порталом, поросшим зеленой плесенью, не светит каменное солнце меж двумя дельфинами. Здесь пахнет сыростью и землей. Под вспыхнувшими там и здесь электрическими лампочками начинают мерцать низкие серые своды десяти небольших комнат и изваяния многочисленного семейства Волумниев, лежащие на крышках своих саркофагов.

«Немые свидетели» двадцати двух столетий лежат удивительно спокойно. На пальце руки, поддерживающей голову и опирающейся на две каменные подушки, — неизменный перстень. В другой руке, тихо положенной на бедро, традиционная плоская чаша — патера с монетой для Харона.⁴ Платье просторное и удобное, тела и лица — грузные, с наклонностью к полноте.

Все надписи на саркофагах — этрусские, только на самом богатом, мраморном, украшенном четырьмя тончайшими сфинксами по углам (один сломан) и двумя бронзовыми кольцами, — латинская надпись: «P. Volumnus A. P. (?) violens Cafatia natus», то есть: «Здесь покоится Публий Волумний Неукротимый, сын Кафатии».⁵ Это — глава семьи.

Знаменательны украшения этой подземной «квартиры»: все, что нужно семье некогда Неукротимого, чтобы молитвенно лежать в смертной дремоте, считать века на земле, над головою, молиться, как при жизни, и терпеливо ждать чего-то; на потолках и гробницах — скорбные и тяжелые головы Медуз;⁶ голуби по сторонам их — знак мира; два крылатых и женственных Гения Смерти, подвешенные под потолком среднего зала. Каменные головки высунувшихся из стен эмеек — *guardia del sepolchro* — стража могил.

Еще знаменательнее — барельефы на самих саркофагах; не все крышки увенчаны изваяниями покойников;

иные имеют формы крыши храма (разумеется, греческого типа); маленький саркофаг ребенка покрыт опрокинутым цветком каменной лилии.

Ребра гробов — не лучшие в Италии; во флорентийском музее и особенно в склепах близ древнего Клузиума (нынешнего Кьюзи) можно прочесть на саркофагах целые мифологические истории; но барельефы перузийских Волумниев особенно отчетливы, просты и характерны для этого города, некогда принадлежавшего к двенадцати городам Этрусского союза.

Здесь проходят перед нами простые и отчетливые рисунки: цветы с четырьмя и восемью лепестками; битвы и охота на кабана; фигуры, сидящие на взнузданных дельфинах: мальчик и воин со щитом; лицо юноши, играющего на флейте; завиток, напоминающий бабочку, завиток в виде креста; урна над гирляндой винограда с двумя головами быков по сторонам; два мальчика, держащиеся за змей головы Медузы; двое, держащиеся за высокую урну среди кипарисов.

И вот, наконец, появляется в различных вариациях образ грифа. Сначала — гриф среди четырех цветков. Потом — подобие девушки с зеркалом на разъяренном коне с трижды закрученным хвостом дельфина, с головой не то дракона, не то грифа (голова сидящей фигуры отбита, но складки платья облегают, по-видимому, тело женщины); наконец — фигуры сражающихся с грифом; и, наконец, на некоторых саркофагах — гриф явственно когтит человека.

Так вот откуда ведет свое происхождение гриф! Это вечная эмблема не только Перуджии, но и «Августы Перузии»,⁷ каковою она была в век Августа, и еще глубже — Перузии, крепости этрусского лукомона.⁸ В самом городе не осталось об этом времени почти никаких воспоминаний, кроме остатков толстой стены да нижнего яруса грубых камней, едва отесанных, над которыми Август вознес тяжелую римскую арку, а Возрождение — прибавило — легкий летучий венчик балкона — на головокружительной высоте.

В доме Волумниев возвращаешься к действительности лишь тогда, когда над головой прогремит поезд. На свет божий выходишь слепой, как из сумрака ада, унося с собою подтверждение того, что и светлейший из итальянских городов стоит под знаком кровожадного грифа. Если бы здесь повторилась история — она бы

опять потекла кровью. Но здесь уже ничего не будет, кроме новых отелей, да в лучшем случае — трогательных плащей и жестов Гарибальди и Виктора-Эммануила, напрасно подражающих отшумевшей жизни.

Жизнь сюда не возвратится. Песчаная площадь с видом на голубую Умбрию не приютит никого, кроме туриста, нищего и торговки. Мирная работа в полях да жидкий хор опереточной труппы, разучивающей свой репертуар за открытыми окнами театрального сарая. Да, «немые свидетели» могут спать спокойно — их долго никто не разбудит.

10 октября 1909

ВЕЧЕР В СИЕНЕ

Поезд прополз по краю холма узкой полосой рельс среди густых виноградных стен и уперся в туннель. Здесь он неожиданно остановился, дал задний ход и тихими толчками пополз на крутую гору. Только что пройденный путь вьется все ниже, на соседних высотах открывается монастырь.

Мы приехали в Сиену с юга в розовых сумерках угасающего дня.

Старая гостиница La Toscana. В моей маленькой комнатке в самом верхнем этаже открыто окно, я высовываюсь подышать воздухом прохладных высот после душного вагона... Боже мой! Розовое небо сейчас совсем погаснет. Острые башни везде, куда ни глянешь, — тонкие, легкие, как вся итальянская готика, тонкие до дерзости и такие высокие, будто метят в самое сердце бога. Сиена всех смелей играет строгой готикой — старый младенец! И в длиннооких ее мадоннах есть дерзкое лукавство; смотрят ли они на ребенка, или кормят его грудью, или смиренно принимают благую весть Гавриила, или просто взгляд их устремлен в пустое пространство, — неизменно сквозит в нем какая-то лукавая кошачья ласковость. Буря ли играет за плечами, или опускается тихий вечер, — они глядят длинными очами, не обещая, не разуверая, только щурясь на гвельфовские¹ затеи своих хлопотливых живых мужей. Эти живые когда-то действительно были по уши в хлопотах, вечно завидуя гибеллинам, вечно воюя

с соседкой Флоренцией. На зависть флорентийским гибеллинам вознесли сиенцы свой «общественный дворец», не меньший, чем флорентийский Palazzo Vecchio, и очень похожий на него. Только на площади стоит не Marzocco* с лилией, а голодная волчица с торчащими ребрами, к которой присосались маленькие близнецы.

Но Palazzo Vecchio во Флоренции — это мрачное жилище летучих мышей; там, где-то в поднебесье, ютилась малокровная и ленивая Элеонора Толедская со своим шаловливым и жестоким мальчишшкой сыном, которого потом придушили; там же в грозовую ночь, полную мрачных видений и предзнаменований, умирал Лаврентий Великолепный. Все это оставило свой неизгладимый след, навсегда окутало тайной и без того мрачную постройку — одну из самых мрачных в Италии. Напротив, в сиенском Palazzo нет никакой мрачности — ни снаружи, ни внутри, хотя расположение похоже; но стены Palazzo Vecchio — пустые, голые, а стены сиенского Palazzo Pubblico расписаны Содомой, самым талантливым и самым вульгарным учеником Леонардо.

Однако на розовом фоне вечера меня поражает не одна острота сиенских башенок. Всего удивительнее то, что самая внушительная башня разукрашена плошками. Вечер воскресный, и, когда стемнеет, на площади будет играть, разумеется, военный оркестр.

Поток народа уносит меня от двери «Тосканы» на главную улицу. Скоро с улицы налево спускается ряд ступеней, и крытым проходом, который назывался бы в Венеции *sottoportico*, я спускаюсь на площадь.

Передо мной — блистательный Palazzo, изукрашенный плошками в несколько рядов. Под волчицей скромно дудит военный оркестр. Вся площадь представляет из себя вогнутый полукруг, в котором местами пробивается трава. Palazzo стоит на нижнем конце, его фасад занимает почти весь диаметр, и я вижу его весь перед собою с самой высокой точки, от чудесного фонтана Gaia.

Здесь происходили когда-то народные собрания. Площадь и теперь полна народу — так и кишит. Вечер теплый, и женщины — в легких пестрых платьях. Месяц светит тускло, старинные плошки еще тусклее, оркестр спрятан за толпой, и музыка не очень сложна. Если не вглядываться в лица и костюмы, можно пере-

* Изображение льва — эмблема Флоренции (*ит.*); — *Ред.*

несть в средние века и пережить гофмановскую сказку наяву. Этому помогает крайняя наивность итальянок; они приходят сюда с явной и нескрываемой целью — показать себя, если они себе нравятся, или посмотреть других, если они сами не хороши собою. И хорошенькие и дурнушки веселятся при этом одинаково, и одинаково ходят взад и вперед бедные и богатые, красивые и некрасивые, молодые и старые. Удивительно чистые и без всякой задней мысли на лице. Должно быть, для такого невинного веселья надо родиться в Италии.

Плошки гаснут, оркестр умолкает, девушки уходят спать. Ужасно печально в такой ранний час остаться одному перед волчицей. Невинно пьяные молодые люди бродят маленькой кучкой и поют. Тень промелькнет за окном, и свет погаснет. Кабачок «Трех девиц» в каком-то крутом переулке мигает единственным фонарем.

Осень 1909

ВЗГЛЯД ЕГИПТЯНКИ

В Египетском отделе Археологического музея Флоренции хранится изображение молодой девушки, написанное на папирусе. Изображение принадлежит александрийской эпохе — тип его почти греческий. Некоторые видят в нем портрет царицы Клеопатры.¹ Если бы последнее соображение было верно, ценность потрепавшегося и лопнувшего в двух местах куска папируса должна бы, казалось, удешевиться. Я смотрю на фотографию египтянки и думаю, что это не так.

Не все ли равно, кто она — царица или рабыня? Лучше сказать, не очевидно ли с первого взгляда, что это — царица? Если не вероломная «царица царей» в Египте I века, то какая-то — еще могущественнее и еще страшнее.

Археолог — всегда немножко поэт и влюбленный. Для него — любовный плен Цезаря и позор Акциума² — его плен и его позор. Чтобы скрыть свой кабинетный стыд, он прячется за тенью императора и триумвира, старается оправдать себя их судьбою.

Но художник изображал вовсе не историческое лицо, если даже ему позировала сама египетская царица. Он сказал больше.

На тонкой шее «египетской девушки» надето простое ожерелье из четырехгранных темных камней. В ушах — подвески, по-видимому довольно тяжелые. Черные мелко вьющиеся волосы закрывают уши и часть лба широким нимбом и вверху сложены в косы, схваченные четырьмя цепочками-фероньерами, вероятно золотыми, причем на нижней, над серединой лба, сияет драгоценный камень. Вот — все украшения, удивительно простые, при всем их богатстве; нижняя одежда, по-видимому, очень легка, может быть прозрачна, а верхняя поддержана неширокими черными лентами на плечах.

Все черты лица египтянки далеки от какого бы то ни было «канона» красоты. Лоб, кажется, слишком велик, она недаром закрывала его волосами. В овале щек есть что-то монгольское, едва ли не то, что заставляло Пушкина «забываться пылкою мечтой» в «кочевой кибитке»³ и мечтательно исчерчивать рукописи стихов профилями. Нос у египтянки правильный, но, к сожалению, мягкий; вся нижняя часть лица поразительно неразвита: подбородок без линий и узкие, неизящного разреза губы. Брови чрезвычайно широкие и длинные, сильно сросшиеся над переносицей.

Главная неправильность лица — глаза. «Я никогда не видел глаз такого необычайного размера», — скажет всякий с первого взгляда. Это не совсем верно; такой размер глаз возможен, хотя встречается не часто; странно велика только самая орбита; очень длинные и пушистые ресницы, очень тяжелые веки. Но поражает, собственно, не это, а самое содержание взгляда.

Глаза смотрят так, что побеждают все лицо; побеждают, вероятно, и тело и все окружающее. Полное равнодушие и упорство устремления, вне понятий скромности, стыда или наглости; единственно, что можно сказать про эти глаза, это — что они смотрят и будут смотреть, как смотрели при жизни. Помыслить их закрытыми, смеженными, спящими — невозможно. В них нет ни усталости, ни материнства, ни веселья, ни печали, ни желания. Все, что можно увидеть в них, — это глухая ненасытная алчба; алчба до могилы, и в жизни, и за могилой — все одна и та же. Но никакого приблизительного удовлетворения этой алчбы не может дать ни римский император, ни гиперборейский варвар, ни олимпийский бог. Глаза смотрят так же страшно,

безответно и томительно, как пахнет лотос. Из века в век, из одной эры — в другую эру.

Эти глаза обведены темным кругом. Один (левый, как всегда) заметно меньше другого. Это — физиологическая особенность всех страстных натур, происходящая от постоянного напряжения, от напрасной жажды найти и увидеть то, чего нет на свете.

Осень 1909

ПРИЗРАК РИМА И MONTE LUSA

Мы вышли из главных ворот города Умбрии Сполето, где осматривают всех приезжих и где берут с них пошлину. В такой жаркий и пыльный полдень теряешься мыслями, ничего уже не хочется смотреть и не о чем думать. Вдруг какой-то человек подошел к нам и предложил посмотреть остатки римского моста.

Когда мы согласились, он неожиданно встал на колени в пыль и открыл небольшой люк. Потом зажег огарок, спустился и пригласил нас следовать за собою.

В люке пахло сыростью, слышно было близкое журчание воды. На глубине сажен полуторых от поверхности земли, в слабом свете огарка, мне скорее приснилась, или почудилась, чем явилась, осклизлая глыба каменного свода, начало арки моста. Этот призрак так и остался в моей памяти: призраком Рима.

Что-то необыкновенное было в этом зрелище, несоответствующее его кажущейся незначительности. Не знаю, что более меня поразило: неожиданность осмотра моста или разница температуры в люке и на площади, или что-то незнакомое в пропорциях арки, или мрачное и странное впечатление от толстого слоя земли, который похоронил под собою то, что до сих пор возвышает и облагораживает наш дух.

И сейчас же, как бывает после потрясения, усталость пропала, мы захотели иного и нового, поднялись в город и вышли на другую его сторону, где возвышается круглая, крутая, покрытая кудрявым мелко-лесьем гора Monte Lusa. Она своим очертанием напоминает человеческую голову; за ней издавна сохранилось сравнение с головой Микель-Анджело.

Подходя к этой горе с намерением подняться, мы остановились у старого акведука, протянутого по мосту через ложбину. Это было место, совершенно укрытое

от дуновений ветра и вместе с тем не иссушенное солнцем, благодаря длинным горным теням, ключам и кустарнику; был счастливый угол земли, блаженный край: тот рай и мир, который у нас, в средней полосе России, открывается на вырубках, уже затянувшихся молодыми побегами, высокими зарослями иван-чая, белыми и лиловыми шапками серебрянки, а ближе к опушке старого леса — коврами иван-да-марьи и ладана. Странствующий в этом краю становится просветлен душою и легок телом, и к нему прилетает большая пестрая, редкостная бабочка с вырезными крыльями: бабочка махаон.

Так и у старого акведука, перед восхождением на гору, мы стали просветлены душою и легки телом. Мы быстро пошли вверх, по сразу крутому травянистому скату, среди низких кудрявых рощ ольхи; и ольха открывала нам впереди заманчивые тенистые скаты, а также скрывала от нас уже пройденный путь; она скрыла от нас и даль, так что мы могли сосредоточиться только на ближайшей цели, не развлекаться ничем иным, не тратить лишних сил на восторги широких панорам. Цель была прямая и скромная, и мы к ней стремились во всю меру своих еще тогда молодых сил; и поэтому, через короткий срок, через полчаса вероятно, мы были уже на большой высоте, и нам в первый раз захотелось минуту отдохнуть.

Когда мы взглянули на небо сквозь поредевшую ольху, оказалось, что приближается грозовая туча. Это сразу вошло в сознание чем-то новым. Взгляд, брошенный вниз, на непривычно крутой скат, теряющийся в густоте мелколесья, куда мы карабкались без дорог, дал понять, что мы — высоко. Чтобы держаться на месте, не двигаясь вперед и вверх, было приятнее держаться за дерево.

Все это вместе заставило в первый раз испытать легкое головокружение. Поэтому мы решили сейчас же продолжать восхождение.

Прошло еще полчаса, трава уже была не так густа и свежа, кустарник — корявей и тверже. Попадались заросли слишком густые; сквозь иные совсем нельзя было продраться, и приходилось обходить кругом, искать прохода. Человеческих следов не было видно нигде. Стали попадаться большие камни, высунувшиеся из земли. Еще немного — и передо мной встала каменная

гряды выше моего роста. Спутница моя шла левее, а я пошел вправо, ища перерыва в каменной гряде.

Вдруг я очутился на совершенно отвесном каменистом обрыве. Кустарника кругом не было, я оглянулся, сердце упало, и я сам чуть не полетел вниз.

Передо мной мелькнула неожиданно необъятная даль; городок Сполето лежал совсем маленький у моих ног, церковь, стоящая в поле верстах в двух от города, была тут же, будто на карте.

Я ухватился за корни, вцепившиеся в камень, а надо мной, на каменном уступе, уже стояла моя спутница и протягивала мне руку. Пропасть так тянула, что нужно было усилие не одних рук, но и воли, чтобы вскарабкаться по корням и остриям камня к спасительной руке.

Через минуту мы шли уже — впервые на этой горе — по каменистой тропинке, где, очевидно, ходили люди. И сейчас же очутились перед горным монастырем, как бывает в балладах. Маленькая обитель прилепилась к горе, точно театральная декорация: род серой стены, два-три окна, будто лишь для того, чтобы показать, какие бывают окна. Кажется, тут же стоял доминиканец.¹ Он стоял и молчал, как и все остальное, потому что звуков вообще давно уже, с тех пор, как мы стали подниматься, не было слышно. Были только разные видения; и это последнее показалось довольно неожиданным, несколько книжным и не особенно нужным: не нужным потому, что в эту минуту оно было для меня эстетическим; а эстетика теряет смысл для человека, чувствующего себя на высоте и едва не упавшего в пропасть. Такая праздная, вероятно грешная, мысль мелькнула у меня тогда; мысль из легких, мальчишеских.

Поэтому мы не медлили около маленькой католической обители. За нею сейчас же открылся подъем среди ольхового леса, более свежего и более тенистого, чем тот, которым оброс каменный пояс горы.

Несмотря на то, что платье было местами разорвано и сухой нитки не было на теле от жару, — сил как будто прибавилось. В теле я ощущал кошачью ловкость, а души не стало вовсе — она упала в долину Умбрии вместе с недавним головокружением и страхом перед пропастью.

Прошло еще полчаса, ольховый лес кончился. Мы были на самой вершине Monte Luca — на горном лугу.

Все кругом было новое, и мы — тоже. У края глубоко-синего неба, в котором, кажется, не осталось и следа грозы, была построена снежно-белая облачная башня. Почти наравне с нами сияли снежные вершины Апеннин. Я никогда не дышал таким прохладным и упоительным воздухом в ярком солнечном свете. Мы напились, омыли лицо и руки в холодном, как лед, роднике. Была уже вторая половина дня.

На горном лугу паслось стадо овец. Молодой пастух подошел к нам и проговорил особенно певуче: *buona seire*.^{*} Узнав, откуда мы, он так же певуче, как о прекрасной мечте, стал вздыхать о городе, лежащем внизу: *Spoleito, Spoleito...*

Оказалось, что на гору с другой стороны была проложена дорожка для туристов. Мы воспользовались ею для спуска, но и здесь было местами так круто, что легче было бежать, чем идти.

Мы были уже низко, когда гроза, прошедшая мимо днем, воротилась. Она хлестнула нас несколькими крупными каплями дождя прежде, чем мы успели вбежать в потемневший зал гостиницы. Городская жизнь уже кончилась, тихие сумерки помогли сохранить в памяти ни с чем не сравнимое видение горы.

Я мог бы остановиться на этом. Пожалуй, было бы гораздо приятнее сохранить в неприкосновенности свежее и сильное впечатление природы. Пускай бы оно покоилось в душе, бледнело с годами; все шел бы от него тонкий аромат, как от кучи розовых лепестков, сложенных в закрытом ящике, где они теряют цвет и приобретают особый тонкий аромат — смешанный аромат розы и времени.

Мне было бы еще лучше, если б я даже вовсе не записывал воспоминания об этом событии и делился им только с моей спутницей, с которой мы его вместе пережили: оно не было бы запылено знанием о нем третьих лиц.

И вот я записал его, однако, и имею потребность делиться им с другими. Для чего? Не для того, чтобы рассказать другим что-то занятное о себе, и не для того, чтобы другие услышали что-нибудь, с моей точки зрения, лирическое обо мне; но во имя третьего, что одинаково не принадлежит ни мне, ни другим; оно, это третье, заставляет меня воспринимать все так, как я вос-

^{*} Добрый вечер (ит.). — Ред.

принимаю, измерять все события жизни с особой точкой и повествовать о них так, как только я умею. Это третье — искусство; я же — человек несвободный, ибо я ему служу.

Я человек несвободный, и хотя я состою на государственной службе, это состояние незаконное, потому что я не свободен; я служу искусству, тому третьему, которое от всякого рода фактов из мира жизни приводит меня к ряду фактов из другого, из своего мира: из мира искусства.

По этой причине я, как художник, имею сообщить вам, ничего не навязывая (ибо область искусства приемов навязывания не ведает), что описанное мною нисхождение под землю и восхождение на гору имеет много общих черт, если не со способом создания, то с одним из способов постижения творений искусства.

Лучшая подготовка к такому постижению — такое самочувствие, которое возникает в человеке, попавшем в край махаонов на лесной опушке или в край акведука под горой. Я не говорю, что этот способ единственный; есть еще, например, такие, тоже очень верные: ряд глубоких житейских неудач и обид; или — сильная усталость физическая при долгой незанятости ума. Но это — способы, так сказать, отчаянные, первый же — самый естественный и самый верный. Его надо достигать упражнением, или — заслужить; упражнение над таким необычным делом в спешке нашей цивилизации сейчас едва ли кому доступно. Вот теперь так торопятся...

Осень 1909; апрель 1920

<WIRBALLEN>¹

Поздней ночью в огромном, пропитанном карболкой темном зале Вержоловской таможни пассажиров с немецкого поезда выстроили вдоль грязного прилавка и стали обыскивать. Обыскивали долго, тащили кипами чьи-то книги в какой-то участок — любезно и предупредительно. Когда операция кончилась, показалось, что выдержали последний экзамен, и на душе стало легко.

Утром проснулся и смотрю из окна вагона. Дождик идет, на пашнях слякоть, чахлые кусты, и по полю трусит на кляче с ружьем за плечами одинокий стражник. Я ослепительно почувствовал, где я: это она — несчастная моя Россия, заплеванная чиновниками, грязная, за-

битая, слюнявая, всемирное посмешище. Здравствуй, матушка!

Поезд только что отошел от Двинска, а следующая большая станция — Режица, а до Режицы еще очень далеко. Впрочем, что в ней, в этой Режице? Такая же сплошь мокрая платформа, серые тучи, два телеграфиста да баба, старающаяся перекричать ветер. Таков русский белый день, после туманов Умбрии, влажности Ломбардии и прозрачного утра немецкой готики. Уютная, тихая, медленная слякоть. Но... «жить страшно хочется», — говорит полковник из «Трех сестер».² А к вечеру будет Петербург. Что же, собственно, в этом Петербурге? Не та же ли большая, мокрая и уютная Режица?

Сколько ни тащись в скором поезде, все будут одни «версты полосаты».³ И что тебе Режица, что тебе Двинск, что тебе Петербург — все одна слякоть. И сейчас же просыпаются чувства, каких «заграницей» не бывает.

Вот, например, что бы ни сделал человек в России, его всегда прежде всего жалко. Жалко, когда человек с аппетитом ест; жалко, когда растерявшийся немец с экземой на лице присутствует при жаргонной ругани своего носильщика с чужим; жалко, когда таможенный чиновник, всю жизнь видящий проезжающих за границу и обратно, но сам за границей не побывавший, любезно и снисходительно спрашивает, нет ли чего, откуда и куда едут...

Все это — бедняги и жалкие люди, и нечего с них спросить, остается только их пожалеть, поплакать на каждой из мокрых Режиц. Баба, кому кричишь, — все равно ветра не перекричишь! Мужик, зачем лезешь во второй класс, — все равно не пустят! Жандарм, что в окна засматриваешь, — все равно кого-нибудь прозеваешь! — Ни баб, ни мужиков, ни жандармов, ни преступников — ведь не счесть; и местностей, где они проживают, тоже не счесть, потому что все они похожи одна на другую, как одна будка на другую, как казарма местного гарнизона на любую собачью конуру. Везде идет дождь, везде есть деревянная церковь, телеграфист и жандарм.

ПАМЯТИ К. В. БРАВИЧА

Узко-театральные, но какие живые, четкие впечатления связаны у меня с образом так неожиданно скончавшегося Казимира Викентьевича Бравича! Таких интимных, «особенных» впечатлений нигде, кроме театра, не получишь! Большое с маленьким, нездешнее с житейским, образ героя с запахом грима и пудры — все смешивается, сплетается по-особенному, образуя причудливый букет.

Который-то из девяностых годов (право, они так мало отличались один от другого!). Осень, дождливый день, репетиция какой-то пьесы (все равно какой) в Суворинском театре на Фонтанке. В воздухе что-то несообразное, не нюхавший и представить себе не может: Викторьен Сарду вместе с Евтихием Карповым... Пустыня. Я, студент — первокурсник — с трепетом жду в коридоре В. П. Далматова, который запишет меня на свой бенефис, а на бенефисе — прорычит роль Макбета, так, что ни одного слова нельзя будет разобрать, и никто из бывших в театре не поверит, что В. П. Далматов — очень большой артист и способен в другой вечер — не бенефисный, а обыкновенный — «ударить по сердцам с неведомою силой»...¹ Теперь, впрочем, на сцене нет Макбета, нет никакого героя: сквозь открытую дверь ложи я смотрю, как по сцене ходят взад и вперед, обняв друг друга за талии, К. В. Бравич и В. П. Далматов, оба — такие партикулярные, простые и милые.

Те же года, тот же театр. Представляют «Термидор» Сарду. Одну из главных ролей играет К. В. Бравич. С каким умом, с какой тонкой художественной мерой выходит он из натянутых положений, в которые его ставит бездарный, мелодраматический автор! По-

мню, что он должен воскликнуть с ужасом: «В Тюльери сажают капусту!» И он произносит эти дурацкие слова так, что я до сих пор слышу его голос! На миг представляется действительно ужасным, что «в Тюльери сажают капусту». И юноша, мечтающий о том, как он поступит на сцену и будет трагиком, мечтает: вот если бы у меня был такой же толстый подбородок, как у Далматова, и такой же длинный нос, усеянный крупными рябинами, как у Бравича! В ту минуту в этом нет ничего смешного; ясно как день, что для трагедии необходимы далматовский подбородок и бравичевский нос.

Потом — другие времена, *совсем* другие. «Субботы» у Коммиссаржевской, предшествовавшие открытию ее театра. Бравич заговаривает со всеми «новыми», сияет добродушием, посмеивается, иногда — добродушно брюзжит. Что-то чеховское в его отношении к жизни, «обывательское» даже, пока дело не касается искусства. Один милый актер нечаянно опрокидывает на него стакан с чаем. «Что это, голубчик, вы мне испортили штаны!» — с неподдельным негодованием восклицает Бравич. «Здесь хорошо, выпал снег, но холод собачий», — пишет он мне с какой-то станции Финляндской дороги. «Вот поеду отдохнуть на Сиверскую и все лето буду ходить босиком», — рассказывает он.

Уборная Бравича. Густо замазанный краской, в королевской короне, в антракте между двумя актами «Вечной сказки» Пшибышевского, Бравич пишет мне записку на получение какого-то гонорара.

«Жизнь Человека» Андреева. Бравич — «Некто в сером». В кулисах мрак, Бравич, закутанный чем-то вроде брезента, сидит на шатком стульчике, ожидая своих слов: «Тише! человек умер!» Глаза у него — усталые, собачьи, злые (роль ему страшно не нравится). По носу текут капельки пота, мускулы лица опали, как у старика. «Жарко», — жалуется он и пытается расстегнуть свой брезент. А ведь выйдет, и будет у него «квадратный» подбородок, тускло освещенный огарком свечи, *неумолимый*, как требуется по пьесе.

И, наконец, главное, чем дорог Бравич, без чего все описанные подробности были бы только мелочами из жизни заурядной. Бравич-художник. Какая подлинная «почва», «земля» искусства, без которой всякий художнический замысел может улететь, испариться, стать

невнятным для толпы и для избранных — одинаково.

«Строитель Сольнес». Она — Гильда — Вера Федоровна — опытная и зрелая актриса; но она ведь — синее пламя, всегда крылатая, всегда — летящая, как птица. И навстречу ее летящим словам раздаются эти живые, полные крови и земли, реплики строителя — Бравича.

Он совершает какую-то черную работу, он держит пьесу на земле, он — те густые, живые, мягкие, скромные тона, на фоне которых особенно ослепительно сияет ее чудодейственное, вечно стремящееся улететь пламя.

В этом театре, который был рубежом двух эпох, Бравич — всегда этот *второй* элемент, эта *почва* искусства; земля, без которой не видно неба, стебель, без которого не явлен был бы никакой цвет. Это — необходимое условие культуры, и так мало до сих пор этих необходимых условий, и так вянут без них цветы воображения — самые пышные.

14 ноября 1912

ИСПОВЕДЬ ЯЗЫЧНИКА

Моя исповедь

1

Петербургская весна 1918 года и Великий пост.

Кому, кроме обывателя да бедного составителя календаря, тщетно пытающегося приспособить старых святых к новому стилю, придет в голову такое сочетание?

Не знаю, надолго ли, но русской церкви больше нет. Я и многие, подобные мне, лишены возможности скорбеть об этом потому, что церкви нет, но храмы не заперты и не заколочены; напротив, они набиты торгующими и предающими Христа, как давно уже не были набиты. Церковь умерла, а храм стал продолжением улицы. Двери открыты, посредине лежит мертвый Христос. Вокруг толпятся и шепчутся богомолки в мужских и женских платьях: они спекулируют; напротив, через улицу, кофейня; двери туда тоже открыты; там сидят за столиками люди с испитыми лицами и тусклыми глазами; это картежники, воры и убийцы; они тоже спекулируют. Спекулянты в церкви продают большевиков анафеме, а спекулянты в кофейне продают аннулированные займы; те и другие перемигиваются через улицу; они понимают друг друга.

В кофейню я еще зайду, а в церковь уже не пойду. Церковные мазурики для меня опаснее кофейных.

Но я — русский, а русские всегда ведь думают о церкви; мало кто совершенно равнодушен к ней; одни ее очень ненавидят, а другие любят; то и другое — с болью.

И я тоже ходил когда-то в церковь. Правда, я выбирал время, когда церковь пуста, потому что обидно и оскорбительно присутствовать при звероголосовании нестриженных и озабоченных наживой людей. Но

в пустой церкви мне удавалось иногда найти то, чего я напрасно искал в мире.

Теперь нет больше и пустой церкви.

Я очень давно не исповедался, а мне надо исповедаться. Одно из благодеяний революции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека, если он идет к ней навстречу, она напрягает все его силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты.

Так и я вспомнил одну давнюю пору своей жизни, которая меня преследует и не дает мне покою. Я хотел бы принести покаяние в одном из грехов, который я совершил.

⟨2⟩

Мама привезла меня в гимназию; в первый раз в жизни из уютной и тихой семьи я попал в толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков; мне было невыносимо страшно чего-то, я охотно убежал бы или спрятался куда-нибудь; но в дверях класса, хотя и открытых, мне чувствовалась непреходимая черта.

Меня посадили на первую парту, прямо перед кафедрой, которая была придвинута к ней вплотную и на которую с минуты на минуту должен был войти учитель латинского языка. Я чувствовал себя как петух, которому причертили клюв мелом к полу, и он так и остался в согнутом и неподвижном положении, не смея поднять голову. Парты полагались к тому же на двух человек, а я сидел на ней третий, на первый раз, потому что в классе не хватило для меня места. Рядом со мной сидели незнакомые мне и недоверчиво оглядывающие меня мальчики. За дверями я чувствовал длинный коридор, потом большой рекреационный зал, потом еще какой-то переход за колоннами и широкую лестницу в два поворота; там где-то уже шел, приближаясь с каждой секундой, страшный учитель; если я побегу, он все равно поймает меня где-то там, вернет в класс, и будет еще хуже.

Главное же чувство заключалось в том, что я уже не принадлежу себе, что я кому-то куда-то отдан и что так вперед и будет. Проявить свое отчаяние и свой ужас, выразить их в каких-нибудь словах, или в дви-

жениях, или просто — слезах было немыслимо. Мешал ложный стыд.

Сидя неподвижно, я поднял глаза и посмотрел перед собой.

По обеим сторонам кафедры стояли две большие черные доски. Перед ними стояли два мальчика, которые были дежурными в классе, и стирали губками написанное мелом, вероятно написанное на досках вчера. Они стояли спиной ко всему классу; один из них вытер доску прежде другого, повернулся вполоборота и вдруг застыл на минуту, очевидно заглядевшись в окно.

Тут я испытал вдруг ни с чем не сравнимое чувство. Мальчик был довольно высок ростом, худощав и строен, у него был нежный и правильный профиль, и волосы были не совсем острижены, так что было видно, что они завивались, и на лоб опустился один завиток. Я почувствовал к нему, к его лицу, ко всей фигуре, ко всему существу его, острое и пламенное обожание, которое залило горячей волной все мое сердце, все мое тело.

Нечто подобное я испытывал в детстве на елке, когда играл с моими сверстниками. Старшей среди них была стройная девочка полька. Раз я случайно взглянул на нее из бури игрушек, свечек, беготни и пыли, в ту минуту, когда она, наклонившись вперед и сложив перед собой худые руки, как будто приготовилась полететь и на мгновение застыла.

Тогда волна обожания тоже обожгла меня, но то чувство было немного другое, к нему примешивалась, должно быть, тяжесть просыпающейся детской чувственности. Это же чувство было новым, оно было легким и совершенно уносящим куда-то. И, однако, в нем был особенный, древний ужас.

Через минуту все уже опять переменилось, потому что быстро вошел в дверь тот самый учитель латинского языка, которого, как оказалось, ждал со страхом не один я; учитель был молодым человеком в старом и местах рваном синем вицмундире. У него был длинный утиный нос, жидкая рыжая борода и растрепанные волосы, вылезавшие из-под грязного платка, которым была укручена совершенно раздувшаяся от флюса щека. Его лицо лоснилось от несмытого жира, а маленькие желтые глазки бегали и помаргивали, вну-

шая тот самый ужас, к которому я готовился. Несмотря на то, что в классе стало сразу тихо, учитель вдруг заорал благим матом и ударил по кафедре изо всех сил классным журналом, так что наша парта, стоявшая у кафедры, сотряслась, а корешок журнала лопнул. Ученые начались.

3

Времена были деяновские;¹ толстовская классическая система преподавания² вырождалась и умирала, но, вырождаясь, как это всегда бывает, особенно свирепствовала: учили почти исключительно грамматикам, ничем их не одухотворяя, учили свирепо и неуклонно, из года в год, тратя на это бесконечные часы. К тому же гимназия была очень захолустная, мальчики вышли по большей части из семей неинтеллигентных, и во многих свежих сердцах можно было, при желании и умении, написать и начертать что угодно. Однако никому из учителей и в голову не приходило пробовать научить мальчиков чему-нибудь, кроме того, что было написано в учебниках «крупным» шрифтом («мелкий» обыкновенно позволяли пропускать).

Дети быстро развращались. Среди нас было несколько больных, тупых и слабоумных. Учились курить, говорили и рисовали много сальностей. К середине гимназического ученья кое-кто уже обзавелся романом; некоторые свели дружбу с классными наставниками и их помощниками, и стало чувствоваться, что, кроме обязательных гимназических, существуют еще какие-то приватные и частные отношения между воспитателями и некоторыми учениками. На крупные шалости и даже гнусные патологические проявления одних — начальство смотрело сквозь пальцы; других же, стоявших в стороне от какого-то заговора, который казался таинственным, но имел очень дурной и непривлекательный запах, напротив, преследовали иногда несправедливо. Как всегда бывает, страдали больше невинные и безответные.

Учителя и воспитатели были, кажется, без исключения люди несчастные: бедные, загнанные уроками, унижаемые начальством; все это были люди или совсем молодые, едва окончившие курсы учительских

семинарий, или вовсе старые, отупевшие от нелюбимого труда из-за куска хлеба, озлобившиеся на все и запивающие втихомолку.

Где же было заниматься воспитанием и образованием юных сорванцов, которых с трудом можно было удерживать от шалостей и дерзостей криками и стуками по кафедре, людям, которые с раннего утра бегали по урокам, а ночью должны были поправлять ученические тетрадки? Класс наш был буйный, среди нас были изрядные развратники, старые курильщики, великовозрастные ухаживатели, циники, борцы и атлеты. Скоро выяснилось, что были и отчаянные революционеры: один, с шишковатым лбом, молчаливый, читал Помяловского. Другой, черногорец с сильными кулаками и дерзкими глазами, грубил всем учителям. Первого исключили, а второй скоро утонул, катаясь на лодке.

Однако тот страшный учитель, которого все, и я в том числе, боялись больше всех и который всегда пол-урока неистовым голосом кричал на нас без видимых причин, оказался одним из самых милых и безвредных учителей. По всей вероятности, у него решительно всегда болели зубы, были расстроены нервы, он был очень самолюбив и начинал кричать для того, чтобы заранее пресечь всякие попытки дразнения. К тому же он был особенно неряшливо одет, угреват, нечесан, должно быть, всегда голоден, что тоже действовало на его самолюбие, так как среди нас было несколько богатеньких, с брелоками, пробивающимися усиками и в куртках особого покроя — не косоворотках, а расстегивающихся спереди, наподобие военного кителя, только, разумеется, с внутренними пуговицами, а у некоторых (на зависть остальным!) — с крючками. Эти богатенькие оценивали всех учителей не без оттеночка. Все это, надо полагать, чувствовал мой бедный учитель латинского языка, и это заставляло его пребывать в вечном неистовстве и ставить до трех единиц раз в одну и ту же графу журнала, им же самим заканпанного и внутри и снаружи крупными кляксами. Человек же он был, в сущности, очень добрый, застенчивый и нравственно чистый.

С тем мальчиком, на которого взгляд мой упал в первый день гимназической жизни, я долго был почти не знаком. Мы сидели на разных, удаленных друг

от друга партах, обожание мое не возобновлялось, и он не проявлял никаких особенных чувств ко мне. Так продолжалось до тех пор, пока нас не свела опять и по-новому судьба, посадив нас уже в одном из старших классов за соседствующие парты.

4

Дмитрий — так звали моего соседа — был мало замечен в классе. Учился он не плохо, но и не особенно хорошо, был обыкновенно в первом десятке; когда всех выстраивали шпалерами в актовом зале и сам директор, выкликая каждого, раздавал страшные листы с отметками по четвертям года, Дмитрия вызывали обыкновенно седьмым, восьмым, девятым; первому ученику директор говорил обыкновенно громким голосом, так что было ясно слышно в зале: «прекрасно», второму он говорил уже тише «очень хорошо», третьему говорил совсем тихо «хорошо», а дальше уже ничего не говорил и молча отдавал лист, пока, под конец, не начиналось опять с тихого «плохо», продолжаясь более громким «очень плохо», и кончалось очень громким «совсем плохо».

Таким образом, в ученье Дмитрий оставался всегда без публичной оценки; что касается игр и шалостей, то и в них он обыкновенно принимал участие довольно умеренное, не портя игры другим и не заходя в буйстве далеко. Случилось так, что его сравнительно мало трепали и теребили, и он прошел сквозь всю гимназию без особых столкновений с учителями и товарищами. Дмитрий был гораздо незаметнее и тише меня; в его характере было что-то самодовлеющее и успокаивающее окружающих и отклоняющее всевозможные их притязания.

Дмитрий и в старших классах остался таким же нежным и стройным мальчиком. Пушок бороды и усов пробивался еле заметно на его нежном лице, на котором сквозь тонкую кожу проступал совершенно отроческий румянец. Он напоминал лицом и телом, как мне кажется теперь, Лидийского Диониса.*³

* В рукописи карандашом надписан вариант: «Антиноя?». — *Ред.*

Мы сели на лошадей и выехали со двора.

Подоймой была крупная серая лошадь, мерин в яблоках. Дмитрий ехал на золотисто-рыжей кобыле, которая шла бойкой и ровной рысью, но все-таки всегда отставала от моего коня.

Сначала мы поехали по давно знакомой дороге, по которой я ходил в детстве с няней. Привычная скамеечка на пригорке, осиновые жерди прясла с отвисшей корой, считанные и пересчитанные повороты дороги и кучки земли, выброшенные кротами, — на все это хорошо бегло взглянуть с высоты седла; пока ходишь по двору дома, среди родных и близких, пока ходишь пешком, все впечатления дробятся, все видишь и обо всем думаешь отдельно. Когда же сядешь на высокую лошадь, которая слегка танцует под тобою и торопится на волю, бросается в глаза все зараз: и две смежные стены невысокого дома с красной крышей, и круглая куртина пред ним, и перекладины открытых ворот между двумя плакучими березами, до которых обыкновенно надо дойти, но за которые теперь выносит в три прыжка застоявшаяся лошадь.

Живя в ограде усадьбы, мы знали, что теперь — весна, по тому, что листья были еще маленькие, трава свежая и низкая, цвели вишневые и яблоневые деревья и по бортам еще необрезанных дорожек в саду росли жирные губчатые сморчки.

Совершенно иначе показывала себя весна в открытом поле. С пригорка была видна в дали, в ложине, среди не одевшихся зеленью кустиков, единственная глыба еще не растаявшего снега. Все остальное, что было видно на земле, не запоминалось, потому что было побеждено небом, которое дышало в лицо тихим благоухающим ветром.

Мы быстро проехали родные мне места — дорогу среди полей, полверсты леском и опять дорогу среди большого поля, которая шла в гору. Дмитрий почти не отставал от меня, его рыжая лошадка, ровно качая доброй головой, шла все время только на полтела позади моего приплясывающего и расшаливающегося коня.

Я начинал чувствовать тот особый задор, который роднит между собою ветер, лошадь и человека и связывает их одним стремлением к неизвестным да-

лям, открывающимся по весне. Мой серый почувствовал это и сделал неожиданный скачок в сторону; у него была надежда выкинуть меня из седла, но он хорошо знал при этом, что, если это не удастся, я ударю его хлыстом не особенно больно; не так больно, как тогда, когда я возвращаюсь домой усталый, когда всеобъемлющее чувство дали начинает дремать во мне, сменяясь отдельными и разделенными чувствами — мирной лошадиной рыси, потом — дома, семьи, одеяла, которое нежно укутывает мои сладко ноющие и развивающиеся мускулы.

Серый рассчитал верно; я покачнулся, конечно, но удержался в седле, еще крепче сжал лошадь ногами и, слегка ударив ее хлыстом, направил на канавку, которой был прорезан луг рядом с дорогой.

Серый не любил брать лишних препятствий, справедливо полагая, что их можно легко обойти; на этот раз он понял, однако, что я заставляю его прыгнуть за то, что он хотел сбросить меня; но ему все больше хотелось поиграть, и он, прежде чем мы достигли края канавки, весь сжался и собрался; я почувствовал, что на секунду все его четыре ноги уперлись в одну точку: через секунду он скакнул так далеко, что канавка осталась далеко позади, и, весело фыркая, запрыгал и затанцевал.

Я остановил его; он повернул голову и покосился на меня огромным глазом, как будто спрашивая: доволен ли я и будем ли мы так же продолжать?

Во всем моем теле и в моих глазах он мог прочесть ответ, что я очень доволен и готов продолжать ту же игру.

В это время подъехал отставший от меня Дмитрий. Он хорошо сидел на своей лошадке, но я увидел сразу, что между ним и его лошадью не было того сговору, который был у меня с моей. Рыжая кобылка подбежала той же быстрой и послушной рысью и, увидев, что мой серый остановился, быстро опустила голову и щипнула травку.

Дмитрий, видимо, не придал этому движению своей лошади никакого значения. Напротив, он сам послушно отпустил поводья, которые она, наклоня голову, вырвала у него из рук. Он слегка откачнулся на седле назад, как бы собравшись сделать передышку.

В эту минуту перед нами открывалась многоверст-

ная синяя русская даль. Сначала шли лощины, поросшие кустами и лесом, за ними начинали подниматься холмы, к вершинам которых, увенчанным деревнями и селами, сбегались разбежавшиеся внизу полосы хлебных полей. Местами среди холмов открывались еще просветы, совершенно синие, в которых изредка белели пятна, обозначающие собой церкви.

В ту минуту, когда вся эта даль бросилась мне в глаза, я подался вперед всем телом, и серый топнул ногой и насторожил уши, чуя что-то впереди, — Дмитрий продолжал спокойно сидеть на своей лошадке, мирно щипавшей траву. Он тоже смотрел в даль, но в глазах его я вдруг увидел томное умиление. Вдруг его нижняя губа дрогнула, и он произнес проникновенным голосом следующие стихи.*

Произнося это, Дмитрий взглянул на меня круглыми глазами, в которых было желание узнать мое мнение о его стихах. Я почувствовал внезапный прилив презрения к этому мальчику, отвернулся, сцепил зубы и ударил серого хлыстом. Серый сделал прыжок через дорогу и помчался по нежному нетронутому лугу вниз, в первый пологий овраг.

Кустарник, попадавший навстречу, был все чаще, ветки били меня по лицу, Дмитрий, очевидно, отстал, потому что вначале я слышал, как он окликал меня, а потом перестал слышать и его голос и топот его лошади.

Мы опустились на дно оврага, серый перепрыгнул через ручеек, бежавший среди камней по желтому песочку, и вскочил на крутой откос по другую сторону; тут шла дорога, по которой я никогда не ездил прежде. Серый тоже не знал, куда повернуть — налево или направо, и остановился. Я пустил его шагом в ту сторону, которая, по моему соображению, вводила дальше от дома.

Кустарник поредел, и дорога, незаметно поднимаясь, пошла сечей, по которой торчали там и сям высоко спиленные и иногда опаленные березовые пни. Между ними местами стояли болотца, а над всей сечей сгибались тощие сеянцы. Я сразу почувствовал в этой дороге что-то любимое и забытое и стал думать о том, какие здесь будут летом высокие злаки, желто-синие ковры иван-да-марьи и розовые облака иван-чая.

* В рукописи пропуск. — *Ред.*

К тому времени, как мы стали приближаться к неизвестной мне деревне, за которой поднималась высокая березовая роща, я был уже совершенно во власти новых мест, забыл и дом, и семью, и потерявшегося Дмитрия. Деревня спала, был уже полдень. Миновав деревенскую улицу, я увидел, что то, что показалось мне рощей, было заброшенным парком, очевидно при каком-то имени. Мне захотелось объехать его кругом, и я поехал рысью вдоль ограды из стриженных елок.

Вдруг направо от дороги, за несколькими бревнышками, перекинутыми через канаву, показалась дорожка, которая шла в гору между высоких стволов елок и берез. Я пустился по ней и, достигнув ее высшей точки, очутился перед новой громадной далью, которая открывала передо мной новые равнины, новые села и новые церкви.

Парк обрывался, начались ряды некрестьянских строений и большой плодовый сад, весь в цвету. Среди яблонь, вишен и слив стояли колоды для пчел, ограда была невысокая, забранная старыми, местами оторвавшимися тесинами. Здесь царствовала полная тишина, ни из деревни, ни из усадьбы не доносилось ни звука.

Вдруг пронесся неожиданный ветер и осыпал яблоневый и вишневый цвет. За вьюгой белых лепестков, полетевших на дорогу, я увидал сидящую на скамье статную девушку в розовом платье с тяжелой золотой косой. Очевидно, ее спугнул неожиданно раздавшийся топот лошади, потому что она быстро встала, и краска залила ее щеки; она побежала в глубь сада, оставив меня смотреть, как за вьюгой лепестков мелькало ее розовое платье.⁴

Апрель 1918

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?

Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? — Никогда. Часто мы встречались? — Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? — Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать.

Любил я Леонида Николаевича? — Не знаю. Был я горячим поклонником его таланта? — Нет, без оговорок утверждать этого не могу.

Несмотря на все это, я чувствую, что у меня есть одно, длинное и важное, воспоминание об умершем; длинное — потому что мы были «знакомы» или «незнакомы» на протяжении десяти лет; важное — потому что оно связано с источниками, которые питали его жизнь и мою жизнь.

Воспоминания мои совершенно почти лишены фактического содержания, но связаны с Л. Андреевым мы были, и при редких встречах заявляли друг другу об этой связи с досадным косноязычием и неловкостью, которые немедленно охлаждали нас и взаимно отчуждали друг от друга.

Потому все, что я могу сейчас сказать, будет недостойно и невесело. Будет рассказ, каких немало, — о людях, которые кое-что друг про друга знали *про себя*, а воплотить это знание, пустить его в дело не умели, не могли, или не хотели. Я об этом говорю так смело, потому что не на мне одном лежит вина в духовном одиночестве, а много нас — все мы почти — были духовно одиночки.

История тех лет, которые русские художники провели между двумя революциями, есть, в сущности, история *одиноких восторженных состояний*; это и есть лучшее, что было и что принесло настоящие плоды.

Мне скажут, что были в эти годы литературные кружки, были журналы и издательства, вокруг которых собирались люди одного направления, возникли целые школы. Все это было, или, скорее, казалось, что было, но все это нисколько не убеждает меня, потому что плодов всего этого я не вижу; плодов этих нет, потому что ничего органического в этом не было. Напротив, прожив в Петербурге последние два года, я все больше утверждаюсь во мнении, что замечательные русские журналы, «Старые годы» или «Аполлон», например, были какими-то сумасшедшими начинаниями; перелистывая сейчас эти перлы типографского искусства, я серьезно готов сойти с ума, задавая себе вопрос, как сумели их руководители не почувствовать, во что превратимся мы, чем станем через три-четыре года.

Но дело не в этом, а в том, что, вероятно, и даже наверно, и эти люди знали одинокие восторженные состояния; знал их и Л. Андреев, но представить себе Л. Андреева вместе с редактором «Старых годов» было бы невозможно; представить их вместе можно было бы лишь в карикатуре. Гораздо ближе были ему некоторые символисты, в частности Андрей Белый и я, о чем он говорил мне не раз. И, несмотря на такую близость, ничего не вышло и из нее.

Связь моя с Л. Андреевым установилась и определилась сразу задолго до знакомства с ним; ничего к ней не прибавило это знакомство; я помню потрясение, которое я испытывал при чтении «Жизни Василия Фивейского» в усадьбе, осенней дождливой ночью. Ничего сейчас от этих родных мест, где я провел лучшие времена жизни, не осталось; может быть, только старые липы шумят, если и с них не содрали кожу. А что там неблагополучно, что везде неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях, — это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией, и вот на это мое знание сразу ответила мне «Жизнь Василия Фивейского», потом «Красный смех»,¹ потом — особенно ярко — маленький рассказ «Вор». О рассказе этом я написал рецензию, которая была помещена в журнале «Вопросы жизни»,² рецен-

зия попалась в руки Л. Андрееву и, как мне говорили, понравилась ему; что она ему должна была понравиться, я знал — не потому, что она была хвалебная, а потому, что в ней я перекликнулся с ним, — вернее, не с ним, а с тем хаосом, который он в себе носил; не носил, а таскал, как-то волочил за собой, дразнился им, способен был иногда демонстрировать этот подлинный хаос, как попугая или комнатную собачку, так что все чопорные люди, окружающие его (а интеллигенция была очень чопорная, потому что дров она тогда еще рубила и ведер с водой на седьмые этажи не таскала), окончательно переставали верить в этот подлинный хаос.

Так вот перекликнулись два наших хаоса, и вышло, что ко времени личного знакомства Леонид Андреев уже знал, что существует такой Александр Блок, с которым где-то, как-то и для чего-то надо встретиться и он окажется не чужим.

Только что кончил я курс в университете и превратился в литератора, который, как и другие, ходил в штатском платье и просил авансов в разных местах. При одном из таких случаев, совершенно не помню где, познакомились мы с Леонидом Николаевичем. Знакомого хаоса никакого я не нашел, передо мной был просто очень известный уже писатель; я страшно стеснялся всех известных писателей; Андреев тоже не знал, должно быть, с чего начать разговор. Скоро он пригласил меня к себе; я пошел; Андреев жил на Каменноостровском, в доме страшно мрачном, в котором, я знал, есть передвижные переборки у комнат.

Я помню хлещущий осенний ливень, мокрую ночь. Огромная комната — угловая, с фонарем, и окна этого фонаря расположены в направлении островов и Финляндии. Подойдешь к окну, — и убегают фонари Каменноостровского цепью в мокрую даль.

В комнате — масса людей, все почти писатели, много известных; но о чем говорят, неизвестно; никто ни с кем не связан, между всеми чернеют провалы, как за окном, и самый отделенный от всех, — самый одинокий — Л. Н. Андреев; и чем он милее, чем любезнее, как хозяин, тем более одинок. Вот и все впечатление, которое у меня осталось. Оно усугубляется еще приглашением письмом, которое составлено в шуточной форме; — так шутить очень мило, это показывает, как

просто ведет себя известный человек, и все улыбнутся, но никому не станет весело.

В тот вечер на фоне мокрой дали с цепочками фонарей был мне мил Л. Андреев, милее, чем в некоторые другие разы, потому что он, сколько я помню, был прост и немного застенчив и не демонстрировал своего хаоса, своей страшной комнатной собачки, которая тем и страшна, что, когда ее увидишь, не испугаешься; а невидимую — чувствуешь.

Описанный вечер был осенью 1906 года, а в 1907 году, «во второй половине сезона» была впервые поставлена у Коммиссаржевской, в театре на Офицерской, «Жизнь Человека», произведение, которое очень глубоко задело Андрея Белого и меня.³ Опять я помню при этом не Леонида Андреева, знаменитого человека в куртке особого покроя, а его атмосферу, тот воздух, который окружал его и который сумели тогда перенести на сцену так, как не сумели этого сделать позже даже в Художественном театре. Было в некоторых актерах и в режиссере труппы Коммиссаржевской что-то родственное Андрееву; даже слабым довольно актерам удалось разбудить в себе тот хаос, который так неотступно следовал за ним.

В «Жизни Человека», как во всем ряде произведений Андреева, который открывается этой пьесой, поставлен нелепый, досадный вопрос, который предлагают дети: «Зачем?». Что ни скажешь ребенку, он спрашивает: «Зачем?». Взрослые на этот вопрос ничего не в состоянии ответить; но они также не в состоянии признаться в том, что они не могут ответить на этот вопрос. Просто — «глупый вопрос», «детский вопрос»; вот то, что мне лично кажется самым драгоценным в Л. Андрееве; он всегда задавал этот вопрос, и был трижды прав, задавая его, потому что вот сейчас этот самый вопрос задает цивилизации великое дитя — Россия, а ответить на него так, чтобы за ним не последовало опять второе, полуравнодушное, полукапризное «Зачем?» — никто не может.

Леонид Андреев задавал этот вопрос от самой глубины своей, неотступно и бессознательно. Сознательно он, чем дальше, тем больше, умствовал и сам способен был ответить на него не раз взрослее взрослого, глупее глупого. Но была в нем эта драгоценная, непочатая, хаотическая, мутная глубь, из которой кто-то, в нем си-

дящий, спрашивал: «Зачем? Зачем? Зачем?», и бился головой о стену большой, модно обставленной, постылой хоромины, в которой жил известный писатель Леонид Андреев, среди мебели нового стиля.

Кажется, «Жизнь Человека» в этом смысле — самая автобиографическая пьеса. Мне привелось смотреть ее со сцены, чем я обязан режиссерским трюкам Мейерхольда. Никогда не забуду потрясающего впечатления от первой картины. Была она поставлена «на сукнах». В глубине стоял диванчик со старухами и ширма, а впереди — круглый стол со стульями кругом. Сцена освещалась только лампой на столе и узким круглым пятном верхнего света. Таким образом, стоя в темноте, почти рядом с актерами, я смотрел на театр, на вспыхивающие там и сям рубины биноклей. «Жизнь Человека» шла рядом со мной, рядом пронзительно кричала в родах мать, рядом нервно бегал по диагонали доктор в белом фартуке с папироской; и, главное, рядом стояла четырехугольная спина «Некто в сером», который из столба матового света бросал в театр свои слова.

Эти слова казались и кажутся многим пошлостью. Я помню, что они смертельно надоели и великолепно произносившему их актеру — К. В. Бравичу, тоже уже покойному теперь. Но что-то есть в этих словах, что меня до сих пор волнует:

«Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека с ее темным началом и темным концом. Доселе не бывший, таинственно сохраненный в безграничности времени, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем...»

«...Ледяной ветер безграничных пространств бесильно кружится и рыскает; колебля пламя, светло и ярко горит свеча. Но убывает воск, снедаемый огнем. Но убывает воск...»

«...И вы, пришедшие сюда для забавы и смеха, вы, обреченные смерти, смотрите и слушайте: вот далеким и призрачным эхом пройдет перед вами, с ее скорбями и радостями, быстротечная жизнь Человека».

Андрей Белый называл то, чем проникнута эта пьеса, «рыдающим отчаяньем».⁴ Это — правда; рыдающее отчаянье вырывалось из груди Леонида Андреева не раз, и некоторые из нас были ему за это бесконечно благодарны.

Помню потом также поразившую меня «Повесть об Иуде».⁵ Потом меня ничто уже не поражало, но я твердо знал, «о чем» Леонид Андреев, и Леонид Андреев знал, о чем мы бы могли с ним быть. «О чем быть», — говорю я, а что это значит, — не знаю, и он не знал. Через год писал мне Андреев: «Сколько раз я к Вам собирался, как хотел Вас повидать, — и все не приходится, все не приходится... Почему мы с Вами идем против судьбы?»⁶ — Но мы не увидались.

Прошел еще год, он, как будто, нашел реальный повод для нашей встречи (это была моя пьеса «Песня Судьбы», которая ему, впрочем, очень не нравилась), но и из этого ничего не вышло. Я ему ответил, не желая обижать его, но он немножко обиделся.⁷ Это был уже 1909 год; тучи реакции сгустились. Я тогда уехал в Италию, где обожгло меня искусство, обожгло так, что я стал дичиться современной литературы и литераторов заодно. Еще много было причин, почему я почти со всеми перестал видаться и ушел в свои «одинокие восторги». Леонид Андреев тем временем тоже уже был другой, в нем накопилось много всякой обиды, слава его была громка, но критика его не щадила, а он был к ней странно внимателен.

В 1911 году опять почему-то вспомнил он меня — поводом было одно из моих стихотворений.⁸ «Нужно ли это писать Вам или нет, не знаю, — прибавляет он в письме, — может, и не нужно». Прислал «Сашку Жегулева», я ему, кажется, послал книги; тем дело и кончилось; не помню, встречались ли мы еще, до такой степени незначительны были слова, сказанные друг другу, если мы и встречались.

В конце 1916 года вернулся я в Петербург ненадолго в отпуск и нашел очень милое письмо, которым Л. Н. звал меня принять участие в газете «Русская воля», где он редактировал литературный и театральный отдел. В письме этом были слова о том, что газету «зовут банковской, германофильской, министерской — и все это ложь». Мне все уши прожужжали о том, что это — газета протопоповская, и я отказался.⁹ Л. Н. очень обиделся, прислал обиженное письмо. Отпуск мой кончился, и я уехал, не ответив. На том и кончилось наше личное знакомство — навсегда уже.

Сравнительно с тем, что знали мы с Андреевым друг о друге где-то в глубине, — все встречи и письма,

а тем более разговоры о иудаизме, Протопопове, германофильстве и т. д. были — сплошным вздором, бессмысленной пошлостью. И однако, если бы сейчас оказался в живых Л. Н. и мы бы с ним встретились, мы бы также не нашли никаких общих тем для разговора, кроме коммунизма или развороченной мостовой на Моховой улице.

Мы встречались и перекликались независимо от личного знакомства — чаще в «хаосе», реже — в «одиноких восторженных состояниях». Знаю о нем хорошо одно, что главный Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна, которое выходит в сторону островов и Финляндии, в сырую ночь, в осенний ливень, который мы с ним любили одной любовью. В такое окно и пришла к нему последняя гостья в черной маске — смерть.

29 октября 1919

НИ СНҢ, НИ ЯВЬ

Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман.

Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить купеческий луг. Не орут, не ругаются, как всегда. Косы зашаркали по траве, слышно — штук двадцать.

Вдруг один из них завел песню. Без усилия полился и сразу наполнил и овраг, и рощу, и сад сильный серебряный тенор. За сиренью, за туманом ничего не разглядеть, по голосу узнаю, что поет Григорий Хрипунов; но я никогда не думал, что у маленького фабричного, гнилого Григория, такой сильный голос.

Мужики подхватили песню. А мы все страшно смутились.

Я не знаю, не разбираю слов; а песня все растет. Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в дальний угол сада.

После этого все и пошло прахом. Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и, с пьяных глаз, сам поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже — на следующее утро пошел рубить старую сирень.

Сирень была столетняя, дворянская: кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней — березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей — овраг. Из оврага мне уж

ничего и не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит, открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня собой.

Все вообще возмутились. Невозмутимым остался один только «политический», который все время тут путался по дорогам на велосипеде, нелегально. Урядник всегда ездил низом, прямо через болото, а «политический» — вёрхом, по дороге. Бывало, урядник ушмыгнет в кусты на своих беговых дрожках, как курица, мокрый от водки; а уж с горки соколом катит на велосипеде «политический»; на штанах у него прилипли и в педалях велосипеда застряли репы. Собаки совершенно осипли, крутят хвостами в облаке пыли.

Итак, все мы кончили довольно плохо: «изменились скоро, во мгновение ока, по последней трубе», как и предупреждал дьякон.

Но ведь «политический», что бы ни произошло, всегда останется «политическим» и «нелегальным». Такая его порода. Впрочем, я ведь всегда считал основой жизни мир, который, однако, вольно и невольно, сам же и нарушал.

Всю жизнь мы прождали счастья, как люди в сумерки, долгие часы, ждут поезда на открытой, занесенной снегом платформе. Слепли от снега, а всё ждут, пока появятся на повороте три огня.

Вот, наконец, высокий, узкий паровоз; но уже не на радость: все так устали, так холодно, что нельзя согреться даже в теплом вагоне.

Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходят Магдалина с сосудом, Петр с ключами; Саломея несет голову на блюде; ее лиловое с золотом платье такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой.

— Душа моя, где же твое тело?

— Тело мое все еще бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже ее потеряв.

Окончательно разозлившийся черт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию. Душа смиренно соглашается на это. Остальные черти ру-

коплетшут старшему за его чудовищную изобретательность.

Душа мытарствует по России в двадцатом столетии...

Весенние лесные проталины. Снег почти сошел; только под старыми елями сереет ледяная корка. Душистый воздух. Среди елей образовалась огромная заводь; в ней отражается утро.

За лесом — необъятная равнина. На равнине — необъятная толпа мужиков. Один подвязывает лапоть; другой умывает лицо талым снегом; третий засучивает рукава рубахи: собрались куда-то.

Из большой, наскоро сложенной, кузни валит дым. Мужики тащат плуги и бороны в переплав.

А за деревней, на холмах, остановились богатыри: сияние кольчуг, больше ничего не разобрать. Один выехал вперед, конь крепко уперся ногами в землю, всадник протянул руку, показывает далеко — за лес.

Вдруг толпа двинулась по направлению, указанному рукой богатыря. На плечи взмахиваются вилы; у других — странные старинные мечи.

Мужики идут, по колена утопают в озерах тали, и весь лес наполнился шелестом лаптей.

Теперь — тише. Наступает молчание. Я закрываю глаза и передо мной проходят обрывки образов, частью знакомых, частью — нет. Они стесняют грудь, так что становится душно. Перед закрытыми веками проплывают радужные пятна...

Я открываю глаза — все та же лампа, и на кресле, под лампой, она: верхняя половина ее лица в тени; освещен приоткрытый рот; в темноте, сквозь приспущенные веки, меня по-прежнему преследуют эти всегда пьяные глаза.

Однажды, стараясь уйти от своей души, он прогуливался по самым тихим и самым чистым улицам. Однако душа упорно следовала за ним, как ни трудно было ей, потрепанной, поспевать за его молодой походкой.

Вдруг над крышей высокого дома, в серых сумерках зимнего дня, появилось лицо. Она протягивала к нему руки и говорила:

— Я давно тянусь к тебе из чистых и тихих стран неба. Едкий городской дым кутает меня в грязную шубу. Руки мне режут телеграфные провода. Перестань называть меня разными именами — у меня одно имя. Перестань искать меня там и тут — я здесь.

Никакого ответа на его тоскливые жалобы. Только фонтан роняет струйки; а длинные травы в узком хрустале благоухают.

Всю ночь он пробродил вдоль черной реки, а утром подошел к церкви. По снежной площади наискосок, огибая паперть, протрухала сонная тройка: по бокам висели гроздьями шесть пьяных офицеров и дам. Очевидно, жаловаться было некому и думать не о чем.

Он решил вернуться домой, пока она спит.

— По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днем особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте...

— Что?

— Там копается в земле какой-то человек, стоя на коленях, спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму: «Эй, вы, торопитесь».

— Так что же?

— Дальше я уж не смотрю и не слушаю: так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши.

— Да ведь это — садовник.

— Раз ему даже ответили; многие голоса сказали из ямы: «Всегда посеем». Тогда он встал, не торопясь, и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол.

— Что же тут необыкновенного? Садовник говорил с рабочими. Тебе все мерещится.

— Эх, не знаете вы, не знаете.

19 марта 1921

АВТОБИОГРАФИЯ

.

Семья моей матери причастна к литературе и к науке.

Дед мой, Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, был ректором Петербургского университета в его лучшие годы (я и родился в «ректорском доме»). Петербургские Высшие женские курсы, называемые «Бестужевскими» (по имени К. Н. Бестужева-Рюмина), обязаны существованием своим главным образом моему деду.

Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает. Собственно, нам уже непонятны своеобразные и часто анекдотические рассказы о таких дворянах-шестидесятниках, как Салтыков-Щедрин или мой дед, об их отношении к императору Александру II, о собраниях Литературного фонда,¹ о борелевских обедах,² о хорошем французском и русском языке, об учащейся молодежи конца семидесятых годов. Вся эта эпоха русской истории отошла безвозвратно, пафос ее утрачен, и самый ритм показался бы нам чрезвычайно неторопливым.

В своем селце Шахматове (Клинского уезда, Московской губернии) дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком; совершенно по той же причине, по которой И. С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать все, что ни спросят, лишь бы отвязались.

Встречая знакомого мужика, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь словами: «Eh bien, mon petit...».*

* «Ну, мальш...» (фр.). — Ред.

Иногда на том разговор и кончался. Любимыми собеседниками были памятные мне отъявленные мошенники и плуты: старый *Jacob Fidèle*,* который разграбил у нас половину хозяйственной утвари, и разбойник Федор Куранов (по прозвищу *Куран*), у которого было, говорят, на душе убийство; лицо у него было всегда сине-багровое — от водки, а иногда — в крови; он погиб в «кулачном бою». Оба были действительно люди умные и очень симпатичные; я, как и дед мой, любил их, и они оба до самой смерти своей чувствовали ко мне симпатию.

Однажды дед мой, видя, что мужик несет из лесу на плече березку, сказал ему: «Ты устал, дай я тебе помогу». При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу.

Мои собственные воспоминания о деде — очень хорошие; мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий. Помню, как мы радовались, когда нашли особенный цветок ранней грушевки, вида, неизвестного московской флоре, и мельчайший низкорослый папоротник; этот папоротник я до сих пор каждый год ищу на той самой горе, но так и не нахожу; очевидно, он засеялся случайно и потом выродился.

Все это относится к глухим временам, которые наступили после событий 1 марта 1881 года. Дед мой продолжал читать курс ботаники в Петербургском университете до самой болезни своей; летом 1897 года его разбил паралич, он прожил еще пять лет без языка, его возили в кресле. Он скончался 1 июля 1902 года в Шахматове. Хоронить его привезли в Петербург; среди встречавших тело на станции был Дмитрий Иванович Менделеев.

Дмитрий Иванович играл очень большую роль в бететовской семье. И дед и бабушка моя были с ним

* Яков Верный (фр.). — Ред.

дружны. Менделеев и дед мой, вскоре после освобождения крестьян, ездили вместе в Московскую губернию и купили в Клинском уезде два имения — по соседству: менделеевское Боблово лежит в семи верстах от Шахматова, я был там в детстве, а в юности стал бывать там часто. Старшая дочь Дмитрия Ивановича Менделеева от второго брака — Любовь Дмитриевна — стала моей невестой. В 1903 году мы обвенчались с ней в церкви села Тараканова, которое находится между Шахматовым и Бобловым.

Жена деда, моя бабушка, Елизавета Григорьевна, — дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии, Григория Силыча Корелина. Она всю жизнь работала над компиляциями и переводами научных и художественных произведений; список ее трудов громаден; последние годы она делала до 200 печатных листов в год; она была очень начитана и владела несколькими языками; ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль — образный, язык — точный и смелый, обличавший казачью породу. Некоторые из ее многочисленных переводов остаются и до сих пор лучшими.

Переводные стихи ее печатались в «Современнике», под псевдонимом «Е. Б.», и в «Английских поэтах» Гербеля, без имени. Ею переведены *многие* сочинения Бокля, Брэма, Дарвина, Гексли, Мура (поэма «Лалла-Рук»), Бичер-Стоу, Гольдсмита, Стэнли, Теккерей, Диккенса, В.-Скотта, Брэт-Гарта, Жорж-Занд, Бальзака, В. Гюго, Флобера, Мопассана, Руссо, Лесажа. Этот список авторов — далеко не полный. Оплата труда была всегда ничтожна. Теперь эти *сотни тысяч* томов разошлись в дешевых изданиях, а знакомый с антикварными ценами знает, как дороги уже теперь хотя бы так называемые «144 тома» (изд. Г. Пантелеева), в которых помещены многие переводы Е. Г. Бекетовой и ее дочерей. Характерная страница в истории русского просвещения.

Отвлеченное и «утонченное» удавалось бабушке моей меньше, ее язык был слишком лапидарен, в нем было много бытового. Характер на редкость отчетливый соединялся в ней с мыслью ясной, как летние деревенские утра, в которые она до свету садилась работать. Долгие годы я помню смутно, как помнится все

детское, ее голос, пяльцы, на которых с необыкновенной быстротой вырастают яркие шерстяные цветы, пестрые лоскутные одеяла, сшитые из никому не нужных и тщательно собираемых лоскутков, — и во всем этом — какое-то невозвратное здоровье и веселье, ушедшее с нею из нашей семьи. Она умела радоваться просто солнцу, просто хорошей погоде, даже в самые последние годы, когда ее мучили болезни и доктора, известные и неизвестные, проделывавшие над ней мучительные и бессмысленные эксперименты. Все это не убивало ее неукротимой жизненности.

Эта жизненность и живучесть проникала и в литературные вкусы; при всей тонкости художественного понимания, она говорила, что «тайный советник Гёте написал вторую часть «Фауста», чтобы удивить глубокомысленных немцев». Также ненавидела она нравственные проповеди Толстого. Все это вязалось с пламенной романтикой, переходившей иногда в старинную сентиментальность. Она любила музыку и поэзию, писала мне полушутливые стихи, в которых звучали, однако, временами грустные ноты:

Так, бодрствуя в часы ночные
И внука юного любя,
Старуха-бабка не впервые
Слагала стансы для тебя.

Она мастерски читала вслух сцены Слепцова и Островского, пестрые рассказы Чехова.³ Одною из последних ее работ был перевод двух рассказов Чехова на французский язык (для «*Rèvue des deux Mondes*»). Чехов прислал ей милую благодарственную записку.⁴

К сожалению, бабушка моя так и не написала своих воспоминаний. У меня хранится только короткий план ее записок; она знала лично многих наших писателей, встречалась с Гоголем, братьями Достоевскими, Ап. Григорьевым, Толстым, Полонским, Майковым. Я берегу тот экземпляр английского романа, который собственноручно дал ей для перевода Ф. М. Достоевский. Перевод этот печатался во «Времени».

Бабушка моя скончалась ровно через три месяца после деда — 1 октября 1902 года.

От дедов унаследовали любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении их дочери — моя мать и ее две сестры. Все три переводили с иностранных языков. Известностью пользовалась старшая — Екатерина Андреевна (по мужу — Краснова). Ей принадлежат изданные уже после ее смерти (†4 мая 1892 года) две самостоятельных книги «Рассказов» и «Стихотворений» (последняя книга удостоена почетного отзыва Академии наук). Оригинальная повесть ее «Не судьба» печаталась в «Вестнике Европы». ⁵ Переводила она с французского (Монтескье, Бернарден де Сен-Пьер), испанского (Эс-пронседа, Бэкёр, Перес Гальдос, статья о Пардо Басан), перекладывала английские повести для детей (Стивенсон, Хаггарт; издано у Суворина в «Дешевой библиотеке»).

Моя мать, Александра Андреевна (по второму мужу — Кублицкая-Пиотух), переводила и переводит с французского — стихами и прозой (Бальзак, В. Гюго, Флобер, Зола, Мюссе, Эркман-Шатриан, Додэ, Боделэр, Верлэн, Ришпэн). В молодости писала стихи, но печатала только детские.

Мария Андреевна Бекетова переводила и переводит с польского (Сенкевич и мн. др.), немецкого (Гофман), французского (Бальзак, Мюссе). Ей принадлежат популярные переделки (Жюль Верн, Сильвио Пеллико), биографии (Андерсен), монографии для народа (Голландия, История Англии и др.). «Кармозина» Мюссе была не так давно представлена в театре для рабочих в ее переводе.

В семье отца литература играла небольшую роль. Дед мой — лютеранин, потомок врача царя Алексея Михайловича, выходца из Мекленбурга (прародитель — лейб-хирург Иван Блок был при Павле I возведен в российское дворянство). ⁶ Женат был мой дед на дочери новгородского губернатора Ариадне Александровне Черкасовой.

Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета по кафедре государственного права; он скончался 1 декабря 1909 года. Специальная ученость далеко не исчерпывает его деятельности, равно как и его стремлений, может быть ме-

нее научных, чем художественных. Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги (не считая литографированных лекций) и последние двадцать лет трудился над сочинением, посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист, — отец мой считал себя учеником Флобера. Последнее и было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил главного труда жизни: свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом поиске сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его. Я встречался с ним мало, но помню его кровно.

Детство мое прошло в семье матери. Здесь именно любили и понимали *слово*; в семье господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, по-верлэновски,⁷ преобладание имела здесь *éloquence*; * одной только матери моей свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к *musique* ** находили поддержку у нее. Впрочем, никто в семье меня никогда не преследовал, все только любили и баловали. Милой же старинной *éloquence* обязан я до гроба тем, что литература началась для меня не с Верлэна и не с декадентства вообще.

Первым вдохновителем моим был Жуковский. С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем. Запомнилось, разве, имя Полонского и первое впечатление от его строф:

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен. Мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад.⁸

«Жизненных опытов» не было долго. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой

* Красноречие (фр.). — Ред.

** Музыка (фр.). — Ред.

людей, с няней, игрушками и елками и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы. Лишь около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, и рядом приступы отчаянья и иронии, которые нашли себе исход через много лет в первом моем драматическом опыте («Балаганчик», лирические сцены).

«Сочинять» я стал чуть ли не с пяти лет. Гораздо позже мы с двоюродными и троюродными братьями основали журнал «Вестник», в одном экземпляре; там я был редактором и деятельным сотрудником три года.

Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тетке. Все это были лирические стихи, и ко времени выхода первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800, не считая отроческих. В книгу из них вошло лишь около 100. После я печатал и до сих пор печатаю кое-что из старого в журналах и газетах.

Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой «новой поэзии» я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал «субъективным» и бережно оберегал от всех. Внешним образом готовился я тогда в актеры, с упоением декламировал Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях в доме моей будущей невесты Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря и... водевили. Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных кругах. К счастью и к несчастью вместе, «мода» такая пришла, как всегда бывает, именно тогда, когда все внутренне определилось; когда стихи, бушевавшие под землей, хлынули наружу, — нашлась толпа любителей легкой мистической наживы. Впоследствии и я отдал дань этому новому кощун-

ственному «веянию»; но все это уже выходит за пределы «автобиографии». Интересующихся могу отослать к стихам моим и к статье «О современном состоянии русского символизма» (журнал «Аполлон» 1910 года). Теперь же возвращусь назад.

От полного незнания и неумения сообщаться с миром со мною случился анекдот, о котором я вспоминаю теперь с удовольствием и благодарностью: как-то в дождливый осенний день (если не ошибаюсь, 1900 года) отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда «Мир божий». Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься *этим*, когда в университете бог знает что творится!» — и выпроводил меня со свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо многих позднейших похвалах.

После этого случая я долго никуда не совался, пока в 1902 году меня не направили к Б. Никольскому, редактировавшему тогда вместе с Репиным студенческий сборник.

Уже через год после этого я стал печататься («серьезно»). Первыми, кто обратил внимание на мои стихи со стороны, были Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьевы (двоюродная сестра моей матери). Первые мои вещи появились в 1903 году в журнале «Новый путь» и, почти одновременно, в альманахе «Северные цветы».

Семнадцать лет моей жизни я прожил в казармах л.-гв. Гренадерского полка (когда мне было девять лет, мать моя вышла во второй раз замуж, за Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттук, который служил в полку). Окончив курс в СПб. Введенской (ныне — императора Петра Великого) гимназии, я поступил на юридический факультет Петербургского университета довольно бессознательно, и, только перейдя на третий курс, понял, что совершенно чужд юридической науке. В 1901 году, исключительно важным для меня и решившем мою судьбу, я перешел на филологический факультет, курс которого и прошел, сдав государственный

экзамен весной 1906 года (по славяно-русскому отделению).

Университет не сыграл в моей жизни особенно важной роли, но высшее образование дало, во всяком случае, некоторую умственную дисциплину и известные навыки, которые очень помогают мне и в историко-литературных, и в собственных моих критических опытах, и даже в художественной работе (материалы для драмы «Роза и Крест»). С годами я оцениваю все более то, что дал мне университет в лице моих уважаемых профессоров — А. И. Соболевского, И. А. Шляпкина, С. Ф. Платонова, А. И. Введенского и Ф. Ф. Зелинского. Если мне удастся собрать книгу моих работ и статей, которые разбросаны в немалом количестве по разным изданиям, но нуждаются в сильной переработке, — долею научности, которая заключена в них, буду я обязан университету.

В сущности, только после окончания «университетского» курса началась моя «самостоятельная» жизнь. Продолжая писать лирические стихотворения, которые все, с 1897 года, можно рассматривать как дневник, я именно в год окончания курса в университете написал свои первые пьесы в драматической форме; главными темами моих статей (кроме чисто-литературных) были и остались темы об «интеллигенции и народе», о театре и о русском символизме (не в смысле литературной школы только).

Каждый год моей сознательной жизни резко окрашен для меня своей особенной краской. Из событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших на меня так или иначе, я должен упомянуть: встречу с Вл. Соловьевым, которого я видел только издали;⁹ знакомство с М. С. и О. М. Соловьевыми, З. Н. и Д. С. Мережковскими и с А. Белым; события 1904—1905 года; знакомство с театральной средой, которое началось в театре покойной В. Ф. Коммиссаржевской; крайнее падение литературных нравов и начало «фабричной» литературы, связанное с событиями 1905 года; знакомство с творениями покойного Августа Стриндберга (первоначально — через поэта Вл. Пяста); три зарубежных путешествия: я был в Италии — северной (Венеция, Равенна, Милан) и средней (Флоренция, Пиза, Перуджия и много других городов и местечек Умбрии), во Франции (на севере Бретани,

в Пиренеях — в окрестностях Биаррица; несколько раз жил в Париже), в Бельгии и Голландии; кроме того, мне приводилось почему-то каждые шесть лет моей жизни возвращаться в Bad Nauheim (Hessen-Nassau), с которым у меня связаны особенные воспоминания.

Этой весной (1915 года) мне пришлось бы возвращаться туда в четвертый раз; но в личную и низшую мистику моих поездок в Bad Nauheim вмещалась общая и высшая мистика войны.

Октябрь 1909; июнь 1915

ИЗ ДНЕВНИКОВ
И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

⟨Сентябрь⟩*

Зап. книжка

Когда родное сталкивается в веках, всегда происходит мистическое. Так Пушкин столкнулся с Петром. Когда он заводит о Петре — сейчас звучит тайное. Так и истинно христианствующие, когда встречаются с Христом — Достоевский в учениях старца Зосимы (и все Карамазовы!). «Здесь тайна есть»,¹ ибо истинно родное сошлось в веках и, как тучи сошедшиеся, произвело молнию. Есть миры иные.



Определив общее направление французской новой поэзии (А. Энгельгардт и др.), указав на его отцов — определить начала новой поэзии у нас (источники — Фет, Тютчев, Соловьев, идеи), как вполне самобытные, вызванные требованиями нашими историческими и другими. Отделить новую поэзию вообще от частных декадентства.²

〈Декабрь 1901 – январь 1902〉

Дневник

〈НАБРОСОК СТАТЬИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ〉

Неомраченный дух прими для лучшей доли
Тоскующую тенью поутру.
И день иной родится в свете воли
И легок будет труд в ином миру.¹

Следующий очерк не содержит в себе чего-нибудь стройно-цельного. Это критика от наболевшей души, которая стремится защитить от современников белые и чистые святыни. Кроме того – это труд, малый, но вдохновенный – его-то желаю я оставить по себе, кроме песен. Мне недолго жить, потому что «тебя на земле уж не встречу». ² Это почти что так, – и потому *неминуемо и необходимо исчезнуть за дорожным поворотом.* ³ Пускай же останутся песни и крики, – «бред неопытной души». ⁴

СПб. 11 января 1902

Ал. Блок.

И снова накануне передачи в святыне руки, в святыне чувства, в святыне мысли, – раскрывается заглавная страница Ф. Тютчева – тонкое лицо, портрет, рисованный Аполлоном ⁵ (кстати – ?).

Я прежде выскажусь.

Все было ясно. «Передо мной кружится мгла». ⁶ И боли мимолетной не чуял. ⁷ Но странно – однажды проснулось что-то земное, лодка стукнулась о берег. И уж несколько дней нестерпимая тяжесть.

Мне эту девственную нежность
В глазах толпы оставить жаль. ⁸

Далеко поет земля, – близко слышится песня – и подступает к горлу.

Лирическое настроение тогда и будет, когда из вдохновеннейших строк бегут вдохновеннейшие отклики.

Стихи — это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее в божественном экстазе. И все, чему он слагает ее, — в том кроется его настоящий Бог. Дьявол уносит его — и в нем находит он опрокинутого, искалеченного, — но все милее, — Бога. А если так, есть Бог и во всем тем более — не в одном небе бездонном, а и в «весенней неге» и в «женской любви». ⁹

Потом чуткий читатель. Вот он схватил жадным сердцем неведомо полные для него строки, и в этом уже и он празднует своего бога.

Вот таковы стихи. Таково истинное вдохновение. Об него, как об веру, о «факт веры», как таковой, «разбиваются волны всякого скептицизма».* Еще, значит, и в стихах видим подтверждение (едва ли нужное) витания среди нас того незыблемого Бога, Рока, Духа... кого жалким, бессмысленным и глубоко-звериным во-ем встретили французские революционеры, а гораздо позже и наши шестидесятники.

«Рече безумец в сердце своем: несть Бог». ¹¹

Когда раздались нечеловеческие вопли грубого либерализма и «либеральная жандармерия» (она отличается от консервативной тем, что первая регулируется правом и государством, а вторая — произволом фанатиков и глупцов) стала теснить аристохр^тов** чувства и мысли и снова распинать Истину, Добро и Красоту, — старые силы вышли из тумана, «в дымном тумане» возникли «новые дни». ¹²

На великую философскую борьбу вышел гигант — Соловьев (которого «дождался» ли его «заветный храм»? ¹³). Осыпались пустые цветы позитивизма и старое древо вечно ропщущей мысли зацвело и зазеленело метафизикой и мистикой. Страницы новых учений оза-рились неудержимым потоком любовного света, — пе-

* Слова Ф. Ф. Зелинского в кавычках. ¹⁰ (Позднейшая приписка Блока на полях рукописи. — *Ред.*)

** Аристократов (*греч.*). — *Ред.*

ред ним же все демоны «вверх ногами» закружились во мгле.¹⁴ Все это дело любви совершалось, пока лживое государство воздвигало гонения на фанатиков и богохульников, которые злобились и свирепели.

В минуту смятения и борьбы лжи и правды (всегда борются Бог и диавол — и тут они же борются) взошли новые цветы — цветы символизма, всех веков, стран и народов. Заглушенная криками богохульников, старая сила почуяла и послышала, как воспрянул ее Бог, — и откликнулась ему. К одному вечному, незыблемому камню Бога подвалился и еще такой камень — «в предвестие, иль в помощь, иль в награду».¹⁵

Это была новая поэзия в частности и новое искусство вообще. К воздвижению мысли, ума присоединилось воздвижение чувства, души. И все было в Боге.

Есть люди, с которыми нужно и можно говорить только о простом и «логическом», — это те, с которыми не ощущается связи мистической. С другими — с которыми все непрестанно чувствуется сродство на какой бы ни было почве — надо говорить о сложном и «глубинном». Тут-то выяснятся истины мира — через общение глубин (см. Брюсов¹⁶).

Весна январская — больше чаянье и чуянье весны, чем сама весна — затрепетала и открыла то, что неясно и не сильно еще носилось над душой и мыслью.¹⁷ Было только

Перой легко, порою больно
Перед тобой не падать ниц.¹⁸

Когда сумерки зимы сходили медленно, медленно же явились из мрака молодые были прошедших дней, и ветер принес издали песни весенней язык.¹⁹ Лебединая песня — и уже тогда понял я — ризы девственные.²⁰

Ты ли это, прозвучала
Над темнеющей рекой?
Или вправду отвечала
Мне на крик береговой?²¹

И все ждал видения, ждал осени. А не было еще. Иначе зазвучало и иначе откликнулось. А что-то откликнулось. Или только кажущееся?

Неверующему можно сказать:

Остановись! Ужель намердн,
Безумец, не заметил ты...^{22/}

Все бранят современную литературу.

Проходят дни и сны земные —
Кого их брениость устршит.

Пускай бранят, —

Но плачет сердце от обид,
И далеки сердца родные.²³

Где же вы, родные сердца, отчего вас так мало, отчего вы не пойдете за чистым, глубоким, может быть частями «безумным», зато частями открывающим не-сметные сокровища «глубинных» чувств и мыслей, — когда вы тысячами влачите за великим злом века, за статичной денежностью?

(ἀπάθια οὐμπάθια)*

Выступая на защиту, я крещусь мысленно и призываю ту великую Женственную тень, которая прошла передо мной «с величием царицы»²⁴ — и воплотилась в звящей бездне темного мира.

Есть два рода литературных декадентов: хорошие и дурные; хорошие — это те, которых не следует называть декадентами (пока только отрицательное определение); дурные — те, кому это имя принадлежит, как по существу, так и этимологически. Заранее оговорившись относительно терминов, легче разобраться. Будем же понимать под словом декадент то, что это слово зна-

* Бесстрашие — сострадание (греч.). — Ред.

чит, — именно: упадок, ибо другие значения, навязываемые ему (отчего это происходит — скажу ниже), очевидно, совершенно нелепы.

Название декадентство прилепляется публикой ко всему, чего она не понимает. Это — факт очень обыкновенный и доказывающий только (еще раз!), что на «большую публику» следует махнуть рукой. Но есть люди, стоящие выше «современной *aurea mediocritas*», * — и тем-то из них, кто все-таки, часто просто не вникая в суть и не разбирая, прилепляет удобное по краткости и бранчивости звуков слово к нелюбимым произведениям известного рода, — им-то пора разобраться и определить и выяснить свои мысли. Наша литература (к чести ее) очень мало за себя заступается, а на брань Бурениных не обращает внимания, что имеет одну дурную сторону: публика-то так и остается в неведении относительно литературных родов настоящего времени и все мешает в одну кучу (чему, кстати, очень способствуют настоящие «упадочники», дегенераты, имена которых история сохранит без благодарности).

Декадентство — «*décadence*» — упадок.

Упадок (у нас?) состоит в том, что иные или намеренно, или просто по отсутствию соответствующих талантов, затемняют смысл своих произведений, причем некоторые сами в них ничего не понимают, а некоторые имеют самый ограниченный круг понимающих, т. е. только самих себя; от этого произведение теряет характер произведения искусства и в лучшем случае становится темной формулой, составленной из непонятных терминов — как отдельных слов, так и целых конструкций. **

Человек, утончаясь, чувствует потребность прикрыть тайну своего существования, слишком ярко и обнаженно им ощущаемую; оттого, совсем не чуждаясь дня в своей так называемой «положительной» деятельности, — он ищет ночи для своих вдохновений, сумрака для своих надежд; — потому-то глубины наших совре-

* Золотой середины (лат.). — *Ред.*

** В рукописи к этому абзацу помета Блока: «Верлэн, стр. 11. — Вечная женственность. Мережковский, «Русская литература», стр. 37–43». ²⁵ — *Ред.*

менных поэтов укрываются порой в непроницаемые одежды. Напрасно искать осязаемого в этих глубинах. [Толпа может лишь бесноваться перед глухой стеной, скрывающей вечное и неумолимое божество; это божество всегда было далеко от невежд, никогда они не могли ни проникнуть в его тайну, ни познать его; непроницаемые покровы, открывавшиеся только мудрости или вдохновению, всегда безнадежно опускались перед грубостью умов и сердец. Теперь клеймят, как издревле, эти строгие, древние покровы только новым именем — именем декадентства.

Вот — чисто мистическая постановка основного вопроса; она открывает обширные перспективы в сторону всяческого прославления того, что ныне подвергается неразборчивой хуле. Другая, прямо противоположная, а потому равно необходимая, точка зрения на это крупное явление современности (лучше сказать — современное видоизменение вечного и живого начала) будет состоять в различении плевелов от доброго семени и в уличении тех, кто, неприметно укрываясь в чистых струях прозрачного потока, мутит его воды и нарушает строй их мерного течения к «прекрасной неведомой цели». Эта точка зрения должна поднять цветущие покровы, скрывающие всю чахлость разврата, и отряхнуть, таким образом, ветхую чешую грязных красок; тогда «с прежней красотой» перед нами явится «картина гения».²⁶

Этот гений — само божество, непостижимое для глушцов, но проникающее всех, достойных проникновения; оно-то подвигло своих бедных детей претерпеть гонения, воздвигнутые на них ныне; оно-то «в разных образах» владеет сердцами своих Апостолов. Над одним простерлось Светлое Существо — «Женственная Тень».²⁷ Другой еще горит глубокими ранами Божественного Учителя. Третьего волнуют темные соблазны, над которыми, как над всякой «черной глыбой», скоро вознесутся «лики роз»²⁸ и брызнет ослепительный неиссякающий Свет. Все Апостолы — уже уготованы на жертву и будут распяты «вверх пятami», как ранний святитель.²⁹ Но дальше ждет их то великое и непостижимое слияние с прежним источником и страданий и просветлений, которым теперь лишь изредка и бледно тревожат их боги «в пророческих снах»;³⁰ и все-таки — тревожат — «в предвестие, или

в помощь, или в награду». ³¹ Здесь уже все равно — залетит ли в их «сумрак» «с зеленеющих полей» Психея, ³² или сойдет на них божественный «экстаз» Плотина и Соловьева.]

В то время как души большинства продолжали коснеть в тяжелом и смрадном невежестве, составляя твердую и благодатную почву для посева всякого рода злых семян, — души лучшей части человечества утончились в горниле испытаний времени и культуры; [никогда не умрет человеческий дух, границы его возвеличению лежат еще вне нашего познания; и теперь —]. * Среди всех «бурь и бед и мыслей безобразных» ³³ почувалось новое веяние, пускают ростки новые силы; [и в небывалых прежде блаженных муках начинается рождаться новое, еще неведомое, но лишь смутно пока чувствуемое. Это все — дело Вечного Бога. Мы еще только смотрим, содрогаясь, и смутно ждем конца. Кто родится — бог или диавол, — все равно; в новорожденном заложена вся глубина грядущих испытаний; ибо нет разницы — бороться с диаволом или с богом — они равны и подобны; как источник обоих — одно Простое Единство, так следствие обоих — высшие пределы Добра и Зла — плюс ли, минус ли — одна и та же Бесконечность.

«Парадоксальность» этих верований не будет служить помехой анализу темы; но, так как сама тема требует скорее субъективного метода, потому что трактует о том, что лежит далеко за пределами точных знаний, — она не может обойтись без самоосвещения и самосближения с религиозными основами ее автора; тем более что верования, выраженные выше, как мне кажется, совсем не лишены того самого туманного и мистического, далеко не строго богословского духа, которым проникнута и вся тема.] Точки же соприкосновения «глубинной» религии с «глубинным» искусством — неисчислимы. В пример можно привести несомненное как внутреннее, так и внешнее сходство между богослужебными обрядами вдохновенных иереев и игрой на сцене вдохновенных актеров; ибо

* Квадратные скобки в рукописи. — Ред.

и священнослужитель олицетворяет Христа, и актер совершает свою литургию.³⁴

Близость между Богом, которому поклоняются, и духом, который поклоняется, становится очевидной в нашей недавней поэзии. Тоскование всегда предполагает желание соединения — какую-то неудовлетворенную отделенность, порывание или непрерывное стремление воссоединиться; одним из великих парадоксов, которым живут ищущие, можно считать то, что нет большей близости, чем наибольшая отделенность, нет большей тоски, чем наибольшая радость. И в нашей поэзии неутолимейшее желание часто равно совершенному успокоению, величайшая радость — непрестанному тоскованию. [Все восходит к одной вершине, и на ней-то уж не можем мы, дети земли, различить наших здешних противоположностей.]

Вот — глубочайшее откровение. Тайна его сознана теперь, как никогда, умами и сердцами, обострившимися до последней степени. Это «инферальность» известного рода — «созерцание двух бездн»,³⁵ доступное недавним избранникам. На фоне этой «всерадостной» тайны выписывают они свои порой безумные, порой дышащие неведомой силой иероглифы. Но не в безумцах ожидаемые силы.] Мы же будем говорить только про главнейших из тех, кому, по словам поэта,

сквозь прах земли
Какой-то новый мир мерещился вдали,
Несуществующий и вечный,³⁶

кто из самого «несуществования» извлек для себя цветущее бытие и ликовал в чаянии грядущего. [Во главе этих избранников стоят Тютчев, Фет, Полонский, Соловьев.] За этими незыблемыми столпами уже начинается бесконечное, [во многом зыблемое, но прекрасное и] неисчерпанное море их духовных детей; [море, где враги станут друзьями, когда спадут «веткой чешуей»³⁷ ненужные злые краски.]

Волна в разлуке с морем
Не ведает покою.³⁸

Всякая живая волна сольется с другой воедино, когда «свершит» круг, который «очертили» ей боги.³⁹ А все мертвое отпадет. «И будет падение его вели-

кое». ⁴⁰ И враги дружественно протянут друг другу руки с разных берегов постигнутой бездны, когда эти берега сольются «в одну любовь». ⁴¹

Великие учителя — Тютчев, Фет, Полонский, Соловьев пролили свет на «бездну века», о которой я сейчас говорил. Тютчев, как ранний по времени, встретился еще с романтизмом в духе Шиллера и Жуковского и со славянофильством Хомякова и прочих. Есть в нем и Байрон-Лермонтов:

Я очи знал — о, эти очи...

Как наслажденье — утомленный
И как страданье — роковой. ⁴²

Не в этом его великая сила; Тютчев — один из тех, кто приготовил нам пышность встречи грядущих откровений; на рубеже этой встречи встали его последователи (во времени) — Фет — зрелый и мощный, Полонский — отрок, не знающий своих сил. Владимир Соловьев сделал в том направлении, о котором мы говорим, больше всех. Мы не имеем до сих пор равной и подобной глубины и затишья, уготованных для рождения С-нами-бога (Иммануэля). ⁴³

Когда Тютчев вышел «бросать живительное семя» «рукою чистой и невинной», ⁴⁴

Ночное небо так угрюмо
Заволокло со всех сторон. ⁴⁵

Таково было небо поэзии, ибо то были 60-е года, время положительного неведения. И вот отрывок стихотворения Тютчева, написанного в 1865 году:

Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса!
И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте,
Как бы таинственное дело
Решалось там — на высоте.

Отголосками «таинственного дела» на высоте явились на земле внизу первые значительные зародыши русского декадентства (говорю — первые значительные, потому что, увы! — как это ни странно «публике» — декадентство в самом неподдельном виде встречается и — *horribile dictu!* * — у Вергилия — см. «*Vicolica*»). ** Примером ярко декадентского настроения могут служить стихотворения «Безумие» и «Весь день она лежала в забытии». ⁴⁶ Первое напоминает современную живопись — какое-то странное чудовище со «стеклянными очами», вечно устремленными в облака, зарывшееся «в пламенных песках». Второе — ясное искание «глубинных» чувств; в звуках летнего дождя, в веселом шуме листьев — рядом с ликованием природы — «она», вся погруженная в «сознательную» думу, вся покрытая тенями, — вечная смесь «зимы и лета», [только не освещенная «взором очей»]. ***

Откуда же черпал этот уже явный декадент свои вдохновения. Ответ прост. Он, как все, сильные и слабые, молодые и старые, веселые и грустные, — ждал голосов из вечности, был близок к Золотому Веку, терялся мечтой в лучезарности прошлого. И он, как Фет, как Соловьев,

Под скифской вьюгой снеговую
Свободой бредил золотою
И небом Греции своей, ⁴⁷ —

не той Греции, которая кипела исторической жизнью, мыслью, творчеством, не той, которая породила гениев действительности, — а той, которая мечтается в таинственные часы, той Греции, которую благодарные потомки отвлекли от суеты земли, в которую нам привычно углубляться, как в мечту Золотого Века, быть может никогда не существовавшего, бесконечно отдаленного, но все прекрасного и вполне недоступного толпе, потому что

Он страшен им, как память детских лет. ⁴⁸

Это — та страна, в которой нет «болезней, печали и вздыхания». ⁴⁹ Она-то снится всякому избраннику,

* Страшно сказать! (лат.). — Ред.

** В рукописи сверху приписано: «эклоги». — Ред.

*** Квадратные скобки в рукописи. — Ред.

то смутно, то явственно, как что-то бесконечно дорогое; утрачивая с ним связь, утрачиваешь жизнь. Моисею, коснеющему в пустынном Мидиане,

...смутно видятся чертоги,
Где солнца жрец меня учил,
И размалеванные боги
И голубой, златистый Нил.⁵⁰

То был храм его юности; Вождь Израиля «расцвел» лишь тогда, когда вернулся к своему храму в «неопалимой купине». ⁵¹

Таким образом, источник и декадентства, и классицизма, и мистицизма, и реализма — один; имя ему — Бог. А связь четырех указанных вещей поэтов заключается в том, что свои вдохновения черпали они из того источника Божия, который не открывался другим (ибо иначе не было бы разницы между Шекспиром и Фетом). А источник их «декадентства» берет свое начало там же, где все другие источники, ибо все восходит к одной вершине. «Новое» направление Тютчева сказывается не в одних двух приведенных стихотворениях, а также и в том, например, что этот порою яростный публицист поднимался до бесконечно чистого лиризма, неподражаемой кристальности. Это возможно лишь для того, кто познал неизмеримую разницу между «суею беспощадною» и «благодатною тишью», когда

Все порывы и чувства мятежные,
Злую жизнь, что кипела в крови,
Поглоштило стремление безбрежное
Роковой беззаветной любви.⁵²

У Тютчева:

Но мне не страшен мрак ночной,
Не жаль скудеющего дня:
Лишь ты, волшебный призрак мой,
Лишь ты не покидай меня!
Крылом своим меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для очарованной души.⁵³

Этот призрак, эта «тень ангела», прошедшая «с величием царицы», — была великой женственной тенью:

Воздушный житель, может быть,
Но с страстной женскою душой.⁵⁴

Так связал поэт небо и землю — легко и безболезненно. Ибо дана была ему власть — вязать и решить, как Апостолу; и «на сем камени» воздвиглась церковь — необъятный храм.⁵⁵ Он белеет перед Соловьевым во всю его долгую жизнь — и в тумане утреннем, и в холодный белый день.⁵⁶ А меньшая братия ждет на паперти, и только смутно и издалека доносится к ней пение, долетают струи фимиама ([Сологуб,] Минский).

«Женская душа» стихов Тютчева необычайно сильна, она ведет его неуклонно.

Вот она — страстно быющая в прошедшем:

И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день...
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.⁵⁷

Вот она, утихшая, вся белая, в сонной дымке, в журчаньи воды:

Приутих наш круг веселый,
Женский говор, женский шум,
Подпирает локоть белый
Много милых сонных дум.⁵⁸

Вот она, опять страстная, но уже всюду царящая, — она объемлет и деву и природу:

Что, бледнея, замирает
Пламя девственных ланит?
Сквозь ресницы шелковые
Проступили две слезы...
Иль то капли дождевые
Зачинающей грозы?⁵⁹

И наконец, вот она, незримая, но несомненная; ею проникнуто все стихотворение «Еще шумел веселый день». Оно кончается словами:

И мне казалось, что меня
Какой-то миротворный гений
Из пышно-золотого дня
Увлеч незримо в царство теней.

Неисправимый романтик еще не мог опрокинуться над бездной, которую видел и ведал. Вечно нежная гармония помешала ему лицезреть весь ужас тайны

этой самой женственной души, ужас, который он все-таки смутно чуял:

Но есть сильней очарованье:
Глаза потупленные ниц...
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огонь желанья...⁶⁰

Это вторая бездна, которую так страшно и упоительно раскрывает В. Брюсов:

Мы шли, глядя друг другу в очи,
Встречая жданные мечты,
Мгновенья делались короче,
И было в мире — я и ты, —⁶¹

бездна, которую ныне уже нельзя миновать иначе, как перейдя через нее, и которую перелетел на крыльях лебединых⁶² Соловьев:

Власть ли роковая или немощ наша
В злую страсть одела светлую любовь, —
Будем благодарны, миновала чаша,
Страсть перегорела, мы свободны вновь.⁶³

Эту-то бездну отчаянья, самоубийства и высокого восторга, цветущего в горниле душевных старостей,^{*} миновал светлый, невинный и чуждый греха Тютчев. Она мелькнула перед его великой душой и, не задев ее, отошла к будущим поколениям. Отравленную чашу пьют наши современники.

Вот далеко не полный, несовершенный очерк некоторых вдохновений Тютчева. Мы спешим бросить его, совершившего все положенное ему «в земном пределе»,⁶⁴ и перейти к более близкому и более осязаемому величию.

Фет, как Тютчев, страстно грезил «небом Греции своей»,⁶⁵ как Тютчев, постигал природу в полной отделенности. Довольно сравнить Тютчевское «Тихой ночью, поздним летом» и Фетовское «Прозвучало над ясной рекою», или «Зреет рожь над жаркой нивой». Кто из них более велик в этом — пускай решают другие. Но в том, другом, пророческом — Фет больше Тютчева. Ибо Фет ощутил и ясно воплотил то, что еще

^{*} Так в рукописи: старостей. — *Ред.*

смутно грезилось Тютчеву. Громадный шаг отречения, на который не решился Тютчев, оставив себе теплый угол национальности или романтически спокойного и довольно низкого парения, — этот шаг сделал Фет. Он покинул «родимые пределы» и, «покорный глаголам уст» Божиим, двинулся «в даль туманно-голубую» «от Харрана, где дожил до поздних седин, и от Ура, где детские годы текли». ⁶⁶ И шел, «как первый Иудей», и терял свою цель, и снова находил ее, как он, и молился чужим богам «с беспокойством староверца». ⁶⁷

Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый Иудей
На рубеже земли обетованной. ⁶⁸

Потому что не жалел детских игр и детских снов, так сладостно и больно возмущенных ⁶⁹ вечно-женственной Тенью.

Идея Вечной Женственности уже так громадна и так прочно философски установлена у Фета, ⁷⁰ что об ней нельзя говорить мало.

В критическом очерке, посвященном Полонскому, Вл. Соловьев говорит: «Все истинные поэты так или иначе знали и чувствовали «женственную тень», но многие ясно говорят о ней; из наших яснее всех — Полонский». ⁷¹

Из наших яснее всех, конечно, сам Соловьев (можем мы сказать теперь). — Но вопрос в том, не признаки ли нашего настоящего в поэзии — особенно сильное и ясное чувство поэтами женственной тени.

И Фет, и Полонский — последний яркий представитель века, даже и темных его сторон (это говорит и Соловьев), — служат одним из доказательств этого. Современная поэзия вообще ушла в мистику, и одним из наиболее ярких мистических созвездий выкатилась на синие глубины неба поэзии — Вечная Женственность.

В четырех стихотворениях «К Офелии» Фет, явно сближая Шекспира с современностью (это уже не одна поэтическая, но и философская и культурная заслуга), воплощает свою женственную мечту в чужой образ и тем покоряет этот образ и своему гению. Этого не достигал Тютчев. Но этого мало.

Есть стихотворение Фета: «Чем тоске я не знаю помочь». Последние строки этого стихотворения, помимо

их вполне совершенного элегического настроения, не смущенного ни одним чуждым звуком, явственно и ощутимо выдвигают из ужасной пропасти ту нетленную красоту в окружении веры, и веру в окружении красоты, которую тщетно пытались бы поднять из темного лона иные:

Знать, в последний встречаю весну,
И тебя на земле уж не встречу.

Кто эта Ты? Это — источник жизни поэта, Белая Церковь. В ней все чисто от Астарты и Афродиты.⁷²

Все нити порваны, все отклики — молчанье.⁷³

«Остается одна суть: мужественная воля и влекущая сила женственности», как говорит сам Фет в своей философии «Фауста».⁷⁴

Всё здесь безбрежное
В явной поре.
Женственно-нежное
Ваносит горé.⁷⁵

Мы даже не задаемся целью описать всего Фета. Это значило бы — желать исчерпать неисчерпаемое. Только слабые отголоски гениальных вдохновений найдет читатель на этих страницах. Мы можем схватить одно излюбленное, давно грезящееся. К такому относится, среди другого, стихотворение «О, не зови», содержащее в себе несметные откровения. Здесь — явственно и несомненно созерцание двух бездн:

...с последним увлеченьем
Конец всему;
Но самый прах с любовью, с наслажденьем
Я обойму.

Здесь — провидение того, чему нет названья и нет меры. «Мысль изреченная есть ложь», «взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи...» — сказал бы Тютчев.⁷⁶ Фет не молчит — ибо не может молчать. Его ключи бьют поверх всего —

Из стужи мертвых грез
Проступают капли слез.⁷⁷

Эти слезы, которые застыли бы у другого поэта в пафосе, или в туманности, или испарились бы, обращаясь в ничто, — здесь так слышны и так вдохновенны, как на самом деле не могут быть. В этом вся тайна — поэт должен творить невозможное, — он нашел блаженства без меры и без названья, несмотря на то, что «рухнула с разбега колесница» ⁷⁸... Довольно одной «песни наудачу», ⁷⁹ — и в ответ прольются слезы всепознания.

Все торжество гения, невмещенное Тютчевым, вместил Фет, сам не зная, что будет петь, — но уже с песнью, зреющей на устах. ⁸⁰ Ему уже брезжат в голубой дали веселые лодки,

Свобода и море
Горят впереди... ⁸¹

Но в это море все-таки не удалось проникнуть ни ему, ни его великому духовному другу Соловьеву. Что связало их, что помешало им, — не мы узнаем. А может быть, они всё узнали, всё свершили и действительно замешались теперь в ту «мировую игру», которую «затеяли боги», ⁸² как некогда смертный Геракл был причислен к сонму бессмертных Олимпийцев. ⁸³ Ибо недаром же открывал Плотин пути к самопоглощению в Боге — пути философии, музыки и любви. Громадность философии Соловьева и Фета — вне сомнений — их музыку слушаем мы на земле; а любви их нет границ. Эта любовь так таинственна, что мы познаем ее лишь в личном творчестве, когда, в часы экстаза, начинают проходить перед нами дрожащие, непостижимые, странные призраки — «холодные струи нездешних тайн». ⁸⁴ И тогда, как старцы Фиванские, мудрые, но не знающие грядущего дня,

Мы содрогаемся. ⁸⁵

⟨22 марта⟩
Дневник

Завтра 23 марта будет спектакль учениц второго курса М. М. Читау. ⁸⁶

Возвратимся от Критского Зевса, Цицероновых танталливых, но уже замирающих возгласов, от мелких

греческих уособиц, которые уж совсем отошли в вечность,⁸⁷ — к чистому, юному, только еще расцветающему цветку настоящего — не того, о котором пишут (или запрещают писать) в газетах, а «настоящего» — лирико-философского настоящего.

Наступает весна, как и вечно, — с бодрящими струями в воздухе, с неизреченными вечерними зорями, с бесконечными воспоминаниями.

Все ли здесь воспоминания? Когда —

Предо мной любимые книги,
Мне поет любимый размер,⁸⁸

я стараюсь схватить и вспомнить все — и не одной памятью головной, а и сердцем и волей. И все чего-то не хватает. В этом-то, чего еще нет, — кажется, вся загадка — «ключ суровых тайн».⁸⁹ В самом деле — разве были бы так суровы некоторые обстоятельства — это вечное напряженное, до утомления физического — искание, вглядывание в даль, — если бы все отпиралось общим великим ключом. И это — нужно вспомнить, потому что не додумаешься простой логикой. И вот снова выступает на сцену мистика...

Снова и снова иду я с тоскою влюбленной
Жадно вливаться в твою бесконечность очами...⁹⁰

Хочется битвы — и после — смерти или великой тишины. Скоро ли начнется наша битва?

Завтра — спектакль. И — «фрак любви»⁹¹ пригодится, ибо — земля, земля... И я ужасно на земле — и хочу земной битвы, потому что знаю, что

Будет день иных сражений,
Иных торжеств и похорон.⁹²

Когда человек примется писать что бы то ни было — письмо или статью какого угодно содержания, — ему ничего не стоит впасть в догматизм. Догматизм есть принадлежность всех великих людей, но это другой догматизм — высший, а нам — меньшим следует от нашего догматизма избавиться. И вот что могу сказать по этому поводу:

Догматизм, как утверждение некоторых истин, всегда потребен в виде основания (ибо надо же исходить из какого-нибудь основания). Но не лучше ли «без догмата»⁹³ опираться на бездну — ответственность больше, зато — вернее. Представьте: есть двое молодых и влюбленных. Один думает так, другая — иначе, — и не только думает, а и чувствует — и делает. Но оба любят, — а можно ли, любя, стоять на своем, не верить в то, во что верит любимая или любимый? Тут-то представляется, по-видимому, два исхода: или «броситься в море любви»,⁹⁴ значит — поверить сердцем и исповедывать то же, что тот, кого любишь, — или — твердо стоять на своем и ждать, пока тот, кого любишь, «прозреет» и уверует сам в то, во что ты так твердо веришь. Тот и другой выход странен, сказал бы я (деликатно). Ибо, с одной стороны, нельзя всю жизнь быть в таком очумелом состоянии, чтобы не иметь ничего от себя, а все от другого; а с другой — нельзя «чертовски разумно» стоять на своем, стучать лбом в стену и ждать у моря погоды. Где же выход?

Выход — в бездне. (И все выходы в ней.) Не утверждай, не отрицай. Верь и не верь. Остальное — приложится тебе. А догматизм оставь, потому что ты — маленький человек — «инфузория», «догадавшаяся о беспредельности».⁹⁵

26 марта
Дневник

26 марта я познакомился с Мережковскими.⁹⁶ Зинаида Николаевна дала мне философию Бугаева.⁹⁷

2 апреля
Дневник

М-те Мережковская дала мне еще Бугаевские письма. Следует впоследствии обратить на них внимание больше — на громаду и хаос, юность и старость, свет и мрак их. А не будет ли знаменьем некоего «конца», если начну переписку с Бугаевым? Об этом очень нужно подумать.⁹⁸

А пока еще раз *ИЗУЧИТЬ* длинное письмо Бугаева о синтезе цветов, любви, рассудка, чувств. Он, испы-

тивная *высшие* напряжения (одни из высших), постигает, очевидно, многое, но так хаотично, ибо громадно. Сила его прозрений может разрешиться в некоторое величие успокоения «вблизи от милой стороны». ⁹⁹ «Колокола» же его уже теперь перезванивают «лиру» ¹⁰⁰ — знак ли это? — Сегодня я буду у Мережковских.

Да неужели же и я подхожу к отрицанию чистоты искусства, к неумолимому его переходу в религию. Эту склонность ощущал я (только не мог формулировать, а Бугаев, Д. Мережковский и З. Гиппиус вскрыли) давно (см. критика на декадентство ¹⁰¹). *Excelsior!* * (словцо Мережковского). Дай бог вместить все, ведь и Полонский, чистый «творец», говорил:

...как ни громко пой ты — лиру
Колокола перезвонят.

Прочсть Мережковского о Толстом и Достоевском. Очень мне бы важно. Что ж, расплывусь в Боге, разольюсь в мире и буду во всем тревожить Его сны. «Все познать и стать выше всего» (формула Михайла Крамера) ¹⁰² — великая надежда, «данная бедным в дар и слабым без труда». ¹⁰³

23 июля

Зап. книжка

Пели мужики.

Вот это я и описал в 1921 г. в «Ни снах, ни яви»: «С тех пор все прахом пошло». ** ¹⁰⁴

26 июля

Зап. книжка

Студент (фамилию забыл) помещался на Дмитрие Ивановиче. Мне это понятно. Может быть, я сделал

* Всё выше! (лат.) — Ред.

** Этот абзац был приписан в 1921 г. — Ред.

бы то же, если бы еще раньше не помешался на его дочери. Странная судьба. Кант до известной степени избегнул гонений — благодаря своей кабинетности. Менделеев их не избегнул *

28 июля

Дневник

Читаю талантливейшего господина Мережковско-го.¹⁰⁵ Вижу и понимаю, что надо поберечь свою плоть. Скоро она пригодится. «Отречение от крайностей мистицизма» (мое)¹⁰⁶ не столь просто. Это шаг не назад, а вперед — к «отрицанию». Здесь есть утверждение (сознательное) своего рода «неверия». Поберегусь.

29 августа

Дневник

(ЧЕРНОВИК НЕПОСЛАННОГО ПИСЬМА
К Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ)

Пишу Вам как человек, желавший что-то забыть, что-то бросить — и вдруг вспомнивший, во что это ему станет. Помните Вы-то эти дни — эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, боже мой, если Вы были! Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы.¹⁰⁷ Показывалась Ваша фигура — Ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бывала, должно быть, полумодная шубка с черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный, тяжелый золотой узел волос — ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной перчатке — шерстяной или лайковой. В другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь (от Марьи Михайловны).¹⁰⁸ (Мне все доро-

* Многоточие в рукописи. — Ред.

го.) Такая высокая, «статная», морозная. Изредка, в сильный мороз, волосы были спрятаны в белый шерстяной платок. Когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением в плечах и шее, смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрогивалась (и вообще-то Ваша рука всегда торопится вырваться). Когда я шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные глупости (может быть, пошлости), падал духом; вдруг душа заливалась какой-то душевной волной («В эти сны, наяву непробудные»¹⁰⁹). И вдруг, страшно редко — но ведь было же и это! — тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, может быть, мимолетная дрожь, — или все это было, лучше думать, одно воображение мое. После этого, опять еще глуше, еще неподвижнее.

Прощались Вы всегда очень холодно, как здоровались (за исключением 7 февраля). До глупости цитировались мной стихи. И первое Ваше слово — всегда легкое, капризное: «кто сказал?», «чьи?» Как будто в этом все дело! Вот что хотел я забыть; о чем хотел перестать думать! А теперь-то что? Прежнее, или еще хуже?

Р. С. Все, что здесь описано, было на самом деле. Больше это едва ли повторится. Прошу впоследствии иметь это в виду. Записал же, как столь важное, какое редко и было, даже, можно сказать, просто в моей жизни ничего такого и не бывало, — да и будет ли? Все вопросы, вопросы — озабоченные, полузлые... Когда же это кончится, господа?

Один только раз мы ходили очень долго. — Сначала пошли в Казанский собор (там бывали и еще), а потом — по Казанской и Новому переулку — в Исаакиевский. Ветер был сильный и холодный, морозило, было солнце яркое, холодное. Собор обошли вокруг, потом вошли во внутрь. Тихонько пошептались у дверей монашки (это всегда — они собирают в кружки) — и замерли. В соборе почти никого не было. Вас поразила высота, громада, торжество, сумрак. Голос понизили даже. Прошли глубже, встали у колонны, смотрели наверх, где были тонкие нитки лестничных перил. Лестница ведет в купол. Там кружилась, наверное, го-

лова.¹¹⁰ Вы стали говорить о самоубийстве, о том, как трудно решиться броситься оттуда вниз, что отравиться — легче: есть яд, быстро действующий. Потом ходили по диагонали. Солнце лучилось косо. Отчего Вам тогда хотелось сумрака, пугал Вас рассеянный свет из окон? Он портил собор, портил мысли, что же еще? — ...Потом мы сидели на дубовой скамье в противоположной от алтаря части, ближе к Почтамтской. А перед тем ходили *весь день*. Стало поздно, вышли, опять пошептались монашки. Пошли по Новому и Демидову переулкам, вышли на Сенную. Мне показалось ужасно близко. Вы показали трактир, где сидел Свидригайлов.¹¹¹ Вышли к Обуховскому мосту, дошли до самой Палаты.¹¹² Еще с моста смотрели закат, но Вам уже не хотелось остановиться. Это было *в последний раз*. Кто-то видел нас. Следующий раз был уже на Моховой, на углу Симеоновского переулка и набережной Фонтанки и на Невском около Глазунова,¹¹³ близь Казанского собора. Это уж лучше и не вспоминать и не напоминать. Это было 29 января,¹¹⁴ — а уж 7 февраля — полегче. Это было необыкновенно, кажется, очень важно, разумеется, для меня. Для Вас — мимолетность. Но чтобы я когда-нибудь забыл что-нибудь из этого (и Р. Келер^{*115} и т. д. — подробности Вам знакомые) — для этого нужно что-нибудь совсем необыкновенное, притом того же порядка.

16 сентября
Дневник

〈ЧЕРНОВИК НЕПОСЛАННОГО ПИСЬМА
К Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ〉

Прошу Вас прочесть это письмо до конца. Оно может быть интереснее, чем Вы думаете. Я, пишущий эти строки (он же — податель письма), не думаю говорить ничего обыкновенного. Потому не примите скандальную обстановку за простые уловки с моей стороны. Дело сложнее, чем кажется.

Приступлю прямо к делу. Четыре года тому назад я встретил Вас в той обстановке, которая обыкновенно заставляет влюбляться. Этот последний факт не замед-

* В Москве я видел его же. (Позднейшее примечание Блока. — Ред.)

лил произойти тогда же. Умолчу об этом времени, потому что оно слишком отдаленно. Сказать можно не мало, однако — не сто́ит. Теперь положение вещей изменилось настолько, что я принужден уже тревожить Вас этим документиком не из простой влюбленности, которую всегда можно скрывать, а из крайней необходимости. Дело в том, что я твердо уверен в существовании таинственной и малопостижимой связи между мной и Вами. Слишком долго и скучно было бы строить все перебранные уже мной гипотезы, тем более что все они, *как и должно быть*, бездоказательны. Поэтому я ограничиваюсь констатированием своего внутреннего убеждения, которое (продолжаю) приводит меня *пока* к решению, вероятно довольно туманному для Вас. Для некоторого пояснения предварительно замечу, что так называемая жизнь (среди людей) имеет для меня интерес только там, где она соприкасается с Вами (это, впрочем, чаще, чем Вы можете думать). Отсюда совершенно определенно вытекает то, что я стремлюсь давно уже как-нибудь приблизиться к Вам (быть хоть Вашим рабом, что ли — простите за тривиальности, которые не без намеренья испещряют это письмо). Разумеется, это и дерзко и, в сущности, даже недостижимо (об этом еще будет речь), однако меня оправдывает продолжительная и глубокая вера в Вас (как в земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, если Вам угодно знать). Другое оправдание (если нужно оправдываться) — все-таки хоть некоторая сдержанность (Вы, впрочем, знаете, что она иногда по мелочам нарушалась). Итак, веруя, я хочу сближений хоть на какой-нибудь почве. Однако, при ближайшем рассмотрении, сближение оказывается недостижимым прежде всего по той простой причине, что Вы слишком против него (я, конечно, не ропщу и не дерзну роптать), а далее — потому, что невозможно изобрести форму, подходящую под этот весьма, доложу Вам, сложный случай отношений. Я уже не говорю о трудностях, заключающихся во внешней жизненной обстановке, которые Вам хорошо известны. — Таким образом, все более теряя надежды, я и прихожу *пока* к решению.

..... *

* Строка точек в рукописи. — Ред.

6 сентября
Зап. книжка

Был в Сосновке, видел Политехникум.¹¹⁶ Идет достойно Менделеев к Витте. Громаден и красив. Дальше — поле и далеко на горизонтах — холмы деревни, церковь — синева.

★

Отсутствие *идеалов* у декадентов. «Удесятеренный» Кант (может быть — не постигнутый. Постижимый ли?). Добролюбов — глава лапососания.

Брюсов уже с плюсом. Дева Мария.¹¹⁷ «Но если, страстный...». ¹¹⁸ [Белинский о гении и таланте (в статье о Кольцове).] *¹¹⁹ Ореус? (ждем его собрания). Бальмонт?

Противоположное — Соловьевский лагерь.

* Квадратные скобки в рукописи. — *Ред.*

16 июля

Зап. книжка

Из семьи Блоков я выродился. Нежен. Романтик. Но такой же кривляка.

29 июля

Зап. книжка

[Увидел на странице древней книги свой портрет и загрустил.]

14 августа

Зап. книжка

Я не боюсь больше слов. Даже — «польза» не страшна! Помещательство: термин и понятие. Публика любит большие масштабы: Полонский уже *второстепенность*! Фет — о женщинах. Ореуса печатают «по-смертные». Ах, опять вы объяли — и я писывал. А ведь, если не умру, не напечатают!

15 августа

Зап. книжка

Думал, что есть романтизм, его нет.

Конец апреля
Зап. книжка

Живем гораздо скорее окружающих. Погружаемся раньше их в фиолетовый холод дня. *Чувствовать* Ее — лишь в ранней юности и перед смертью (Сережа — также у Вл. Соловьева). Теперь побольше ума. Отказаться от некоторого. Между тем — «пытался» * утратить кое-какие памяти, укрепиться, отрезветь, многое сопоставить — прочесть и передумать. *Примирение с позитивистами?* Всекие возможности.

★

Я слаб, бездарен, немошен. Это *все* ничего. *ОНА* может всегда появиться над зубчатой горой. Романтическое.

★

Учить стихи наизусть! Пушкина, Брюсова, Лермонтова, все, что хорошо.

1 мая
Зап. книжка

Опять беспокойство перед ночью. И часто. И будто все буду знать. Но спячка днем. Работать всячески. Написать стихи — пора! пора! Хочу. Люблю ее.

Хорошо! Если бы у меня не дрожало нечто малое в сердцевине, я бы мог вести толпу.

7 мая
ante noctem **
Зап. книжка

Господи! Без стихов давно! Чем это кончится? Как черно в душе. Как измученно!

* Слово прочитано предположительно. — Ред.

** Перед ночью (*лат.*). — Ред.

⟨20 (?) мая⟩

Зап. книжка

⟨ЧЕРНОВИК НЕОТПРАВЛЕННОГО ПИСЬМА.
К П. П. ПЕРЦОВУ⟩

Многоуважаемый Петр Петрович.

С большим удивлением я увидел, что мои рецензии на книги Бальмонта и Вяч. Иванова, с которыми Вы торопили меня и которые были посланы в набор, как Вы мне об этом писали, — не напечатаны в майской книжке «Нового пути». К чему же было так торопиться?

Если почему-либо для печатанья моих стихов встречаются препятствия, то я, не входя в таинственные для меня причины этого, прошу Вас, по примеру прошлой зимы, совсем не печатать их.

Вы и Зинаида Николаевна просили у меня стихов, я же не держусь особенно за печатанье их и не придаю первенствующего значения их распространению, искренно считая этот факт внешним.

Потому мне больно, что по поводу стихов возникают такие недоразумения постороннего и непонятного мне характера. Я считаю себя в полном праве оговорить это перед Вами, как редактором «Нового пути».

Готовый к услугам *Ал. Блок*.

Стало грустно, и не захотелось писать письма, совсем ничего не нужно, обид не бывает.

⟨Конец мая⟩

Зап. книжка

Брюсов скрывает свое знание о Ней. В этом именно он искренен до чрезвычайности. К тому же он *всех* обманывает, подтверждая, что «*Urbi et Orbi*»¹ — рассудочная.

18 января
Зап. книжка

РЕЛИГИЯ И МИСТИКА

Они не имеют общего между собой. Хотя — мистика *может стать одним из путей к религии*. Мистика — богема души, религия — стояние на страже.

Относительно «религиозного искусства»: его *нет* иначе, как только переходная форма. Истинное искусство в своих стремлениях не совпадает с религией. Оно — позитивно или мистично (то и другое — однородно). Искусство имеет свой устав, оно — монастырь исторического уклада, т. е. такой монастырь, который не дает места религии. — Религия есть то (о том), что будет, мистика — что было и есть.

Мистицизм в повседневности — тема прекрасная и богатая, *историко-литературная*, утонченная; она к нам пришла с Запада: это позитивизм. Между тем эту тему, столь сродную с душой «декадентства», склонны часто принимать за *религиозную*. Какая в этом неправда и какая богатая почва для обмеления! Ибо сильная душа пройдет насквозь и не обмелеет в ней, так как не убоится *здорового смысла*. А слабая душа, вечно противящаяся «здоровому смыслу» (во имя нездорового смысла), теряет и то, что имела. (Лучше ничего не иметь, чем иметь хлыстик вместо бича.)

Мистика проявляется наиболее (характеризуется) в экстазе (который определим как заключение союза с миром против людей). Религия чужда экстаза (мы должны спать и есть и читать и гулять религиозно), она есть союз с людьми против мира *КАК КОСНОСТИ* (?). NB: все, что в мире откроется как *НЕ КОСНОЕ* (может быть и *всё*), — сейчас же становится предметом религии. Просто и банально на примере: развратное отношение к женщине — косность (может быть, и мистика), чистое — религия.

Мистицизм повседневности обогащает ее. Это — что-то навязываемое творчески, требующее формули-

ровки, рассуждения. После того, как эти формулировки обмелеют (обнажатся, — ибо наступает и это), остается или уснуть (ждать терпеливо и долго возвращения старого), или разбить окно и, просунув голову, увидеть, что жизнь проста (радостна, трудна, сложна). Последнее (через нищету) — путь к религии.

Крайний вывод религии — полнота, мистики — косность и пустота. Из мистики вытекают истерия, разврат, эстетизм. *Но религия может освятить и мистика, например: красное вино с золотыми (зелеными) змейками освящено уже.* Краеугольный камень религии — Бог, мистики — тайна; крайний мистик может стать машиной тайновиденья (Verhaeren), крайний позитивист — машиной понятновиденья (профессор). Оба они — одинаковы (профессор Verhaeren).

Мистики любят вожжаться с «городами» и «деревнями»,¹ они любят скарб; они — переплетчики, библиотекари, книголюбы, антиквари. Мистика требует экстаза. Экстаз есть уединение. Экстаз не религиозен. Мистики любят быть поэтами, художниками. Религиозные люди *не* любят, они разделяют себя и свое ремесло (искусство).

Мистики очень требовательны. Религиозные люди — скромны.

Мистики — себялюбивы, религиозные люди — самолюбивы.

19 мая

Зап. книжка

МАЙСКИЕ ИДЕИ

О том, как животные — букашки, муравьи, насекомые становятся умелыми не меньше людей, — и как это страшно. Вглядись в траву.

О том, как у приезжающего в деревню из города мелькают печатные строчки и он бессмысленно смотрит на деревья и траву.

О том, как мы сажали розы, лилии, ирисы; делали дренажи, возили землю, стригли газон. Утомившись, ложились на спину в траву. Небо было глубоко синее, и вдруг вздувалось на нем белое облако. И я

сказал: что́ нам сажать розы на земле, не лучше ли на небе. Но было одно затруднение: земля низко, а небо — высоко. И пришлось учиться магии — небесное садоводство.

Зеленая скука. А город — серая скука.

В первом круге Дантова ада нет боли, а только *тоска*. И это считается «милостью неба». А мы ищем боли, чтобы избежать тоски. Да еще тоска у Данта светлая, «воздух тих и нем» — что ужаснее для нас?

〈Декабрь〉

Зап. книжка

Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдаленнее эти слова от текста. В самом темном стихотворении не блещут эти отдельные слова, оно питается не ими, а темной музыкой пропитано и пресыщено. Хорошо писать и звездные и беззвездные стихи, где только могут вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь.

21 декабря

Зап. книжка

Со мною бывает часто, все чаще физическое томление. Вероятно, то же у беременных женщин: проклятие за ношение плода; мне проклятие за перерождение. Нельзя даром призывать Диониса — в этом все призвание Вакха, по словам самого В. Иванова.² Если не преобращусь, умру так в томлении.〈...〉

Стихи Городецкого — вчера вечером он прислал мне «Ярь» с такими милыми словами на книге и в письме.³ Большая книга. Параллельно — читал кузминские «Крылья» — чудесные. Но Кузмин не выйдет из «страны». ⁴ Городецкий весь — полет. Из страны его уносит стихия, и только она, вынося из страны, обозначает «гениальность». Может быть, «Ярь» *первая книга* в этом году — открытие, книга открытий, возбуждающая ту злость и тревогу в публике, которую во мне ве-

ликое всегда возбуждает. Новое, молодое, стремящееся — а родные, знакомые и остальные им подобные мусорщики будут спорить, бурлить, брызгать слюнями, зевать и всячески так испражняться. Может быть, даже эта книга, несмотря на кабацкие рекламы Чуковского и знаменитость Городецкого, — проваливается в складах. А склад — в «Труде», — может быть — первая «нетрудная» книга, избавленная от той грязи и проклятия, которые всякий труд за собой несет. Вчера я страстно и тщетно убеждал в этом изнервленного доцента Веселовского и медвежатину Верховского. Они упирались.

Ремизов расцветает совсем. Большое готовится время. «Чертик» Ремизова великолепен, особенно если слушать его из его уст (даровитейший чтец). А на журри Курсинский прочел, как пономарь — и все-таки мы премировали.⁵

Моя вина перед Городецким — моя нерешительность, прежняя кислота, боязнь. Надо было быть размазней, как я был, чтобы так мало учуять этот «ветр с цветущих берегов».⁶

Стихами своими я недоволен с весны. Последнее было — *Незнакомка* и *Ночная фиалка*. Потом началась летняя тоска, потом действенный Петербург и две драмы,⁷ в которых я сказал, что было надо, а стихи уж писал так себе, полунужные. Растягивал. В рифмы бросался.⁸ Но, может быть, скоро придет этот новый свежий мой цикл. И Александр Блок — к Дионису.

29 декабря
Зап. книжка

Кончается год. «Литературно» утвердиться прочнее. <...> Может быть, год закончится катаньем с актрисами. Завтра идет «Балаганчик». Вчера была генеральная репетиция — хорошо.⁹

Большую статью о театре, все выдающиеся мнения последних лет, выводы, надежды. Сюда же попадет искусство и революция, что пора выяснить.¹⁰

Критика — ancilla.* Прежде всего — хорошо, или плохо. Потом критиковать, рассекать. Так, избави бог «сравнивать» «Ярь» Городецкого с «Крыльями» Кузмина.

Песни и стихи Кузмина, которые я недавно распевал на улице.

Мое бесплодие (ни стихов, ничего уже с полтора месяца) и моя усталость. Уезжать на праздниках в Финляндию, например.

29 декабря. Ночь

Зап. книжка

К «ДИОНИСУ ГИПЕРБОРЕЙСКОМУ»¹¹

Сонная мистерия. Дед, разбудив внуку — дитя своей мудрости, плод своей догорающей и древней жизни, разверзает (поднимает) перед нею стену своего поблекшего жилья и показывает дивное зрелище: под синим небом, где ходят и веселятся снежные весны, разбивая зеркала синих льдов, которые падают вниз с хрустальным звоном, — под синим небом и звездащимся снегом («Незнакомку» я себе напророчил) по крутому извилистому пути среди утесов поднимаются в дальние горы люди в поисках за Дионисом Гиперборейским. Очаг, у которого сидит Дед в кресле, кажущемся теперь скалою, бросает лиловатые отсветы на левые крутые склоны гор и утесов, и людям, идущим в путь, кажется, что мировой закат (NB: мировая ектения)¹² горит на горах, и огонь его гонит их все выше и выше. Усталые от долгого восхождения, они долго минуют утес деда и дитя его, устремляясь все выше

* Служанка (лат.). — Ред.

и выше, туда, где ледяная, безответная красота распустила<сь>, как снежный цветок, «не требуя награды»¹³ за свое великолепие. Ледяное безмолвие этой Мировой Красоты нарушается только изредка хрустальными звонами осыпающихся в долину сцены ледяных алмазов.

Люди говорят: вот мы достигли вершин красоты мировой. Куда же еще идти? — Люди ропщут на вождя своего, который сам опускается в (на) вышине, в глубокой усталости, на снежный утес.

Вождь. Отдохнем. Но снова и снова будем восходить. Какие у тебя прозрачные руки, сестра! (Какие у тебя восковые черты, брат!) А у тебя, брат, черты так тонки, будто вылеплены из воска.

Кто-то. Поднимаясь все выше, я видел вверху, над своей головой, ряды долин, где можно сесть и отдохнуть от пути. Но теперь уже напрасно искать этих долин. Над нами уже нет ни одной долины — та, где мы теперь отдыхаем, — это последняя. Те, что ушли от нас еще выше, обречены на скитание по крутизнам, по вершинам бесплодных скал, готовых рухнуть в самые глубокие пропасти. Они будут скитаться и умирать в этой вышине, если только у них не вырастут крылья. Тогда, быть может, они полетят еще выше, но мы уже ничего не услышим о них и не узнаем от них. Они будут чужды нам, как ангелы того бога, которого мы никогда не видали, но о котором столько говорят вон там, внизу, где темными пятнами лежат города и селения.

Вождь. Став на этот путь, я знал, что немногие останутся со мной. Я никого не могу принуждать следовать путями смелых туда, где в лучах заката поживает наш Бог. Смелые, идите за мною — выше, ибо среди этих камней я еще не вижу моего Бога. Слабые и усталые, отчаявшиеся в пути, оставайтесь здесь, в последней долине, обреченные на добровольную смерть и на скитания среди обнаженных скал.

Кто-то. Смотри, вожатый: это — последняя точка, с которой видна в тумане покинутая нами земля. Если ты пойдешь выше, (то) взор твой уже не различит ничего внизу, и ты забудешь о нашей общей родине. Здесь же, свешиваясь с утеса, я еще различаю чудовищное пятно родного города и мне кажется, что ко мне долетают смешанные городские звуки — фабричные гудки и грохот мостовых, и вопли пьяного веселья и голодного ужаса.

(Здесь, может быть, некоторые начинают тосковать о покинутой родине.)

Далее следует какое-то странное место, еще неразборчивое в моей душе: спорят с вождем о том, что плоть должна остаться. Он убеждает их, что плоть пребывает вовеки, на всякой вышине и во всяком забвении. Он — смельчак, ослепленный и сильный («ГЕРОЙ», — а эта пьеса — *крушение героя*). Очертя голову, он зовет всех еще выше. Ему ставят на вид эти опрозрачневшие руки и лица (рука — второе лицо). Он непреклонен. Ему говорят, что воск лиц — признак дряхлеющего стремления. Напрасно: он уходит и силою своей пустой воли уводит за собою всех по извилистому и бесконечному (без отдыха) отныне пути, — всех, кроме одного юноши, слабого, у которого в глазах есть еще что-то, кроме усталости. Этот юноша остается **ОДИН В ЛЕДЯНЫХ ГОРАХ** (его положение, может быть, — в монологе): его страшные соблазны: те, кого он считал лучшими, ушли выше его, и он не имел смелости следовать за ними: отныне они презрели его (его сомнения, не надо ли за ними?). Те простые люди, с которыми он отдыхал, остались глубоко внизу, в мутном пятне города, сквозящего пред его очами из провалов и ущелий. Нисхождение к ним было бы для него бесконечной тоской и проклятием. Он готов погибнуть. **НО ПОЕТ** в нем какая-то **МЕРА ПУТИ**, им пройденного (та мера, которою исполняется человек в присутствии божества). И, взбегая на утесы, он кличет громко и настойчиво. И вот на последний его угасающий крик **ОТВЕТСТВУЕТ** ему Ее низкий голос.

. *

Каков должен быть язык этой пьесы? Стихи или проза? Одностильность наблюдать! *Поконкретнее!* Покороче монологи, поярче!

Кто Она? Бог или демон? Завтра я присмотрюсь еще. *Спокойнее. Бестрезвойней.* Небезвкусно, не нарушить ничего. Дело идет о гораздо более важном.

Итак: следует сцена переклички двух голосов, еще не нашедших друг друга. Затем, *очевидно*, он замечает наконец Ее. Их разговор.

* Строка точек в рукописи. — Ред.

Кончается не тем ли, что передовые, спускаясь обратным путем, отчаявшись, с вождем во главе, снова попадают в долину сцены и насмеваются («Ого! Дева снежных гор! Подцепил!») над обретшим. Они *БЕЗ-МЕРНО* чем-то гордятся, хвастливы, стали розовыми и упитанными (снежный климат так повлиял), а он узнал *МЕРУ*, и потому плоть его в гармонии с духом познавшим, и движения его умеренны и так гибки! Как он любит свое тело! Как вольно ему дышать!

Дед (просытаясь). А я все еще не умер! Все еще не умер. Кто это пляшет передо мною? Какой юный! Дитя мое, с кем ты водишь хоровод?

Она. С избранником.

Дед. А кто на всех глазее поодаль?

Она. Сытые (сытенькие) и гордые искатели Диониса Гиперборейского.

Дед. Опускайтесь, стены.

(Стена опускается.)

Прежняя поблекшая комната. Перед дедом танцуют любезно молодой человек с его внучкою.

Дед. Ну, детки, пока я спал, вы, я вижу, сговорились. Теперь я могу умереть спокойно.

Умирает! Занавес.

Сегодня (29.XII) больше не буду этого развивать. Закончив (для себя неожиданно) юмористически, я несколько успокоился. Все это надо строго обдумать. А на ночь в постели опять уютно буду читать Андерсена. А завтра освищут ли «Балаганчик»? Чтобы это не было моим последним сегодня записанным словом, говорю: «Покойной ночи».

«Святой Георгий, убив дракона,
Взглянул печально вокруг себя».

(Бальмонт. «Злые чары»)

20 апреля

Вагон Николаевской железной дороги

Из Москвы

Зап. книжка

Реалисты исходят из думы, что мир огромен и что в нем цветет лицо человека — маленького и могучего (это то, как мы сейчас на вокзале потерялись с Натальей Николаевной). Они считаются с первой (наивной) реальностью, с психологией и т. д. Мистики и символисты не любят этого — они плюют на «проклятые вопросы» — к сожалению. Им нипочем, что столько нищих, что земля кругла. Они под крылышком собственного «я». У них свои цветники («Ор»¹). Они слишком культурны — потому размениваются на мелочи (индивидуализм), а реалисты — «варвары». Мысли знакомые. Да кто не знаком? Одна Наталья Николаевна Русская, со своей русской «случайностью», не знающая, откуда она, гордая, красивая и свободная. С мелкими рабскими привычками и огромной свободой. Чем больше нам с ней лет и дней (это у нас общее) — тем больше «примелькиваются» дни,² и целый месяц позади (например, тот, который мы не виделись) в лучшем случае запылел. Серебристые, бесконечные паутины и пыль в глазах. «Вечной сказки»³ декорация. Вечность. Как-то мы в августе встретимся. Устали мы, чудовищно устали.



Зайцев остается еще пока приготавливающим фон — матовые видения, а когда на солнце — так прозрачные. Если он действительно творец нового реализма, то пусть он разошьет по этому фону пестроту свою.⁴

9 июня

На Николаевской железной дороге

Зап. книжка

«Коробейники» поются с какой-то тайной грустью. Особенно — «Цены сам платил немалые, не торгуясь, не скупись...». Голос исходит слезами в дождливых далах. Всё в этом голосе: просторная Русь, и красная рябина, и цветной рукав девичий, и погубленная молодость.⁵ Осенний хмель. Дождь и будущее солнце. В этом будет тайна ее⁶ и моего пути. — *ТАК* писать пьесу — в этой осени.

9 июля

Поле за Петербургом

Зап. книжка

Закат в перьях — оранжевый. Огороды, огороды. Идет размашисто разносчик с корзиной на голове, за ним — быстро, грудью вперед — красивая девка. На огородах девушка с черным от загара лицом длинно поет:

Ни болела бы грудь,
Ни болела душа...

К ней приходит еще девка. Темнеет, ругаются, говорят циничное. Их торопит рабочий. Девки кричат: «...Проклянем тебе. В трех царквах за живово будем богу молитца». Из-за забора кричит женский голос: «Все девки на сеновале». Визжат, хохочут. Поезд проходит, телега катит. С дальних огородов сходятся парами бабы и рабочие. На оранжевом закате — стоги сена, телеграфные столбы, деревня, серые домики. Капуста, картофель, вдали леса — на сизой узкой полосе туч. Обедают — вдали восклицают мужичьи и девичьи голоса — одни строгие, другие — надрывные. За стеной серого сарая поднимается месяц — желто-оранжевый, как закат.

А вчера представилось (на паровой конке). Идет цыганка, звенит монистами, смугла и черна, в яркий солнечный день — пришла красавица ночь. И все встают перед нею, как перед красотой, и расступаются.

Идет сама воля и сама красота. Ты встань перед ней прямо и не садись, пока она не пройдет.

16 июля

Утром рано на железной дороге

Зап. книжка

Разговор генеральского денщика, бравого и веселого, и мешанки — нежной и русой (произносит, как В. В. Иванова). Между прочим, спрашивала с кокетством: «А шато икем знаете? Тоже очень хорошее вино, полтора рубля стоит». — Параллельная пара в пьесе⁷ — *мещане* — только *свободные*. «Беспристрастно люблю тебя, милый ты мой. Поглядела, спросила, говорит — жалованье хорошее, веселый такой. Как ушел, так об нем все думаю».

1 августа⁸

Зап. книжка

Не считая ни для себя, ни для кого — позором — учиться у Андрея Белого, я возражаю ему сейчас не по существу, а только на его способ критиковать, который погружает его самого, чисто внешним образом, в безвыходные противоречия.

Мистический анархизм! А есть еще — телячий восторг. Ничего не произошло — а теленок безумствует.

Мое несогласие с Вяч. Ивановым в терминологии и *нафосе* (особенно — последнее). Его термины меня могут оскорблять. *Миф, соборность, варзарство*. Почему не сказать проще? Ведь, по существу, в этом ничего нового нет.

Светлая всегда со мною. Она еще вернется ко мне. Уже не молод я, много «холодного белого дня»⁹ в душе. Но и прекрасный вечер близок.

Есть писатели с самым корявым мировоззрением, о которое можно зацепиться все-таки. Это значит, у них есть пафос. А за Чулкова, например, не зацепишься. У него, если пафос, так похож на чужой, а чаще — поддельный — напыщенная риторика.

В Батюшковском лесу
после дождя 1 августа

20 августа
Зап. книжка

«Весы» в настоящий момент — самый боевой журнал в России.¹⁰ Действительно, с мистическими анархизмами в литературу проникла какая-то негодная струя. Отношение к культуре не бережно. Мистический анархизм неуловим, как справедливо писал мне Бугаев.¹¹ Совершенно в стороне для меня в этом отношении стоит Вячеслав Иванов, который глубоко образован и писатель замечательный (статьи его в «Весах» и стихи). Он употребил много труда на то, чтобы теперь доказывать ненужность труда (устно, впрочем, но не в писаниях), — и это мне ни в каком случае нельзя забывать. Неприятен мне его душный эротизм и противноватая легкость. *Городецкий* совсем не установился, и Бугаев глубоко прав, указывая на его опасность — погибнуть от легкомыслия и беспочвенности. Статья Городецкого о Сологубе — ни к чему не нужна, глупа, безграмотна, некультурна.¹² Когда в статье «Три поэта» («Перевал», № 8/9) Городецкий говорит о «вчерашнем дне»,¹³ я боюсь, как и Бугаев, что за этим может последовать надругательство над Брюсовым, Бальмонтом и Вяч. Ивановым. — *Сюннерберг* просто умен и бездарен, *Мейер-Чулкова*¹⁴ необходимо поприудержать, он совсем некультурен. Возмутительно его притягивание меня к своей бездарности.

Напишу письмо в редакцию «Весов» по поводу идиотского сообщения «*Mercure de France*».¹⁵

НВ. Минский («Перевал», № 8/9) считает «мистический анархизм» эстетической теорией (!).¹⁶ Даже философы ничего не понимают.

1 сентября
Зап. книжка

НВ — для «Золотого руна»: ¹⁷ скоро пора бросить нудную современную литературу. Ведь все одно и то же — о Скитальце два раза не поговоришь. ¹⁸ Брошу, да и займусь «историко-литературной» статьей — о продолжателях славянофилов и западников теперь. Оно и полезней и интересней; да и «программно» (!). ¹⁹

НВ. 1 сентября. О том, как синтез превратился в хулиганство (например: *все* скверно — так давай же мистический анархизм). Недаром современным «лирикам» так близок Гераклит.

26 октября
Ресторан «Чванова»
Зап. книжка

У стойки — сидит. Сюртучишка. Платочек из кармана, короткие штаны — гордый вид, голову поднял, усы вверх. Бедняжка. Двойничок. А я — в великолепном воротнике. Ежиком острижен, а пьян как стелька, качается и гордо смотрит.

6 марта

Зап. книжка

Зачем ты так нагло смотришь женщинам в лицо? — Всегда смотрю. Женихом был — смотрел, был влюблен — смотрел. Ищу своего лица. Глаз и губ.

На полотне кинематографа тореадор дерется с соперником. Женский голос: «Мужчины всегда дерутся». ¹

Фаина — «В лесах» Печерского. Тоже — раскольница с демоническим. ²

Раз сорок Врубель рисовал голову Демона. В 5 часов утра бежал в мастерскую, как только открывались магазины, — бежал за шампанским. Дописывал уже на выставке. Раз пришли и увидели совсем гениальное лицо. Потом, говорят, он опять испортил его. Хотя бы — легенда. ³

17 марта

Зап. книжка

Переправляя статью о театре для завтрашней лекции, ⁴ увидел, что пишу втрое длинней, чем надо: жидко. Если соберусь выпускать книгу, ⁵ будет плодотворная работа сокращения: тут и вырабатывается стиль — не газетный и даже не журнальный, а — книжный: краткий, острый язык.

18 марта
Зап. книжка

Об элементах будущей драмы в современной драматургии (герой и т. д.). О том, что кинематограф *не* замечает. О слабых ростках и больших обещаниях. Кинематограф — забвение, искусство — напоминание.

24 марта
Зап. книжка

Мережковский — поганая лягушка — критик. Собака чужая совсем, а вдруг возьмет и облает: всегда досадно. И собаке-то ни к чему, черт ее знает. Плунуть хочется. Книжный критик.⁶

25 марта
Зап. книжка

По кадетской* ткани расшит богатый узор. А дернуть за концы — ткань расползется, и станет мерзко: жирные, перегнившие волокна.⁷

2 мая
Зап. книжка

1 мая читал я «Песню Судьбы» у себя.⁸ Замечания: на всех произвело впечатление. <...> — Я считаю, что здесь впервые «схожу с шаткой чисто-лирической почвы» (как сегодня написал об этом Л. Н. Андрееву⁹). И люблю теперь эту вещь более всех, написанных мной: она — значительнее всех.¹⁰

3 мая
Зап. книжка

Всего значительнее то, что *все* утверждают: 1) что стоило «огород городить», 2) что драма написана по-новому, но *нет пропасти*, она органически связана с преж-

* Слово «кадетской» прочитано предположительно. — Ред.

ним, со стихами и т. д. — и с прежними драмами моими.

26 июня

Зап. книжка

Хвала создателю! С лучшими друзьями и «покровителями» (А. Белый во главе) я внутренне разделался навек. Наконец-то! (разумею полупомешанных — А. Белый, и болтунов — Мережковские).

29 июня

Шахматово

Зап. книжка

Запомнить перечитыванье «Онегина». «Онегина» целиком следует выучить наизусть.

⟨Начало июля⟩

Зап. книжка

Можно издать свои «песни личные» и «песни объективные». То-то забавно делить — сам черт ногу сломит!

22 июля

Зап. книжка

Жалуются на то, что провинциальные читатели не знают имен. И слава богу! Имен слишком много. Ведь в «народном» театре не знают имен Островского и Мольера, — а волнуются. И маляру, который пел мои стихи, не было дела до меня. Автора «Коробейников» не знают, «Солнце всходит ⟨и заходит⟩» — мало.¹¹

19 августа

Зап. книжка

ВБ ⟨...⟩ Фельетон о Льве Толстом — к 28 августа (гений действует на современность самым присутствием,

независимо от своего сознания; это не страх, не стыд, но неизъяснимое) — в «Слово». ¹²

12 сентября

Зап. книжка

Мечты о журнале с традициями добролюбовского «Современника». Две интеллигенции. Дряньность «западнических» кампаний («Весы», мистический анархизм и т. п.). *Единственный манифест и строжайшая программа.* Чтоб не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской. Распроститься с «Весами». Бойкот новой западной литературы. Революционный завет — презрение.

Небесполезно «открыть» что-нибудь уже «открытое» (например, придумать хорошее драматическое положение, а потом узнать — вспомнить или прочесть, — что оно уже написано). Своего рода школа.

⟨...⟩ Искать людей. Написать доклад о единственном возможном преодолении одиночества — приобщение к народной душе и занятие общественной деятельностью. Только чувствуя себя гражданином, — и т. д. ¹³

⟨Около 17 сентября⟩

Зап. книжка

Приношу глубокоуважаемой Вере Федоровне пожелание мое еще долгие годы быть вдохновительницей юности на русской сцене. ¹⁴

⟨Сентябрь⟩

Зап. книжка

Вкусная интеллигентская жвачка — Щедрин, Белинский, Добролюбов, (Глеб Успенский?). Завещание уходящего столетия новому — «Воскресенье» Толстого (1899).

21 сентября
Шахматово
Зап. книжка

Въезд Лаврецкого в деревню свою.¹⁵ Добролюбов о народности.¹⁶ *Le vrai grand monde* * «Воскресения».¹⁷

25 сентября
Зап. книжка

Менделеев и Толстой. Острейшее сомнение (противоречие). Не могу принять: ни двух бездн, бога и дьявола, двух путей добра, — «две нити вместе свиты»¹⁸ (мистика, схоластика, диалектика, метафизика, богословие, филология), ни теории познания (Белый), ни иронии (интеллигентский мистический анархизм), ни «всех гаваней»¹⁹ (декадентство). Гениальничать же не собираюсь.

28 сентября
Зап. книжка

3 октября уезжаем из Шахматова. Сложнейшие думы. Менделеев, Толстой, Тургенев, Добролюбов, Венгеров, вампир граф Дракула.²⁰ Ключев. Маленькие современные писатели — Лазаревский, Куприн, Бунин, Кондурушкин.

Народное, письма Ключева, «Воскресенье», Добролюбов о народности в русской литературе.

Вячеслав Иванов в «Весах» (№ 8) — вот это истинный «тон», можно послушать.²¹

30 сентября, утром
З.п. книжка

Заметили ли вы, что в нашей быстрой разговорной речи *трудно* процитировать стихи? В тургеневские времена можно было еще процитировать, даже Михалевич («Дворянское гнездо») (??),²² а теперь стихи стали *от-*

* Настоящий большой свет (фр.). — Ред.

дельно от прозы; все от перемены ритма в жизни. (После чтения «Отцов и детей».)

⟨30 сентября⟩

Зап. книжка

«Вульгарность»: А. Белый (в том числе и это), Чулков, Арцыбашев = НЕ народное. Мужики никогда не вульгарны.

⟨1 октября⟩

Руново

Зап. книжка

Виденное: гумно с тощим овином. Маленький старик, рядом — болотце. Дождик. Сиверко. Вдруг осыпались золотые листья молодой липки на болоте у прясла под ветром, и захотелось плакать.²³

Когда выходишь на место срубленной рощи в сумерки (ранние, осенние), — дали стираются туманом и ночью. Там нищая, голая Россия.

Просторы, небо, тучи в день Покрова.

⟨26 октября?⟩

Зап. книжка

И вот поднимается тихий занавес наших сомнений, противоречий, падений и безумств: слышите ли вы задыхающийся гон тройки? Видите ли ее, ныряющую по сугробам мертвой и пустынной равнины? Это — Россия летит неведомо куда — в сине-голубую пропасть времен — на разубранной своей и разукрашенной тройке. Видите ли вы ее звездные очи — с мольбою, обращенною к нам: «Полюби меня, полюби красоту мою!» Но нас от нее отделяет эта бесконечная даль времен, эта синяя морозная мгла, эта снежная звездная сеть.

Кто же проберется навстречу летящей тройке тропами тайными и мудрыми, кротким словом остановит взмысленных коней, смелой рукою опрокинет демонского ямщика и ⟨...⟩^{★24}

* Фраза недописана в автографе. — Ред.

29 октября

Первое (десятое) религиозно-философское собрание

Зап. книжка

Я захотел вступить в Религиозно-философское общество с надеждой, что оно изменится в корне. Я знаю, что здесь соберутся цвет русской интеллигенции и цвет церкви, но и я интеллигент... У церкви спрашивать мне решительно нечего. Я чувствую кругом такую духоту, такой ужас во всем происходящем и такую невозможность узнать что-нибудь от интеллигенции, что мне необходимо иметь дело с новой аудиторией, вопрошать ее какими бы то ни было путями. Хотя бы прочтением доклада и выслушивания возражений свежих людей. Может быть, я глубоко ошибаюсь, и все окружающее, ежедневное говорит мне каждый день, что нечего ждать от интеллигенции (нечего говорить, что и от духовенства) не только мне, но и всем. Я вижу бо́льшую чем когда-нибудь отчужденность. Потому я забочусь вовсе не о самом себе — я-то, может быть, и спасусь как-нибудь, но мне нужно глубоко не то. Я хочу, чтобы зерно истины, которое я, как один из думающих, мучающихся и т. д. интеллигентов, несомненно ношу в себе, — возросло, попало на настоящую почву и принесло *плод* — пользу.

Я наблюдаю совершившийся факт. Интеллигенция (о церкви я опять-таки не говорю) перестала друг друга верить, перестала слушать друг друга, понимать друг друга, и нечего радоваться тому, что два-три человека, как В. В. Розанов и В. А. Тернавцев, интересуются друг другом и слушают друг друга. Их спор — замечательный спор, но его можно слушать только в более благополучное время. Теперь все слишком неблагоприятно.

Я допускаю мысленно, что все теперешние члены общества согласятся между собою, найдут общие точки. Что же, это и будет смертью и поруганием общества, потому что тогда оно окончательно уйдет от жизни, превратится в какой-то благодатный и, тем самым, позорный оазис. Все согласившиеся выйдут на улицу и увидят тот же страшный мрак, ту же грозовую тучу, которая идет на нас. Вот во мраке этой грозовой тучи мы и находимся.

Это должно принять во внимание. Нужно понять,

что все обстоит необыкновенно, страшно неблагоприятно. И если цвет русской интеллигенции ничего не может поделать с этим мраком и неблагоприятием, как этот цвет интеллигенции мог, положим, в 60-х годах, бороться с мраком, — то интеллигенции пора вопрошать новых людей. И главное, что я хотел сказать, — это то, что нам, интеллигентам, уже нужно торопиться, что, может быть, уже вопросов *теории* и быть не может, ибо сама практика насущна и страшна.²⁵

11 декабря

Зап. книжка

Прекрасна судьба «России и интеллигенции». Сегодняшнее письмо г-жи Кусковой; отзыв г-на Струве.²⁶ Мучительное желание наорать в Литературном обществе завтра: *есть литературное общество и нет литературы!* Бараны, ослы, скоты! Дело идет не «о почках или о тонкой кишке, а о жизни и смерти» («Смерть Ивана Ильича»).²⁷ Но — не надо: *терпение*. *Гневной зрелости* еще долго ждать. Пока злоба не созрела, она всегда готова превратиться в кликушескую истерику (А. Белый). А пока — «стать выше» этих кадетов, этой дряхлой и глубокоуважаемой сволочи. Быть художником. Занести всю эту суматоху сердца в новую свою драму.

Пусть даже *все* под разными предлогами отказываются пропечатывать мои идеи. Это — доказательство, что идеи — живые. Живое всегда враждебно умирающему.

21 декабря

Зап. книжка

Чуковский — его фельетон о хихиканьи («Речь» 20 декабря) и книжонка «От Чехова <до наших дней>». «Что хочет он на освященном месте»? Легкомысленное порхание, настоящее хамство. Привязывается к модным темам, сам ничего не понимая. Лезет своими одесскими глупыми лапами в нашу умную петербургскую боль. Ничто ему не дорого, он только криво констатирует. Всего лиричнее говорит о себе подобных

(О. Дымов). Так быстро кончаются *безграмотные* люди, хотя бы с талантом, хотя бы у них было что-то «свое». ²⁸

30 декабря

Ночью после моего «доклада» ²⁹

Зап. книжка

Отвратительно. Один. Струве с «мистическим изолатором» (религиозный индивидуализм). Впрочем, он и предсмертного антихриста Соловьева считает детским вздором. Принимаю упрек Чулкова в «анархическом мистицизме» — но сам-то он что? Раз не покался, — ничего не сказал, все даром, мимо. — Глупости и кощунственные смешки над итальянским землетрясением *Гордеевского*. Мережковский о колоколе моем и сравнительном спокойствии (бесстрастии) Вячеслава Иванова. Тошно.

31 декабря 1908 — 1 января 1909

Зап. книжка

Новый Год встретили вдвоем тихо, ясно и печально. За несколько часов — прекрасные и несчастные люди в пивной.

⟨25 января⟩

Зап. книжка

Как редко дается большая страсть. Но когда приходит она — ничего после нее не остается, кроме всеобщей песни. Ноги, руки и все члены ноют и поют хвалебную песню.

Когда страсти долго нет (месяцами), ее место заступает поганая похоть, тяжелая мысль; потом «тоска во всю ночь»¹ знаменует приближение. И совершенно неожиданно приходит ветер страсти. «Буря». Не остается ничего — весь страсть, и «она» — вся страсть. Еще реже — страсть освободительная, ликование тела. Есть страсть тоже буря, но в каком-то кольце тоски. Но есть страсть — освободительная буря, когда видишь весь мир с высокой горы. И мир тогда — мой. Радостно быть собственником в страсти — и невинно.

17 февраля

Зап. книжка

Во всех нас очень много *настоящего* и лишь *ОДНА* капля *будущего*. Даже в мировых произведениях наших: «Анна Каренина»; вся психологическая путаница относится к настоящему, — и отдельные эпизоды: Щербацкие и Вронские за границей (*сентиментальная* Варенька, наивный художник): отношения Кити к Марье Николаевне, весь Николай Левин (кроме *Смерти*).

«Анна Каренина» написана страшно неровно (видно, как ему надоело). Есть страницы и главы попросту бездарные.

〈Февраль〉

Зап. книжка

Современный момент нашей умственной и нравственной жизни характеризуется, на мой взгляд, крайностями во всех областях. Неладность (безумие тревоги или усталости). Полная потеря ритма.

Рядом с нами все время существует иная стихия — народная, о которой мы не знаем ничего — даже того, мертвая она, или живая, что нас дразнит и мучает в ней — живой ли ритм, или только предание о ритме.

Ритм (мировой оркестр), музыка дышит, где хочет: в страсти и в творчестве, в народном мятеже и в научном труде [, в революции].

Современный художник — искатель утраченного ритма (утраченной музыки) — тороплив и тревожен; он чувствует, что ему осталось немного времени, в течение которого он должен или найти нечто, или погибнуть.²

Современная жизнь есть кощунство перед искусством, современное искусство — кощунство перед жизнью.

Ночь 11—12 июня н. ст.〈29—30 мая〉

Marina di Pisa³

Зап. книжка

Проснувшись среди ночи под шум ветра и моря, под влиянием ожившей смерти Мити⁴ от Толстого,⁵ и какой-то давней вернувшейся тишины, я думаю о том, что вот уже три-четыре года я втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей совершенно чужих для меня, политиканства, хвастливости, торопливости, гешефтмахерства. Источник этого — русская революция, последствия могут быть и становятся уже ужасны. Вспоминаю часто разговор со мной г. Копельмана, который меня грызет.

Надо резко повернуть, пока еще не потерялось сознание, пока не совсем поздно. Средство — отказаться

от литературного заработка⁶ и найти другой. Надо же как-нибудь жить. А искусство — мое драгоценное, выколачиваемое из меня старательно моими мнимыми друзьями, — пусть оно остается искусством — <...>, без Чулкова, без модных барышень и альманашиков, без благотворительных лекций и вечеров, без актерства и актеров, без *ИСТЕРИЧЕСКОГО СМЕХА*. Италии обязан я, по крайней мере, тем, что разучился смеяться. Дай бог, чтобы это осталось. «Песня Судьбы» отравлена всем этим. Я хотел бы иметь своими учителями Мережковских, Валерия Брюсова, Вяч. Иванова, Станиславского. Хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть немного людей, работать и учиться.⁷ Неужели это невыполнимо? Только бы всякая политика осталась в стороне. Мне кажется, что только при этих условиях я могу опять что-нибудь создать. Прошу обо всем этом пока только самого себя. Как Люба могла бы мне в этом помочь.

ВВ. Почему это — усиленное тяготение к драме? Верно, примешивается постоянное соображение о том, что драма больше всего денег дает. А деньги, чтобы скучать и считать. — Без Бугаева и Соловьева⁸ обойтись можно. — Озлобление свое ослабить. — Значит, революция только отложила мою какую-то черновую работу (заработок) на четыре года. Теперь о нем подумать страшно, но надо же как-нибудь жить и отвести в ежедневности — угол для денег, а в душе — угол для загнанного искусства и *своей* работы. А вдруг — стерпится — слюбится? Надо только начать что-нибудь не слишком противное — не пойдет ли потом как по рельсам?⁹

Ночь с 14 <на> 15 июня <1–2 июня>

<Marina di Pisa>

Зап. книжка

Море шумит. По ночам просыпаюсь. Возвращается беспокойство: сначала — о том, что буду делать, как встречу с _____*, как пойдет зима, служить или нет (писать, по-видимому, надолго не надо, невозможно — ничего крупного). Потом — общая тревога, тоска, за ма-

* Так в рукописи. — Ред.

му, за все, что там, от чего за тридевять земель в этой чужой, чахлой Италии, и особенно — в безличной и тусклой Пизанской Марине. Волнение идет от «Войны и мира» (сейчас кончил II том), потом распространяется вширь и захватывает всю мою жизнь и жизнь близких и близкого мне. Днями изнервлен, устал, почти болен, зол. Все это может предвещать — или наступление новых бед, событий, потерь, унижений, или — проходящий кризис, начало чего-то нового опять (?), обновление жизни, возврат вдохновения.

25 июня <12 июня>, вечером

<Bad Nauheim>

Зап. книжка

Днем писал маме: о, если бы немцы взяли Россию,¹⁰ а теперь, под влиянием сна Пьера («Война и мир»), еще один исход. Все тот же — «народ» — «они» (во сне Пьера и наяву). Может быть, Россия и есть торжество «внутреннего человека», постоянный укор человеку «внешнему»¹¹.

26 <13 июня>

Зап. книжка

Сейчас имел мужество уйти, не дождавшись «Речи» в Кургаузе. Надо и пора совсем отучаться от газет. Ясно, что теперешние люди большей частью не имеют никаких воззрений, тем более — воззрений любопытных — на искусство, жизнь и религию и прочие предметы, которые меня волнуют. Газета же есть голос этих людей. Просто потому ее читать не следует. Развивается мнительность, мозг поддельно взвинчивается, кровь заражается. Писать же в газетах — самое последнее дело.

Работы, работы, работы! Заработка честного и нелитературного. Постараться отыскать <...> деньги.

29 июня (16 июня). Вечер.

Зап. книжка

Вагнер в Наугейме — нечто вполне невыразимое: напоминает — ἀνάμνησις.*

Музыка потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего. Ее нематерьяльные, бесконечно малые атомы — суть *вертящиеся* вокруг центра точки. Оттого каждый оркестровый момент есть изображение системы звездных систем — во всем ее мгновенном многообразии и течении. «Настоящего» в музыке нет, она всего яснее доказывает, что настоящее *вообще* есть только условный термин для определения границы (несуществующей, фиктивной) между прошедшим и будущим. Музыкальный атом есть самый совершенный — и единственный реально существующий, ибо — творческий.

Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира — *мысль* (текучая) мира («Сон — мечта, в мечте — мысли, мысли рождаются из знания»¹²). Слушать музыку можно только закрыв глаза и лицо (превратившись в ухо и нос), т. е. устроив ночное безмолвие и мрак — условия «предмирные». В эти условия ночного небытия начинает втекать и принимать свои формы — становиться космосом — дотоле бесформенный и небывший хаос.

Поэзия исчерпаема (хотя еще долго способна развиваться, не сделано и сотой доли), так как ее атомы несовершенны — менее подвижны. Дойдя до предела своего, поэзия, вероятно, утонет в музыке.

Музыка — предшествует всему, что обуславливает. Чем более совершенствуется мой аппарат, тем более я разборчив — и в конце концов должен *оглохнуть* *вовсе* ко всему, что не сопровождается музыкой (такова *современная* жизнь, политика и тому подобное).

2 июля (19 июня)

Köln

Зап. книжка

Менее прозрачен и прохладен, чем вообще немецкие города. В других — как бы вечное утро. Здесь — пода-

* Воспоминание (греч.). — Ред.

влияют собор и вокзал. Есть точка зрения, с которой они — одно: чудовища, дива мира. Мост через Рейн, верхняя железная дорога. Особенно — вечером — на бледном закате или под месяцем в перистых тучках. Перед собором вертится ослепительный электрический полумесяц — реклама. Рейн. Сегодня вечером — уезжаем в Петербург.*

2 июля

Тараканово¹³

Зап. книжка

Западу обязан я тем, что во мне шевельнулся дух пытливости и дух скромности. Оба боюсь я утратить опять. А без них невозможна работа, т. е. жизнь. Без них все случайно, подвержено случайностям.

Наш сад пострадал от ветра еще мало, — здесь сломало и вырвало с корнем несколько старых берез парка.

Бес смеха, отступи от меня и от моей мысли. Я хочу гнать и других бесов.

8 июля, перед ночью, во флигеле

Зап. книжка

Русская революция кончилась. Дотла сгорели все головы, или чаши людских сердец расплескались, и вино растворилось опять во всей природе и опять будет мучить людей, проливших его, неисповедимым. Вся природа опять заколдовалась, немедленно после того, как расколдовались люди. Тоскует Душа Мира, опять, опять. Из-за еловых крестов смотрят страшные лики — на свинце ползущих туч. Всё те же лики — с еще новыми: лики обиженных, казненных, обездоленных, лики великих любовниц — Галлы, Изотты — и других моих.¹⁴ Свинцовые тучи ползут, ветер резкий. Мужики по-прежнему кланяются, девки боятся барыни, Петербург покорно пожирается холерой, дворник целует руку, — а Душа Мира мстит нам за всех за них. «Возврат».〈...〉

Возвращается все, все. И, конечно, — первое — тьма. Сегодняшний день весь (и вчерашний) — с короткими

дождями, растрепанными белыми гигантами в синеве, с беспорядком в листьях, со свинцом, наползающим к вечеру на кресты елей — музыкален в высшей степени.

Будет еще много. Но Ты — вернись, вернись, вернись — в конце назначенных нам испытаний. Мы будем Тебе молиться среди положенного нам будущего страха и страсти. Опять я буду ждать — всегда раб Твой, изменивший Тебе, но опять, опять — возвращающийся.

Оставь мне острое воспоминание, как сейчас. Острую тревогу мою не усыпляй. Мучений моих не прерывай. Дай мне увидеть зарю Твою. Возвратись.

15 июля

Зап. книжка

Я (мы) не с теми, кто за старую Россию (Союз русского народа, сюда и Розанов!), не с теми, кто за европеизм (социалисты, к.-д., Венгеров например), но — за *новую Россию*, какую-то, или — за «никакую». Или ее не будет, или она пойдет совершенно другим путем, чем Европа, — *культуры* же нам не дожидаться. Это и *есть ОПЯТЬ* — песня о «новом гражданине» (какого пророчили и пророчат — например *Достоевский*, но пророчат не на деле, а только в *песне*).

10 августа

Зап. книжка

Революция у нас провела резкую черту между прошедшей общностью труда и кой-каких интересов и настоящей разобщенностью их.

В частности — мы, писатели, отделены и хотим быть отделены от «общества» непроходимой чертой. Литература наша есть *наука*, недоступная неспециалистам. Есть литераторы, популяризаторы и проч. (Боборыкин, Потапенко, наполовину Л. Андреев), и есть *писатели* (Вал. Брюсов, А. Белый). Часть держится еще традиций прошлого (отчасти — Мережковский), но это — сидение между двумя стульями, которое должно рано или поздно кончиться.

Если хотите «почитать новенького», — возьмите то, чего мы не называем уже русской литературой.

Если хотите *учиться*, — идите к нам, мы кой-кого из вас, пожалуй, примем в ученики, при условии скромности и послушания.

⟨Первая половина августа⟩

Зап. книжка

Культуру нужно любить так, чтобы ее гибель не была страшна¹⁵ (т. е. она в числе всего достойного любви). Мировоззрение запуганного веком, да уж что поделаешь.

⟨26 августа (?)⟩

Зап. книжка

Не могу писать. Может быть, не нужно. С прежним «романтизмом» (недоговариваньем и т. д.) борется что-то, пробиться не может, а только ставит палки в колеса.¹⁶

⟨5 сентября (?)⟩

Зап. книжка

Форма искусства есть образующий дух, творческий порядок. Содержание — мир: явления душевные и телесные. (Бесформенного искусства нет, «бессодержательное» — вследствие отсутствия в нем мира душевного и телесного — возможно.) Сколько бы Толстой и Достоевский ни громоздили хаоса на хаос — великий хаос я *предпочитаю* в природе. *Хорошим художником* я признаю лишь того, кто из данного хаоса (а не *в* нем и не *на* нем) (данное: психология — бесконечна, душа — безумна, воздух — черный) творит космос.

А. Иванов («Стереоскоп»), Брюсов — проза. От Пушкина.¹⁷

22 — 23 сентября

Зап. книжка

Ночь. Ночное чувство непоправимости всего подползает и днем. Все отвернутся и плюнут, — и пусть — у меня была молодость. Смерти я боюсь и жизни боюсь, милее всего прошедшее, святое место души — Люба. Она помогает — не знаю чем, может быть, тем, что отняла? — Э, да бог с ними, с записями и реэстрами тоски жизни.

30 ноября — 1 декабря¹⁸

Зап. книжка

Ничего не хочу — ничего не надо. Длинный коридор вагона — в конце его горит свеча. К утру она догорит и душа засуетится. А теперь — я только не могу заснуть, так же как в своей постели в Петербурге.

Передо мной — холодный мрак могилы,
Перед тобой — объятия любви.¹⁹

Отец лежит в Долине роз²⁰ и тяжело бредит, трудно дышит. А я — в длинном и жарком коридоре вагона, и искры освещают снег. Старик в подштанниках меня не тревожит — я один. Ничего не надо. Все, что я мог, у убогой жизни взял, взять больше у неба — не хватило сил. Заброшен я на Варшавскую дорогу так же, как в Петербург. Только ее²¹ со мной нет — чтобы по-детски скучать, качать головкой, спать, шалить, смеяться.

У «Гнедича» все идет как по маслу — творчества нет, он сам о нем не помышляет и нас не заставляет. У Ремизова только и дума, что о цельном творчестве, постоянное спотыкание, один рассказ от злости и бессилия сотворить цельное — прямо переходит в белиберду. Все — неравномерно, отрывисто, беспокоино, — хотя гораздо уже плавнее, чем в прежних книгах. Да еще бы, откуда этой плавности взяться? Ее и у Достоевского не было. Ремизов — не Толстой, чтобы, сидя в деревне, спокойно и важно нарисовать блистательные, вальжные главы, за главами — части, и таких частей — во-

семь (!). И всё — цельно. Но Ремизов зато и не Гнедич. Простой, удивительно простой ключ ко всему «творчеству» фотографа Гнедича — весь ключ в том, что творчества вовсе нет, оно устранено. Откуда почерпнул г. Гнедич такое спокойствие душевное, такую «эпичность» — остается неизвестным. Ясно — не у Гомера. Не у героя ли своего — чиновника особых поручений «Выдыбаева»? Как бы то ни было — Ремизов и Гнедич — небо и земля, антиподы, обоим друг на друга, вероятно, без смеху взглянуть невозможно. Один — писатель, в «муче творчества», ищущий... Другой — литератор, без творчества, чиновник особых поручений при литературе.²²

18 февраля

Зап. книжка

Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей, Люба создала всю ту невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть. Люба выталкивает от себя и от меня всех лучших людей, в том числе — мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же таким дурным человеком, как ее отец, мать и братья. Хуже, чем дурным человеком, — страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как весь ее поповский род.¹ Люба на земле — страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но — 1898—1902 <годы> сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее.

21 марта

Зап. книжка

Еду в Озерки (поезд из Петербурга * 8. 35). «Что-то будет?» Мне кажется, что я давно не пил, и чувствую себя молодым. Еще поборемся. Так резко впечатлительна жизнь, так много планов и дум. Заря весенняя погасла. Что будет? Вагон качает.

11—12 мая, утром рано, в 4 часа

Зап. книжка

Есть у нас арендатор — мелкий мошенник. Жена у него Ольга и четверо детей — Тимоша, Вася, Ваня и Маня. Он испортил и недодал сбрую, не сдал овса, продал корову и лошадь, не вывез дров, наворовал по мелочам.

* Здесь и в некоторых других случаях слово «Петербург» в рукописи обозначено сокращенно: «СПб». — Ред.

Сегодня утром встал я из теплой постели в 4-м часу утра посмотреть комету.² Было серое утро, туман клубился, потом пошли бурые пятна по тучам и встало солнце.

Кометы я не увидал, но увидал, как Егор, вставший со своей беременной женой, торопливо и воровато навивает воз соломы и увозит ее на свой хутор; как вышли овцы — и бросились без призору на наш клевер, выползли неокормленные куры и побежали на только что посеянный овес, вышли три несчастных теленка, заковыляла с ведром беременная Ольга.

Надо сказать, что Егорка давно уже обещал съехать до срока и дать мне вексель на 60 р. и расписку на овес. Накрал он много больше того. Вечером возвращается он в сумерки усталый со своего хутора, куда старается стащить все, что может, и начинает объясняться, если натолкнется на меня, сбивчиво, заикаясь и нагло улыбаясь вместе. Сегодня вот он должен доставать оброт для пахоты — единственный порядочный он стащил в Тараканово.

Пожимаясь от утреннего холода, злюсь я на Егорку, чувствую, что он топчет *мой собственный* клевер своими овцами, и т. д. Я вот случайно встал — праздно взглянуть на небесную звезду, — а плотники, каменщики, печник, денщик, работник — все, кого мы нагнали строить нашу больную жизнь, — они спят еще, только Егорка трудится ранним утром — сколачивает свой убогий хутор, свивает детям исподтишка гнездо из соломы, которую должен был зимой положить в наш навоз.

Мы — люди денежные и бездетные. А вороватый Егорка снимает шерсть с овец на детей, соломой греет детей, яйца от неокормленных кур дает детям.

5 декабря

Зап. книжка

Все растущее искушение — не быть *один*. — Что делать и как жить дальше? Все еще не знаю. Еще никогда не переживал такого унижения ужасным, непоправимым и жалким.

⟨26 марта⟩

На докладе Недоброво¹

Зап. книжка

У поэтов русских очень часто встречается в произношении *цыганское кокетство*. Потому мы всегда можем ошибиться в произношении, например: с глазами *темно-голубыми*, с *темно-кудрявой* головой (Баратынский).² Обо многие такие совершенно нешкольные, но первоклассные подробности разбиваются наши научные предположения.

5 мая

Общество ревнителей художественного слова

Зап. книжка

Бальмонт и вслед за ним многие современники *вульгаризировали* аллитерацию.

Уютное гробокопательство Верховского (о Дельвиге).³

6 мая

Зап. книжка

Сейчас, проводив маму в Шахматово, я дочитал издание Победоносцева, данное Ангелиной, — «История детской души» — сентиментальная английская повесть, нежно ласкающая душу, — уютно-пошлая.

Я *слаб*, чтобы вывести Ангелину из мрака, ее окружающего. Надо, чтобы нашелся сейчас хоть один человек в мире, который *честно и религиозно* верит в будущее человечества — без консерватизма, без слезливости, без кровопийства. Есть ли он в мире?

7 мая

Зап. книжка

ДОЛГОТА ПРОКЛЯТИЯ

«История детской души». Повесть *не для детей*.

Перевод Е. А. Издание К. П. Победоносцева, четвертое.

Москва. Синодальная типография. 1902

Перевод рассказа Марии Корелли. Предисловие автора: «Книга эта надписывается тем самоименным прогрессистам, кои и учением своим и примером содействуют бесчестному делу воспитания детей без веры и кои, распространяя заимствованную из французского безбожия идею — устранять из детской души, в начальных школах и всех прочих местах обучения, познание бога и любовь к богу, единые истинные основы доброй жизни, оказываются виновными в страшном преступлении, хуже убийства (декабрь 1897)».

Краткое содержание: жестокий лорд прогоняет от своего сына верующего гувернера и нанимает знаменитого профессора с сухой душой, знающего только науку. Мальчика, способного от природы, заставляют зубрить, не выходя из дому. Он случайно знакомится с девочкой — дочерью пономаря — и слышит от нее о боге.

Недостойная супруга лорда не в силах выносить домашнего гнета и бежит с любовником. Мальчик нежно привязан к матери (камень в огород Ибсена — стр. 167⁴).

Мальчик не может вынести побега матери. Доктор запрещает ему занятия и отправляет его с профессором на лоно природы. Начинается «просветление» в душе профессора.

Возвратясь домой, мальчик узнает о смерти дочери пономаря. Это — последний удар. Он вешается. Профессор уверовал в бога, и только лорд остается непреклонным атеистом. Мальчика хоронят рядом с Дженни (ангелы, малиновка и прочая бутафория).

Ангелина, моя сестра, называет эту книгу *хорошей*.

Мальчик описан действительно очень трогательно, как униженный и оскорбленный. Какова же мораль? Цель автора (*а скорее редактора*): прикрывшись образом чистого ребенка, бросить камень в возможно большее количество ценностей: 1) в науку; 2) в свободолоубие, которое отождествляется с Ибсеном. Невинная Мария Корелли едва ли предполагала, с каким поисти-

не дьявольским искусством можно воспользоваться ее невинным «пастическим» лепетом (не без «милого» английского ханжества), пустив из древней Англии (имеющей право позволить себе роскошь уютных сантиментов) в молодую Россию, где все вверх дном и где низы общества, люди подлого звания (вроде гувернанток и классных дам без роду и племени) будут два десятка лет пережевывать лэдину стряпню и ее именем подавлять великие духовные, умственные и, наконец, политические движения, без которых страна задохнулась бы.

— Следует помнить, что тысячи (ибо имя Марьи Тимофеевны Блок — легион) еще помнят Победоносцева, что в дни, когда всякий министр будет либеральничать, открыто осуждая режим Александра III, еще *очень жив* в самом обществе (в тусклой тысячной массе, на фоне которой действуем *мы*) дух старого дьявола.

Надо ли спасать Ангелину или нет? И кто ее спасет? Или, может быть, лучше прожить ей свой век, *ничего* не услышав ни о боге, ни о мире, ни о любви, ни о свободе?

Скоро после этого пришла Ангелина с матерью — такая нежная, чуткая, нервная и верующая, что — нельзя ее оставлять так.

4 июня

Зап. книжка

Письмо Бори — с подтверждением прежнего (желание Мусagetских дел).⁵

Альманах «Мусagета»⁶ — *никуда не нужная* книга. «Стихи в большом количестве — вещь невыносимая», — очень справедливо. Надоели все стихи — и свои. Пришла еще корректура «Ночных часов». Скорее отделаться, закончить и издание «собрания» — и не писать больше лирических стишков до старости.



Зап. книжка

Заканчивая этой третьей книгой мое «собрание стихотворений», я хочу объяснить в самых общих чертах,

почему и в каком смысле я объединяю все три книги под именем «трилогии».

Испытывая свои художнические способности на других литературных формах, я еще не настолько отошел от своих лирических стихов, чтобы забыть их, но, однако, настолько, что получил возможность и, как мне кажется, право отнести к ним с большей объективностью.⁷

3 июля, утром

⟨Петербург⟩

Зап. книжка

Вчера в сумерках ночи под дождем на Приморском вокзале цыганка дала мне поцеловать свои длинные пальцы, покрытые кольцами.⁸ Страшный мир. Но быть с тобой странно и сладко.

6 сентября

Антверпен

Зап. книжка

То, что было для сердца «светлой болью», стало превращаться и давно превратилось уже — в «ночную мечту». Это значит — сердце испортилось, юность прошла.

17 октября

Дневник

Писать дневник, или по крайней мере делать от времени до времени заметки о самом существенном, надо всем нам. Весьма вероятно, что наше время — великое и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки.

Я начинаю эту запись, стесняясь от своего суконого языка перед самим собою, усталый от нескольких дней (или недель), проведенных в большом напряжении и восторге, но отдохнувший от тяжелого и ненужного последних лет.

Мне скоро 31 год. Я много пережил лично и был участником нескольких, быстро сменивших друг друга, эпох русской жизни. Многое никуда не вписано, и много драгоценного безвозвратно потеряно.

В начале сентября мы воротились: Люба — из Парижа, я — оттуда же, проехав Бельгию и Голландию и поживя в Берлине. <...>

Как из итальянской поездки (1909) вынесено искусство, так из этой — о жизни — тягостное, пестрое, много несвязного. <...>

Клюев — большое событие в моей осенней жизни.⁹ <...> его «благословение», рассказы о том, что меня поют в Олонецкой губернии, и как (понимаю я) из «Нечаянной Радости» те, благословляющие меня, сами не принимают ничего полусказанного, ничего грешного. <...>

Литераторы: Аничков опротивел, прости меня господи. Завален делом,* ничего не понимает, высокомерные в тысячный раз анекдоты о Брандесе, «свои лошади», хочется породниться с бомондом, супруга школит, он загребает тысячи, смесь гусарского корнета с Максимом Ковалевским (!).

Вячеслав Иванов.** Если хочешь сохранить его, — окончательно подальше от него. <...> Внутри воеет Гёте, «классицизм» (будь, будь спокойнее). Язвит, колет, шипит, бьет хвостом, заигрывает — большое, но меньше, чем должно (могло бы) быть. <...>

Происходит окончательное разложение литературной среды в Петербурге. Уже смердит.

Будущее покажет, что о ком еще записать.

Стадия поэмы (семидесятые годы, о двух полюсах в искусстве, семейное, Чацкий, Демон).¹⁰

Надо, побеждая восторги (частые) и усталость (редкую — я здоров), писать задумчиво. Это написать (что я задумал) — надо. «Помогай бог». Но — minimum литературных дружб: там отравишься и заболеешь. <...>

Петербург — самый страшный, зовущий и молодящий кровь — из европейских городов.

* Редакция русских классиков, Французский институт в Петербурге, Психо-неврологический, (университет).

** В первом заседании Религиозно-философского общества будет говорить речь о национализме. (NB — «Мережковский», П. С. Соловьева, А. Столыпин, Меньшиков, Розанов — много бы написал, да мерзко, дрянь, забудется).

19 октября
Дневник

Злиться я не имею права, потому что слышал кое-что от Ключева, потому что обеспечен деньгами и могу не льстить и потому, что сам несколько не лучше тех, о ком пишу.

И однако, читая чиновную и антикрамольную книгу Татищева об Александре II, смотря на погоду из окна, вспоминая «аполлоновские» впечатления¹¹ (суббота) и вчерашнюю маршировку лицеистов в Петропавловский собор — все это вместе, — думаю:

Кроме «бюрократии», «как таковой», есть «бюрократия общественная». Вот, например, — вчерашнее открытие «Французского института»: ¹² присутствуют Аничков, Иван-Странник, Философов, Милюков, М. Ковалевский, Кассо. Телеграмма Коковцова. Все — одна бурда. М. Ковалевский, катающийся по кабакам с дядюшкой моим, директором Горного департамента. ¹³ Евг. Аничков, «представитель от искусства», никогда не воспринявший ни одного художественного образа, слабый, пьяный, гусар по природе, наштигованный озлобленной, стареющей и больной Анной Митрофановной, она же — Иван-Странник. Философов, которого тошнит от презрения: он открывает институт, он сочувствует ученику гимназии, застрелившемуся от несправедливости учителя, он ходит по деревне в гетрах и с Пулькой на аркане, он делает выговоры Волконскому, который по крайней мере хоть что-нибудь любит искренно. Милюков, который только что лез вперед со свечкой на панихиде по Столыпину (в день открытия Думы). Кому и чему здесь верить? Разве «прекрасному французскому языку» Кассо? Все — круговая порука, одна путаница, в которой сам черт ногу сломит.〈...〉

На островах — сумерки, розовый дым облаков, слякоть, и в глине зеленые листья смешались с глиной. Ветер оmyвает щеки.

20 октября
Дневник

Читать надо не слишком много и, главное, творчески. Когда дело идет о «чтении для работы» (т. е. попадает много добросовестного и бездарного), то надо

напрягать силы, чтобы вырвать у беззубого автора членораздельное слово, которое найдется у *всякого*, от избытка ли его куриных чувств или от того, что сам материал его говорит за себя. Ко всякому автору надо относиться внимательно, — и тогда можно выудить жемчужину из моря его слов (даже написанных на «междудедамовском» языке, или на языке Овсянковых-Куликовских — последнее горше, хуже). Недостаток же современной талантливости, как много раз говорилось, *короткость*, отсутствие *longue haleine* * (говорил... Маковский); полусознал, полупочувствовал, пробарабанил — и с плеч долой. При этом надо читать «для работы» с мыслью и планом, ранее готовыми, и все время проверять себя — не рушатся ли планы под тяжестью накапливаемых фактов и обобщений. Если нет, — хвала им, и пусть воплощаются и принимают каменные формы.

Перед вечером пришел Пяст. <...> Потом мы втроем (с Любой) пошли к Городецким. <...>

Безалаберный и милый вечер. Кузьмины-Караваевы, Елизавета Юрьевна читает свои стихи и танцует. Толстые — Софья Исааковна похудела и хорошо подурнела, стала спокойнее, в лице хорошая человеческая острота. Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно, как кто кого побил в Париже. <...>

Молодежь. Анна Ахматова. Разговор с Н. С. Гумилевым и его хорошие стихи о том, как сердце стало китайской куклой.¹⁴ <...> Было весело и просто. С молодыми добреешь.

23 октября

Дневник

Все эти вечера читаю «Александра I» (Мережковского). Писатель, который никого никогда не любил по-человечески, — а волнует. Брезгливый, рассудочный, недобрый, подозрительный даже к историческим лицам, сам себя повторяет, а тревожит. Скучает безумно, так же, как его Александр I в кабинете, — а

* Долгого дыхания (фр.). — Ред.

красота местами неслыханная. Вкус утончился до последней степени: то позволяет себе явную безвкусицу, дурную аллегорию, то выбирает до беспощадности, оставляя себе на любование от женщины — вздох, от декабриста — эполет, от Александра — ямочку на подбородке, — и довольно. Много сырого матерьялу, местами не отличается от статей и фельетонов.

25 октября

Дневник

Ночью в окна и на мокрые крыши светила луна — холодная и ветряная. <...> Все одно — холодная луна и Александр I: все это так, так — до возвращения 80-го и 905-го года. Медленно идет жизнь.

<...> Ужасна полная луна — под ней мир становится голым, уродливым трупом.

29 октября

Дневник

Сегодня газеты полны волнения. *Рост китайской революции* — там приходит конец не только манчжурской династии, но и абсолютизму («Два изречения сбылись — пролог разыгран, и драма царская растет» — «Макбет»).

Коковцов мягко стелет — его объяснения о Финляндии (необходимость воплотить столыпинский законопроект об увеличении денежной военной повинности в Финляндии, заменяющей «еще опасную пока для России» натуральную).

Чуковский вопит о «народе и интеллигенции». ¹⁵ В Москве Матисс, «сопровожаемый символистами», самодовольно и развязно одобряет русскую иконопись, — «французик из Бордо». ¹⁶

30 октября

Дневник

Пишу Боре и думаю: мы ругали «психологию» оттого, что переживали «бесхарактерную» эпоху,

как сказал вчера в Академии Вяч. Иванов. Эпоха прошла, и, следовательно, нам опять нужна *вся* душа, все житейское, весь человек. Нельзя любить цыганские сны, ими можно только сграть. Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное, и бескрылое и цыганское.

Возвратимся к психологии.

Назад к душе, не только к «человеку», но ко «всему человеку» — с духом, душой и телом, с житейским — трижды так.

31 октября

Дневник

Сегодня был в банке — день ясный, но душу портишь одним прикосновением к деньгам. Я думаю все-таки, что я имею некоторое право на эти деньги¹⁷ и даже имею право подумать об умножении их, потому что живу напряженно, забываю не все обязанности. Будущее еще покажет.

4 ноября

Дневник

Я еду на именины к Фидлеру. <...> Народ прибывает непрерывно, и к полуночи уже некуда яблоку упасть. <...>

Ясинский, Андреев (Леонид), Венгеров, Дымов, Измайлов, Копельман, Гржебин, В. Г. Чирикова, Маныч, Эльснер (киевский издатель), Потемкин (прилипчивый), Лазаревский (Б.), Ремизов, Б. С. Мосолов, два Василиевских, Д. С. Здобнов — все эти и многие другие оставили след на моей душе. Но она была великолепно защищена и спокойно, деятельно напряжена; все, что было глубоких влияний, я встречал щитом души.

7 ноября
Дневник

Печальный день и прекрасный вечер. — Днем проходил по Летнему саду, где вычищены статуи, белеют под морозящим дождем.

После обеда мы с Любой поехали к Ремизову <...> Андреев болтал, — он внешний человек, занят собой, своей растительно-благополучной жизнью и своими кошмарами, ни с чем не связан, а теперь — приглядывается к людям, но неудачно, и все из своей бархатной куртки. Он неглубок и неумен, но не плох. <...>

В первом часу мы пришли с Любой к Вячеславу. Там уже — собрание большое. <...> А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше). <...> Вячеслав читал замечательную сказку «Солнце в перстне». ¹⁸

8 ноября
Дневник

Воздух эти дни, как вода — безмолвное дно морское — город. Что-то творится в нем. Безумие, безумие и восторг.

13 ноября
Дневник

<...> NB: всегда одно из двух — люди (масса), или своя жизнь, творческая. Мечтаю о ней.

Гениальнейшее, что читал, — Толстой — «Алеша-Горшок».

Завтра надо записать главное, что водилось сегодня вечером и ночью, вьется кругом уже с неделю.

Мужайтесь, други, боритесь прилежно,
Пусть бой и неравен — борьба безнадежна! ¹⁹

14 ноября
Дневник

Записываю днем то, что было вечером и ночью, — следовательно, иначе.

Выхожу из трамвая (пить на Царскосельском вокзале). У двери сидят — женщина, прячущая лицо в сукноватый воротник, два пожилых человека неизвестного сословия. Стоя у двери, слышу хохот, начинаю различать: «ишь... какой... верно... артист...» Зеленея от злости, оборачиваюсь и встречаю два наглых, пристальных и весело хохочущих взгляда. Пробормотав — «пьяны вы, что ли», выхожу, слышу за собой тот же беззаботный хохот. Пьянство как отрезало, я возвращаюсь домой, *по старой памяти* перекрестясь на Введенскую церковь.

Эти ужасы выются кругом меня всю неделю — отовсюду появляется страшная рожа, точно хочет сказать: «Ааа... ты вот какой?.. Зачем ты напряжен, думаешь, делаешь, строишь, зачем?»

Такова вся толпа на Невском. Такова (совсем про себя) одна искорка во взгляде Ясинского. Таков Гюнтер. Такова морда Анатолия Каменского. — Старики в трамвае были похожи и на Суворина, и на Меньшикова, и на Розанова. Таково *все* «Новое время». Таковы — «хитровцы», «апраксинцы», Сенная площадь.²⁰

Знание об этом, сторожкое и «все равно не можешь» — есть в глазах А. М. Ремизова. Он это испытал, ему хочу жаловаться.

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы, молчат и оне.
Пусть в горнем Олимпе безмолвствуют боги!
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревоги и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.
Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец:
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Это стихотворение Тютчева вспоминал еще в *прошлом* году Женя, от него я его узнал.

Мы, позевывая, говорим о «желтой опасности». ²¹ Аничков раз добродушно сказал мне (этим летом): «Вы узко мыслите. Цусима — неважное событие. С Японией воевала не Россия, а Европа».

Так думают все офицеры, кончая первым офицером,²² который выпивает беззаботно со своими конвойцами.

Откуда эти «каракули» и драгоценности на всех господах и барынях Невского проспекта? В каждом каракуле — взятка. В святые времена Александра III говорили: «Вот нарядная, вот так фуфыря!» Теперь все нарядные. Глаза — скучные, подбородки выросли, нет увлечения ни Гостиным двором, ни адюльтером, смазливая рожа любой барыни — есть акция, серия, взятка.

Все ползет, быстро гниют нити швов изнутри («преют»), а снаружи остается еще видимость. Но слегка дернуть, и все каракули расползутся, и обнаружится грязная, грязная морда измученного, бескровного, изнасилованного тела.

Так и мы: позевываем над желтой опасностью, а *Китай уже среди нас*. Неудержимо и стремительно пурпуровая кровь арийцев становится желтой кровью.²³ Об этом, ни о чем ином, свидетельствуют рожи в трамваях, беззаботный хохот Меншикова (ИУДА, ИУДА), голое дамское под гниющими швами каракуля на Невском. Остается маленький последний акт: внешний захват Европы. Это произойдет тихо и сладостно внешним образом. Ловкая куколка-японец положит дружелюбную крепкую ручку на плечо арийца, глянет «живыми, черными, любопытными» глазками в оловянные глаза бывшего арийца.

Столыпин незадолго перед смертью вскопчил ночью оттого, что ему приснился революционный броненосец, подходящий к Кронштадту. Это им снится еще, а «горшее» не снится.

Вот когда понадобится **РАСПЕЧАТАТЬ** все тайные возрождения Нового Света (По) и славянского мира (Пушкин, русская история, польский «мессианизм», Мицкевичев островок в Париже,²⁴ равеннское, разбудить Галлу).

Надо найти в арийской культуре *взор*, который бы смог бестрепетно и спокойно (торжественно) взглянуть в «любопытный, черный и пристальный и голый» взгляд — 1) старика в трамвае, 2) автора того письма к одной провокаторше, которое однажды читал вслух Сологуб в бывшем Café de France, 3) Меншикова, продающего нас японцам, 4) Розанова, убеждающего смеситься с сестрами и со зверями, 5) битого Суворина,

6) дамы на Невском, 7) немецко-русского мужеложца... Всего не исчислишь. Смысл трагедии — *БЕЗНАДЕЖНОСТЬ* борьбы;²⁵ но тут нет отчаянья, вялости, опускания рук. Требуется высокое посвящение.

Сегодня — пурпурно-перая заря.

Что пока — я? Только — видел кое-что в снах и наяву, чего другие не видали.

15 ноября

Дневник

Переписка с Наталией Николаевной Скворцовой.²⁶
Желтый, желтый закат.

15 ноября 1911

«Освободить» — нет, не могу. Я часто думаю писать Вам и не пишу, потому что мне кажется всегда, что Вы знаете все, что я думаю *обо всем*.

И в сегодняшнем Вашем письме нет никакого вопроса, а у меня нет ответа — словами.

Ваша безумная гордость (красивая гордость — красивая и жуткая, как многое в Вас) заставляет Вас говорить об «унижении» и о «языке Ваших горничных». Унижения нет и не может быть. Если любовь, — она не унижает, а освобождает, в ее солнце все меркнет — и своя гордость. Но это не она, а влюбленность — ночное, ну да — «ветер и звезды» — *не большие* звезд и ветра, а как ветер и звезды — и здесь нет унижения. — Вы знаете все это, как знаю я.

Это не первое — солнечное, а второе — ночное. За словами «ветер и звезды», «унижение», «язык моих горничных» мне ясно видно все ночное, все, что вызывает к бытию их заклинательная сила: ночи без рассвета, «неровный топот скакуна»,²⁷ кожа перчатки, пахнущая духами, цыганские песни, яд и горечь полыни, шлейф, треплющийся по коврам, звенящие за дверью шпоры,²⁸ оскаленная пасть двери, захлопывающейся и выводящей на *ветер* и на *звезды*, на уничтожение, а не *унижение*, на «язык», или вещее бормотанье всех на свете — и Ваших горничных, и гусаров, и поэтов, и лакеев.

Конец этого: горечь полыни, оборванная струна скрипки, желтый, желтый закат бьет в неизвестное ок-

но, и «женщина» (только женщина — никто) с длинным шлейфом *свистит* «мущину» (тоже — никто, без лица) мертвыми губами, а «мущина», как собака, ползет на свист к ее шлейфу.

Все это Вы знаете, не испытывав, как я знаю, испытывав. Все это я увидел за Вашими же словами.

Но, боже мой, милая, Вы не этого хотите, и я не этого хочу.

Знайте, если Вам нужно знать, что, когда ветер и звезды, то я слышу — Вашу ноту. Также знайте, что все, что Вы писали в письме без обращения (о себе), я знаю. Я не верю *ни в какие* запреты *здесь*, но на небе о нас иногда горько плачут.

То, что Вы написали в этом письме, я знал и без письма, я чувствую это всю осень, чувствую тревожно.

Я не только молод, а еще бесконечно стар. Чем дольше я живу, тем я больше научаюсь ждать настоящего звона большого колокола; я слышу, но не слушаю колокольчиков, не хочу умереть, боюсь малинового звона.

Примите все это как написано, *не иначе*, развяжите *сама* все несвязное.

Я не могу и не хочу освобождать. Иначе, чем есть, не могло быть. Мне это очень, очень нужно. *Вам также*. Всякая красота может «переменить и создать новое».

Господь с Вами.
Целую Вашу руку.

Александр Блок.

16 ноября 1911

Я написал Вам длинное письмо, но посылаю короткое. Длинное нужнее мне, чем Вам.

Унижения не может быть. Влюбленность не унижает, но может уничтожить.

Любовь не унижает, а освобождает. Освободить могу не я, а может только любовь.

18 ноября
Дневник

Если бы я умер теперь, за моим гробом шло бы много народу, и была бы кучка молодежи.

Все-таки хорошая, хорошая молодежь. Им трудно, тяжело чрезвычайно. Если выживут, выйдут в люди.

21 ноября
Дневник

Днем заехал к Пясту и поехал с ним на лекцию Вл. В. Гиппиуса.²⁹

Прекрасная лекция. Кровь *не* желтеет, есть и борьба и страсть. Под простой формой, под скромными словами, под тонкостью анализа пушкинского пессимизма — огонь и тревога.

Хорошо сказано: «Положить в ящик и бросить в яму» (о смерти); о фальшивом конце стихотворения «Для берегов отчизны дальной»: «Я этому не верю».

От Феодосия Печерского до Толстого и Достоевского — главная тема русской литературы — религиозная. В нашу эпоху общество ударились в «эстетический идеализм» (это, по моему определению, кровь желтеет).

Суть лекции — проповеднический призыв не только к «религиозному ощущению», но и к «религиозному сознанию».

Пушкин. Пессимизм лицейского периода. Всегда — сила только там, где просвечивает «доказательство бытия божия», остальное о боге — или бессильно, или отчаянно (переходящее в эпикуреизм). Завершение Пушкинских «исканий» — он впадает в «эстетический идеализм» (безраздельная вера в красоту). — Чтением многих стихов Пушкина В. В. Гиппиус прибавил нечто к моей любви к Пушкину. <...>

Публика — милые (почти все) девушки, возраста Ангелины, — «молодое поколение», еще не известное ни нам, ни себе.

22 ноября

Дневник

На ночь читал (и зачитался «Фальшивым купоном») Толстого, который неизменно вызывает во мне мучительный стыд.

1 декабря

Дневник

Сегодня вторая годовщина смерти отца. Может быть, и объявлено об этом в «Новом времени» или подобной помойной яме. Но я иду на другую панихиду.

На вчерашней панихиде, несмотря на мерзость попов и певчих, было хорошо; неуютно лежит маленький, седой и милый старик.³⁰ Последние крохи дворянства — Василий на козлах; простые, измученные Бекетовские лица; истинная, почти уже нигде не существующая скромность.

Днем клею картинки, Любы нет дома, и, как всегда в ее отсутствие, из кухни голоса, тон которых, повторяемость тона, заставляет тихо проваливаться, подозревать все ценности в мире. Говорят дуры, наша кухарка и кухарки из соседних мещанских квартир, но *так* говорят, такие слова (редко доносящиеся), что кровь стынет от стыда и отчаянья. Пустота, слепота, нищета, злоба. Спасение — только скит; барская квартира с плотными дверьми — еще хуже. Там — случайно услышишь и уж навек не забудешь.

Конечно, я воспринимаю так, потому что у меня совесть не чиста от разврата.

3 декабря

Дневник

Мама дала мне совет — окончить поэму³¹ тем, что «сына» поднимают на штыки на баррикаде.

План — четыре части — выясняется.

I ч. — «Демон» (не я, а Достоевский так назвал, а если и не назвал, то *e ben trovato* *), II — Детство, III — Смерть отца, IV — Война и революция, — гибель сына.

* Хорошо сказано (ит.). — Ред.

Мир во зле лежит. Всем, что в мире, играет судьба, случай, все, что встало выше мира, достойно управления богом.

В стихотворении Тютчева³² — эллинское, до-христианское чувство Рока, трагическое. Есть и другая трагедия — христианская. Но, насколько обо всем, что дохристианское, можно говорить, потому что это наше, здешнее, сейчас, настолько о христовом, если что и ведаешь, лучше молчать (не как Мережковский), чтобы не вышло «беснования» (Мусоргский). Не знаем ни дня, ни часа, в он же грядет Сын Человеческий судить живых и мертвых.³³

4 декабря
Дневник

〈НЕПОСЛАННОЕ ПИСЬМО К Н. Н. СКВОРЦОВОЙ〉

Наталия Николаевна, я пишу Вам бесконечно усталый, эти дни — на сто лет старше Вас. Пишу ни о чем, а просто потому, что часто, и сейчас, между прочим, думаю о Вас и о Ваших письмах, и Ваша нота слышится мне.

В душе у меня есть темный угол, где я постоянно один, что иногда, в такие времена, как теперь, становится тяжело. Скажите, пожалуйста, что-нибудь тихое мне — нарочно для этого угла души — без той гордости, которая так в Вас сильна, и даже — без красоты Вашей, которую я знаю.

Если же Вы не можете сейчас, или просто знаете о себе, что Вы так еще молоды, что не можете отрешиться от гордости и красоты, то ничего не пишите, а только так, подумайте про себя, чтобы мне об этом узнать.

6 декабря
Дневник

Я над Ключевским письмом.³⁴ Знаю все, что надо делать: отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу.

Стишок дописал — «В черных сучьях дерев».³⁵

9 декабря

Дневник

»

Послание Ключева все эти дни — поет в душе. Нет, рано еще уходить из этого прекрасного и страшного мира.

17 декабря

Дневник

Писал Ключеву: «Моя жизнь во многом темна и запутана, но я не падаю духом».

18 декабря

Дневник

У Любы сидит Муся. Я ничего не имею против Муся в частности, но боюсь провокации. Горько услышать или увидеть что-нибудь самое преступное, низкое, желтое, сытое — в той семье, в той крови, от которой я оторвал Любу. Особенно горько теперь, когда ненавидишь кадетов и собираешься «ругать „Речь“», когда не любишь Л. Андреева <...>, когда лучшие из нас бесконечно мучатся и щетинятся (Боря, Ремизов), когда такой горечью полыни пропитана русская жизнь.

Сегодня — дочитал наконец этот скучный, анархический, не без самодовольства, хоть и с добрыми намерениями, плохим из рук вон языком написанный, роман Андреева.³⁶ Только места об измене как-то правдивее, но все — такая неприятная неправда, надоедливо разит Чулковым. Рядом с этим <...> (на втором месте обложки и буквы помельче, и имя без отчества) поместили рассказ Ремизова³⁷ — до слез больной; пустяк для него, но в тысячу раз больше *правды* (и больше потому влияния, света), чем в Андрееве; тем большее и здесь уловить тень неправды, которая бременем легла на русскую литературу. Алексей Михайлович боится этой неправды, у него она пройдет, Л. Андреев лезет в нее, как сытый и глупый; и куда пойдет его сила, его талант? Страшная, тягостная вещь — талант, может быть, только гений говорит правду; только правда, как бы ни была она тяжела, легка — «легкое бремя».³⁸

Правду, исчезнувшую из русской жизни, — возвращать *наше дело*.

24 декабря

Дневник

Вечный ужас сочельников и праздников: мороз такой, что на улице встречаются растерянные, идущие неверной походкой люди. Я, гуляя перед ванной, мерзну в дорогом пальто. У магазина на Большом проспекте двое крошек — девочка побольше, мальчик крошечный, ревут, потеряв (?) отца. «Папа пошел за пряником, была бы елка». Их окружили, повезла на извозчике какая-то женщина на Пушкарскую, но они не помнят № дома, может быть, и не довезет. Полицейский офицер, подойдя, говорит: «Что за удивление, таких удивлений бывает сотня в день». К счастью, хоть перед Рождеством все добрые.

Мне тягостно и от праздника, как всегда, и от сомнений и усталости, которые делают меня сонным, униженным и несчастным. Сомневаюсь о Мережковских, Ключеве, обо всем. Устал — уже, как рано, сколько еще зимы впереди. Надо бы не пить больше.

27 декабря

Дневник

ТЕМА ДЛЯ РОМАНА

Гениальный ученый ³⁹ влюбился буйно в хорошенькую, женственную и пустую шведку. Она, и влюбясь в его темперамент и не любя его (по подлой, свойственной бабам, двойственности), родила ему дочь Любовь (жизнь сложная и доля непростая), умного и упрямого сына Ивана и двух близнецов (Марью да Василья... не стану говорить о них сейчас). Ученый, по прошествии срока, бросил ее физически (как всякий мужчина, высоко поднявшись, связавшись с обществом, проникаясь все более проблемами, бабе недоступными). Чухонка, которой был доставлен комфорт и средства к жизни, стала порхать в свете (весьма невинно, впрочем), связи мужа доставили ей положение и знакомства с «лучшими людьми» их времени (?), она и картины мажет, и с Репиным дружит, и с богатым купечеством дружна, и много:

По прошествии многих лет. Ученый помер, с лукавыми правыми воззрениями, с испорченным характером, со средней моралью. Жена его (до свадьбы и в медовые месяцы влюбленная, во время замужества ненавидевшая) чтит его память «свято», что выражается в запугиванье либеральных и ничтожных профессоров Меньшиковым и «Новым временем» и семейной грызней по поводу необозримого имущества, оставленного ей мужем. Судьба детей, — что будет дальше?

Ей оправдание — конечно, есть: она не призвана, она — пустая бабенка, хотя и не без характера («характер» — в старинном смысле — годов двадцатых), ей не по силам ни гениальный муж, ни четверо детей, из которых каждый, по-своему, положительно или отрицательно, незауряден...

Но: кому нет оправдания? — Такова цепь жизни, сплетение одной нити в огромный клубок; и всему — свое время: надо где-нибудь порвать, уж слишком не видно конца, и нить разрезают — фикция осуждения, на голову, невинную в «абсолютном» (гадость жизни, темнота ее, дрянь цивилизации, людская фальшь), падает вина «относительная». Кто не налагал своих схем на эту путаницу жизни, мучительную и отрадную, быть может: отрадную потому, что в конце ее есть какой-то очистительный смысл.

Отец мой — наследник (Лермонтова), Грибоедова, Чаадаева, конечно. Он *демонски* изобразил это в своей незаурядной «классификации наук»: ⁴⁰ есть сияющие вершины (истина, красота и добро), но вы, люди, — свиньи, и для вас все это слишком высоко, и вы гораздо правильнее поступаете, руководясь в своей *политической по преимуществу* (верх жестокости и иронии) жизни отдаленными идеалами... юридическими (!!!). Это ли не *демонизм*? Вы слепы, вы несчастны, копайтесь в политике (ласкающая печаль демона) и не поднимайте рыла к сияющим вершинам (надмирная улыбка презрения — демон *сам* залег в горах, «людям» туда пути нет). Все это — в несчастной оболочке А. Л. Блока, весьма грешной, похотливой... Пестрая, пестрая жизнь, острая «полоса дамасской стали», ⁴¹ жестокая, пронзающая все сердца.

2 января

Дневник

Господи благослови.

Когда люди долго пребывают в одиночестве, например имеют дело *только* с тем, что недоступно *пониманию* «толпы» (в кавычках — и не одни, а десяток), как «декаденты» 90-х годов, тогда — потом, выходя в жизнь, они (бывают растеряны), оказываются беспомощными, и *часто* (многие из них) падают ниже самой «толпы». Так было со многими из нас. Для того, чтобы не упасть низко (что, может быть, было и невозможно, ибо никаких личных человеческих сил не хватило бы для борьбы с бурей русской жизни следующих лет), или — хоть иметь надежду подняться, оправиться, отдохнуть и идти к людям, разумея под ними уже не только «толпу» (а это *очень возможно* для иных, — но не для всех), — для этого надо было иметь большие *нравственные* силы, т. е. известную «культурную избранность», ибо нравственные фонды наследственны. В наши дни все еще длится — и еще не закончен — этот нравственный отбор; вот почему, между прочим, так сильно еще озлобление, так аккуратно отмеривается и отвешивается количество арийской и семитической крови, так возбуждены национальные чувства; потому не устарели еще и «сословные счета», ибо бывшие сословия — культурные ценности, и очень важно, какую культурную струей питался каждый из нас (интересно, когда касается тех, кто еще имеет «надежды», т. е. не «выродился», не разложился, не все ему «трынтра»).

Вчерашнее воззвание Мережковского¹ — очень высоко и очень больно. Он призывает к общественной совести, тогда как у многих из нас еще и личная совесть не ожила.

— Пишу я вяло и мутно, как только что родившийся. Чем больше привык к «красивостям», тем нескладнее выходят размышления о живом, о том, что во времени и пространстве. Пока не найдешь *действительной* связи между временным и вневременным, до тех пор не станешь писателем, не только понятным, но и кому-либо и на что-либо, кроме баловства, нужным.

«Весенних басен книга прочтена, —
Мне время есть размыслить о морали».
(Ибсен)²

3 января
Дневник

Если я попаду в «Русское слово» или хотя бы сумею сосредоточиться на «своей» работе, и оставляю *окончательно* всякие «академии» и «цехи»,³ также — болтовню, когда она только болтовня.

5 января
Дневник

Мысли о Мережковском и Вяч. Иванове. Мережковские — для меня очень много, издавна, я не могу обратиться к ним с воспоминательными стихами, как собираюсь обратиться к Вячеславу,⁴ с которым *теперь* могу быть близким *только* через воспоминание о Лидии Дмитриевне.⁵

9 января
Дневник

Сегодня в ответ на письмо Н. Н. Скворцовой (сегодняшнее) пишу:

«Есть связи между людьми совершенно невысказываемые, по крайней мере, до времени не находящие внешних форм. Такой я считал нашу связь с Вами — по всему, что Вы говорили, по всему, что увидел в Вас, по всем «знакам, под которыми мы с Вами встретились». Если это так *действительно* (а я часто думаю, что да), то

что значат такие письма, как Ваше последнее? Я ненавижу приступы Вашего самолюбия и происходящего от него недоверия, потому что вижу пути, по которым Вы к ним приходите. Ну да, это только — «чувствительность кожи», «принцесса на горошинке»⁶ — и всегда связанная с внешней чувствительностью — нечувствительность внутренняя, душевная слепота; как только Вас настигает это, — Вы становитесь не собой, одной из многих, уходите куда-то в толпу, становитесь подобной каждому ее атому, который сам по себе бессилен и лишен способности *влиять* и *руководить*, потому что предан внешнему и личному.

Если Вам угодно избрать этот путь, то для меня невозможны ни внешние, ни внутренние встречи с Вами, потому что в первый раз мы встретились с Вами *НЕ* под этим знаком и потому что я давно иду по *другому* пути. Если бы было нужно то, о чем говорите Вы, то мы встретились бы с Вами раньше; этого не случилось, я прошел половину жизни (может быть, большую) другими путями, и мой путь неизменим. — Демон самолюбия и праздности соблазняет Вас воплотиться в случайную звезду 10-й величины с неопределенной орбитой. Я не толстовец, не американский моралист, чтобы не признавать таких возможностей в нашем мире; и даже больше того — я уверен, что в нашем веке возможность таких воплощений особенно заманчива и легка, потому что существует некая «астральная мода» на шлейфы, на перчатки, пахнущие духами, на пустое очарование. Но я уверен также, что Вы могли бы быть не только красивой, но и прекрасной, не только «принцессой на горошинке», каковые водятся в каждом маленьком немецком княжестве, но и *просто* принцессой — разумеется, менее заметной, но и более единственной. Еще я уверен, что соблазны пустоты всегда тем сильнее, чем больше возможностей полноты. — Вам угодно встретиться со мной так, как встречаются «незнакомки» с «поэтами». Вы — не «незнакомка», т. е. я *требую* от Вас, чтобы Вы были больше «незнакомки», так же как требую от себя, чтобы я был не только «поэтом». Милый ребенок, зачем Вы зовете меня в астральные дебри, в «звездные бездны»⁷ — целовать Ваши раздушенные перчатки, — когда Вы можете гораздо больше — не разрушать, а созидать.

13 января

Дневник

Пришла «Русская мысль» (январь). Печальная, холодная, верная — и всем этим трогательная — заметка Брюсова обо мне.⁸ Между строками можно прочесть: «Скучно, приятель? Хотел сразу поймать птицу за хвост?» Скучно, скучно, неужели жизнь так и протянется — в чтении, писании, отделявании, получении писем и ответании на них? Но — лучше ли «гулять с кистенем в дремучем лесу»?⁹ <...>

Собираюсь (давно) писать автобиографию Венгерову (скучно заниматься этим каждый год).¹⁰ Во всяком случае, надо написать, кроме никому не интересных и неизбежных сведений, что «есть такой человек» (я), который, как говорит З. Н. Гиппиус, думал больше о правде, чем о счастье. Я искал «удовольствий», но никогда не надеялся на счастье. Оно приходило само и, приходя, как всегда, становилось сейчас же не собою. Я и теперь не жду его, бог с ним, оно — не человеческое.

2 февраля

Дневник

Пушкин в «Русском слове». Совсем как маленького мальчика, его, раненого, выносят из кареты. У Дантеса — все приклеенное, этот светский мерзавец в старости стал еще мерзее — похож на ряженого шарлатана.¹¹

26 февраля

Дневник

Две новые газеты: первая — «Воскресная вечерняя» (2 коп.) с Куприными и пр. *Определенная еженедельная пресса*, конечно, к сожалению, опять лезет туда Городецкий — уж тут как тут! Вторая — новая для меня, на самом же деле ежедневно конфискуемая и от этого имеющая еще больший успех — социал-демократическая «Звезда». Отрадно после консервативных органов — «Речи» и «Русского слова» (которое, может быть, превратится в прогрессивный орган, если при-

обретет определенную физиономию, — чью, вопрос?). Все здесь ясно, просто и отчетливо (потому — талантливо) — пожалуй, иногда *слишком просто...*

28 февраля

Дневник

Вечерние прогулки (возобновляющиеся, давно не испытанные) по мрачным местам, где хулиганы бьют фонари, пристаёт щенок, тусклые окна с занавесочками. Девочка идет — издали слышно, точно лошадь тяжело дышит: очевидно, чихотка: она давится от глухого кашля, через несколько шагов наклоняется... Страшный мир.

4 марта

Дневник

Спасибо Горькому и даже — «Звезде». После эстетизмов, футуризов, аполлонизмов, библиофилов¹² — запахло настоящим. Так или иначе, при всей нашей слабости и безмолвии, *подкрадыванье* двенадцатого года к событиям отмечается *опять-таки в литературе*.

Днем — пишу поэму.¹³ Вечером — после прогулки к маме, где Люба. «Скандалы» этих дней на улицах (я — свидетель «необходимый»)¹⁴ — так называемые скандалы, а по существу — настоящие проявления жизни, случайно вышедшие на улицу (хулиганы, бьющие фонари и друг друга, пьяный в трамвае, муж и жена на Большом проспекте — главной улице современного Петербурга, — ибо Невский потерял свое значение).

18 марта

Дневник

Третьего дня полдня провела у меня Ангелина. И у нее события. Ее подруга Сергеева живет у них, после того как в часовне Спасителя упала в ноги случайно приехавшему царю и сказала ему: «Царь-батюшка, помилуй святителя». — «Какого?» — спросил царь. — «Гермогена». Едва он уехал, шесть сыщиков ухватили ее и стащили в участок. Продержали там недолго — часа

три. Г-жа Сергеева — «курсистка» (т. е. Женского педагогического института). «Скоро, скоро», — ответил царь и велел ее не трогать.

У Ангелины так теперь: «преосвященный Гермоген» — подлинная церковь, тот круг (из образующих новую церковь), к которому «примкнула» она. Гермоген — вполне свят. Иллудор («отец») меньше, но и он. Распутин — враг. Распутин — примыкает к хлыстам. С точки зрения г-жи Сергеевой, Мережковский — тонкое хлыстовство.

Итак: «православнейшие оплоты» — и те покинули Синод и Саблера. Смотря на все это жестко и сухо, я, проезжая на извозчике по одной из самых непристойных улиц — Сергиевской,¹⁵ думаю: вот и здесь, и здесь — тоже «недовольны», тоже горячо обсуждают, с кем быть: с Синодом или с Гермогеном.

Г-жа Сергеева приводит в ужас мать Ангелины тем, что не ест, спит на полу и т. д. Глупая девчонка, которая живет у них же, стала уважать г-жу Сергееву после разговора с царем.

Г-жа Сергеева — воплощение деятельности. Изнывает в «мирных» (курсовых) делах и вечно стремится к «делу». Вероятно — сильна магией. Показательно то, что магия может уже действовать на самое неподвижное, что есть в мире (т. е. — православная гувернантка из военной семьи, притом не чисто русского происхождения).¹⁶

19 марта

Дневник

«Женский педагогический институт» основан в противовес «крамольным» Высшим женским курсам. К слушательницам относятся как к институткам. Предлоги, первоначально — академические (еще в прошлом году — хитрый директор Платонов, создав слушательниц, объявил: «А если и вы будете бунтовать, то институт закроется»; «слушательницы» послушались), уже теперь определились явно: институт холит и питает ныне знаменитую г-жу Сергееву (осенью этого года Платонов, пригласив ее, говорил: «Я хочу поделиться с Вами духовной радостью: мне поручена постройка церкви...»).

Таким образом, роковым образом, учреждение, основанное для торжества «чистой науки», определилось как учреждение, служащее православию (пустоты быть не может, всякая пустота заполняется немедленно — вот еще разительный пример результатов насаждения «чистых» науки или искусства).

В дело г-жи Сергеевой вовлечена также роковой силою вещей (темная душа отца, темнота происхождения и умственного уровня матери — классной дамы) моя сестра. Сейчас картина «дела»: оно «формируется» в двух кругах: 1) салоны — графиня Игнатьева, кареты, политиканство, всяческая грязь и нечисть, 2) темные буржуазно-прикашичи — гувернантские слои, где «смирение» пахнет погромом во славу Божию. То есть давняя, хорошо разделанная почва для российской истерики. Народ безмолвствует.¹⁷

Генеалогия m-me Блок: военная, серенькая либерально-бездарная среда (артиллерия — то место, где «военный — штатский» всю жизнь колеблется между правостью и левостью); происхождение — частью английское (т. е. подонки Англии, русские гувернеры, великая сухость и *безжалостность* души, соединенная с русским малокровием).

Эта крошечная фигурка обладает упрямством, может быть действенным. По крайней мере, недаром — в этой квартире спит на полу г-жа Сергеева и произносит погромные речи казаковатый брат Илиодора.

Нет, отсюда нельзя ждать ничего, кроме тихого начала, а потом кровавого ужаса. Последние цели Гермогена (или тех, кто им движет, если уж сам он действительно — «божия коровка», которая по христианской легкости портит себе карьеру и страдает, — т. е., не лучше ли сказать, — созидает себе карьеру ценою того, что трусливый Саблер, пресмыкаясь от ужаса, вынимает вьюшку из его печки, — был такой факт) — опрокинуть тьму XVII столетия на молодой, славно начавшийся и измучившийся с первых шагов XX век.

Лучше вся жестокость цивилизации, все «безбожие» «экономической» культуры, чем ужас призраков — времен отошедших; самый светлый человек может пасть мертвым пред неуязвимым призраком, но он вынесет чудовищность и ужас *реальности*. Реальности надо нам, страшнее мистики нет ничего на свете.

Если Ангелина может *ковать свою жизнь* (а может ли женщина?), то спасение ей из лап все того же многоликого чудовища — естественный факультет Высших женских курсов. Из огня нужно бросаться в воду, чтобы только потушить тлеющее платье, чтобы протрезвиться. Сам бог поможет потом увидеть ясное *холодное* и хрустальное небо и его зарю. Из черной копоты и красного огня — этого неба и этой зари не увидеть. <...>

Книга новых стихов от Брюсова (отозвались прежней сладостью и болью).¹⁸

24 марта. «Страстная суббота»
Дневник

«Собирают мнения писателей о самоубийцах. Эти мнения будут читать люди, которые нисколько не собираются кончать жизнь. Прочтут мнение о самоубийстве, потом — телеграмму о том, что где-нибудь кто-нибудь повешен, а где-нибудь какой-нибудь министр покидает свой пост, и т. д. и т. д., а потом, не руководствуясь ни тем, ни другим, ни третьим, пойдут по житейским делам, какие кому назначены.

В самом деле, почему живые интересуются кончающими с жизнью? Большею частью по причинам низменным (любопытство, стремление потешить свою праздность, удовольствие от того, что у других еще хуже, чем у тебя, и т. п.). В большинстве случаев люди живут настоящим, т. е. ничем не живут, а так — существуют. Жить можно только будущим. Те же немногие, которые живут, т. е. смотрят в будущее, знают, что десятки видимых причин, заставляющих людей уходить из жизни, ничего до конца не объясняют; за всеми этими причинами стоит одна, большинству живых не видная, не понятная и не интересная. Если я скажу, что думаю, т. е. что причину эту можно прочесть в зорях вечерних и утренних, то меня поймут только мои собратья, а также иные из тех, кто уже держит револьвер в руке или затягивает петлю на шее; а «деловые люди» только лишний раз посмеются; но все-таки я хочу сказать, что самоубийств было бы меньше, если бы люди научились лучше читать небесные знаки».

Так я и пошлю глупому мальчишке — корреспонденту «Русского слова» (если он спросит еще раз по телефону),¹⁹ который третьего дня 2¹/₂ часа болтал у меня, то пошло, то излагая откровенно, как он сам вешался; все — легкомысленно, легко, никчемно, жутко — и интересно для меня, запрятавшегося от людей, у которого голова тяжелее всего тела, болит от приливов крови — вино и мысли.〈...〉

К 12-ти пошел к Петру,²⁰ встретил там Пяста. Мороз, черные толпы, полиция, умирающие архиереи тащатся, шатаясь, по мосткам между двумя шпалерами конных жандармов. Все время слышна команда.²¹ Петр и собор в белых снежных пятнах, пронзительный ветер, Нева вся во льду, кроме черной полыньи вдоль берега, — тяжелая, густая вода.

29 марта

Дневник

27-го — «Живой труп». Все — актеры, единственные и прекрасные, но — актеры. Один Станиславский — опять и актер и человек, чудесное соединение жизни и искусства. А цыгане — разве это цыгане? Нет, цыгане не таковы.〈...〉

Сегодня отвечаю Н. Н. Скворцовой, что: «все не так, слова ее — покров, не знаю, над чем. Мир прекрасен и в отчаянии — противоречия в этом нет. Жить надо и говорить надо так, чтобы равнодействующая жизни была истовая цыганская, соединение гармонии и буйства, и порядка и беспорядка. Иначе — пропадешь. Душа моя подражает цыганской, и буйству и гармонии ее вместе, и я пою тоже в каком-то хору, из которого не уйду».

11 апреля

Дневник

Какая тоска — почти до слез. Ночь — на широкой набережной Невы, около университета, чуть видный среди камней ребенок, мальчик. Мать («простая») взяла его на руки, он обхватил ручонками ее за шею — пугливо. Страшный, несчастный город, где ребенок теряется, сжимает горло слезами.

17 апреля

Дневник

Наконец отвечаю Боре о «Трудах и днях». ²²⟨...⟩

Соображения попутные (не из письма): утверждение Гумилева, что «слово должно значить только то, что оно значит», как утверждение — глупо, но понятно психологически, как бунт против Вяч. Иванова и даже как желание развязаться с его авторитетом и деспотизмом. В. Иванову свойственно миражами сверхискусства мешать искусству. «Символическая школа» — *мутная вода*. Связи quasi-реальные ведут к еще большему распылению. Когда мы («Новый путь», «Весы») боролись с умирающим, плоско-либеральным псевдореализмом, это дело было *реальным*, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения. Для того, чтобы принимать участие в «жизнетворчестве» (это суконное слово упоминается в слове от редакции «Трудов и дней»), надо воплотиться, показать свое печальное человеческое лицо, а не псевдо-лицо несуществующей школы. Мы — русские.

1 мая .

Дневник

Мысли печальные, все ближайшие люди на границе безумия, как-то больны и расшатаны, хуже времени нет. Боязнь за Женю.

28 мая

Дневник

Люба все эти дни носилась и хлопотала.

Сегодня бестактная заметка в «Речи» о Териокском предприятии, ²³ где пропущены Веригина, Мгебров и др. «настоящие» актеры, а упомянуты Мейерхольд, Кульбин, Пронин, я (!) и Люба... Кто давал заметку? — Любе она неприятна. И с какой стати упоминать ее, ничего еще не сделавшую? Да еще в качестве «жены поэта».

— — — Переменилось много в духе предприятия, как мне кажется. Вначале они хотели большого идейного дела, учиться и т. д. Но не знали, были впотьмах,

бродили ощупью. Понемногу стали присоединяться предприимчивые модернисты, и, как *всюду теперь*, оказались и талантливыми и находчивыми, быстро наложили свою руку и... вместо *БОЛЬШОГО* дела, *традиционного*, на которое никто не способен, возникло талантливое декадентское *МАЛЕНЬКОЕ* дело. Тут нашлись и руки и пафос. *Речи* были о Шекспире и идеях, *дело* пошло прежде всего о мейерхольдовских пантомимах, Кузмин с Сапуновым сватают Кроммелинков и т. д. — до чего дойдет, посмотрим, не хочу осуждать сразу.

11 июня

Дневник

Я все еще не могу вновь приняться за свою работу — единственное личное, что осталось для меня в жизни, так как ужасы жизни преследуют меня пятый день — с той злополучной среды (6 июня). Оправлюсь — одна надежда. Пока же — боюсь проклятой жизни, отворачиваю от нее глаза. <...>

Может быть, пройдет скоро эта мерзостная, вонючая полоса жизни, придет другая. Боюсь жизни.

18 июня

Дневник

Утром налаживал квартирные дела. Отдых. Вчера бесконечно бродил в Екатерингофе, потом плелся по Летнему саду изможденный и вдруг почувствовал, как глаза заблестели и затуманились от этих слов:

Зажим был так сладостно сужен,
Что пурпур дремоты поблек,
Я розовых узких жемчужин
Губами узнал холодок.
О сестры, о нежные десять,
Две ласково-дружных семьи,
Вас пологом ночи завесить
Так рады желанья мои...

.
Мои вы, о дальние руки,
Ваш сладостно сильный зажим
Я выносила в холоде скуки,
Я счастьем овеяла чужим.²⁴

19 июня

Дневник

После обеда плетусь в Зоологический сад, посмотрев разных миленьких зверей, начинаю слушать совершенно устаревшего «Орфея в аду» — ужасная пошлость. Не тут-то было — подсаживается пьяненький армейский полковник, вероятно добрый, бедный, нищий и одинокий. И сейчас же в пьяненькой речи — его недоверие, презрение к штрюку («да вы мущина или переодетая женщина»), «хорошо быть богатым человеком», «если б у меня деньги были, я бы всех этих баб...», «пресыщенный вы человек», и т. д. и т. д.) — т. е. *послан еще преследователь*. В антракте вышел я и *потихоньку ушел* из сада, не дослушав, — и знак был — уходи, доброго не будет, и потянуло, потянуло до-мой...<...>

Полковник, по-старинному, прав, но полковников миллионы на свете, а я *почти* один; что же мне делать, как не бежать потихоньку в мой тихий угол, если он есть у меня; а еще есть пока. *Только здесь и отсюда* я могу что-нибудь *сделать*. Не так ли?<...>

Ночь белеет, сейчас иду на вокзал встретить милую. Вдруг вижу с балкона: оборванец идет, крадется, хочет явно, чтобы никто не увидал, и все наклоняется к земле. Вдруг припал к какой-то выбоине, кажется, поднял крышку от сточной ямы, *выпил воды*, утерся... и пошел осторожно дальше. *Человек*.

1 октября

Дневник

Сыrovатая ночь, на Мойке против Новой Голландии²⁵ вытянул за руку (вместе с каким-то молодым человеком) молодого матроса, который повис на парапете, собираясь топить. Охал, потерял фуражку, проклинал какую-то «стерву». Во всяком случае, это мне чуть-чуть помогло.

4 октября

Дневник

Утром поражал меня Катулл, особенно то стихотворение, первую строку которого прочел мне когда-

то Волошин, на Галерной,²⁶ когда я был еще вовсе глуп.

Super alta vectus Atys celeri rate maria,
Phrygium nemus citato cupide pede tetiget... *²⁷

Вчера ночью и утром — стыд за себя, за лень, за мое невежество в том числе. Еще не поздно изучать языки.

7 октября

Дневник

Люба просит написать ей монолог для произнесения на Судейкинском вечере в «Бродячей собаке» (игорный дом в Париже сто лет назад). Я задумал написать монолог женщины (безумной?), вспоминающей революцию. Она стыдит собравшихся.²⁸

11 октября

Дневник

Вечер закончился неприятным разговором с Любой. Я постоянно поднимаю с ней вопрос о правде нашей и о модернистах, чем она крайне тяготится. Она не любит нашего языка, не любит его, не любит и вообще разговоров. Модернисты все более разлучают ее со мной. Будущее покажет...

Мне, однако, в разговоре с Любой удалось, кажется, определить лучше, что я имею против модернистов.

Стержень, к которому прикрепляется все многообразие дел, образов, мыслей, завитушек, — должен быть; и должен он быть — вечным, неизменяемым при всех обстоятельствах. <...>

О модернистах я боюсь, что у них *нет стержня*, а только — талантливые завитки вокруг пустоты.

11 ноября

Дневник

Кстати, вчера я читал «Иву» Городецкого, увы, она совсем не то, что с первого взгляда: нет работы, все

* По морям промчался Аттис на летучем, легком челне,
Поспешил проворным бегом прямо в глушь фригийских лесов...
Перевод А. Пиотровского (лат.). — Ред.

расплывчато, голос фальшивый, все могло бы быть в десять раз короче, сжатей, отдельные строки и образы блестят самоценно — большая же часть оставляет равнодушие и скуку. <...> Вечером пошел в «Кривое зеркало»,²⁹ где видел удивительно талантливые пошлости и кощунства г. Евреинова. Ярчайший пример того, как может быть вреден талант. Ничем не прикрытый цинизм какой-то голой души.

27 ноября

Дневник

Вечером мы с милой на «Заложниках жизни». Браться не хочется, скорее — напротив. Но все-таки Сологуб изменил самому себе, запутался в собственной биографии. Та, которая здесь зовется Мечтой и Лилит, — в лучшие времена была для Сологуба — смертью-утешительницей, и все было тогда для него — верно и строино. Та же, которая здесь полу-милая жизнь, — была прежде «бабищей дебелой и безобразной». ³⁰ Женившись и обрившись, Сологуб разучился по-сологубовски любить Смерть и ненавидеть Жизнь. Однако (хотя все, вследствие этого «кадетства», неверно) пьеса не оскорбительна, она — бледная, невинная (неправду говорили о цинизме), печальная, первый акт — очень хороший, волнует. Говорят, ему самому на первом представлении захотелось над ним плакать.

1 декабря

Дневник

Нет, в теперешнем моем состоянии (жесткость, угловатость, взрослость, болезнь) я и не умею и не имею права говорить *больше*, чем о человеческом. Моя тема совсем не «Крест и Роза», — этим я не овладею. Пусть будет — судьба человеческая, неудачника, и, если я сумею «умалиться» перед искусством, может мелькнуть кому-нибудь сквозь мою тему — большее. То есть: моя строгость к самому себе и «скромность» из всех сил могут помочь пьесе — стать произведением искусства, а произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп. ³¹

Удивительно: Городецкий, пытающийся пророчить о Руси какой-то и самохвал (влияние Вяч. Иванова),

все разучивается быть художником, ему все реже, увы, удается закрепить образ, просто. Напротив, Садовской, скромно остающийся стихослагателем, тем самым оказывается иногда больше самого себя. Так искусство само за себя мстит и само награждает.〈...〉

Мейерхольд: он говорил много, сказал много значительного, но все сидит в нем этот «применяющийся» человек, как говорит А. М. Ремизов. — Мейерхольд говорил: я полюбил *быть*, но иначе подойду к нему, чем Станиславский; я ближе Станиславскому, чем был в период театра Коммиссаржевской (до этого я его договаривал). — Развил длинную теорию о том, что его мировоззрение, в котором есть много от Гофмана, от «Балаганчика», от Матерлинка, — смешали с его техническими приемами режиссера (кукольность), доказывая, что он ближе к Пушкину, т. е. человечности, чем я и многие думаю. Это смешение вызвано тем, что в период театра Коммиссаржевской ему пришлось поставить целый ряд пьес, в которых подчеркивается кукольность. Театр, — говорит Мейерхольд, — есть игра масок; «игра лиц», как возразил я, или «переживание», как назвал то же самое он, — есть по существу то же самое, это только — спор о словах.

Утверждая последнее, Мейерхольд еще раз подтвердил, что ему не важны слова. Я понимаю это, он во многом прав. Но, думаю я, за словами стоят мнения, за мнениями — устремление ума (который Мейерхольд, между прочим, считает лишним в театре), за устремлением ума — устремление сердца, а сердце — человечье. Таким образом, для меня остается неразрешимым вопрос о двух правдах — Станиславского и Мейерхольда («я — ученик Станиславского», — сказал Мейерхольд, между прочим).

Александринка, — говорит Мейерхольд, — творение России, должно вернуться к духу 30-х годов, Мочалова. Теперешние актеры (он не знает, как они живут) далеки от этого. Сам он — гастролер, свободный в выборе пьес, сроках постановок, выборе художника.

«Песня Судьбы», говорит он (прошло уже почти четыре года, он не перечитывал), ему представляется, запомнилась, он чувствует, что из того впечатления, которое у него осталось, в нем может вырасти нечто свое, только я должен предоставить ему много свободы.

После его ухода я стал все больше думать, как же

я отношусь теперь к этой «Песне Судьбы», прошедшей столько этапов и извне и во мне.³²

1908 год: я читал многим, мечтал о Волоховой — Фаине, думала и она об этом. Станиславский страшно хвалил, велел переделать две картины, и я переделал в то же лето в одну (здесь родилось «Куликово поле» — в Шахматове). Немирович-Данченко хвалил также неумеренно, но на свой, пошловатый лад.

Когда я отослал рукопись, Художественный театр долго молчал. Наконец Станиславский прислал длинное письмо о том, что пьесу нельзя и не надо ставить. Я поверил этому, иначе — это поставило для меня точку, потому что сам я, отходя от пьесы, разочаровывался в ней.

Всеной 1909 года, перед отъездом в Италию, она была погребена в IX альманахе «Шиповника» под музыку выговоров Копельмана (...), разговоров с Л. Андреевым (и он, помнится, предлагал ставить пьесу). После Италии было лето, когда мысль и жизнь были порабощены и сжаты Италией, потом — черная осень, цынга с лихорадкой и юбилеем каким-то Маковского, дочулковыванье жизни, потом — смерть отца, наследство — и незаметное сжиганье жизни, приведшее в позднюю осень, в дни Толстовской кончины, на тихую и далекую Монетную, занесенную чистым снегом. «Мусaget», безлюдье, бескорыстие и долгота мыслей, Пяст. К этому времени (1910 г.) — я решительно уже считал «Песню Судьбы» — дурацкой пьесой, и считал ее таковой до последних месяцев, когда стал ее перечитывать, имея в виду переиздание своего «Театра» (сначала в «Альционе», теперь — в «Сирине»). Перечитывая, опять волновался многим в ней.

Буду пытаться выбросить оттуда (и для печати, и для возможной сцены) все пошлое, все глупое, также то леонид-андреевское, что из нее торчит. Посмотрим, что останется тогда от этого глуповатого Германа. Между прочим — НВ: *Мережковские* всегда более или менее сочувствовали пьесе.

14 декабря
Дневник

Вечером — пришел к нам Ник. Ив. Кульбин, принес нам цветов, очень хороших. Мы долго сидели и гово-

рили. Я не чувствую к нему полного доверия, но многое из того, что он говорил, было очень верно и очень мне нужно. Он рассказал историю Давида Бурлюка; говорил о художественной гигиене, о том, что художнику надо знать чужие отрасли искусства, естественные науки, нельзя засиживаться. От засиживания в своем месте, на которое посажен «призванный», приходит «собачья старость». Рекомендовал к аристократизму прибавить «дворянжки». Тщетно восстанавливал в моем мнении «Бродячую собаку», кой-что я принимаю, но в общем — мнение мое непоколебимо.

17 декабря

Дневник

Тягостное утро, одиноко, тоскливо, ничего не выходит. Холодные телефоны. *

19 декабря

Дневник

День начался значительно больше многих. Мы тут болтаем и углубляемся в «дела». А рядом — у глухой прачки Дуни болит голова, болят живот и почки. Воспользовавшись отсутствием «видной» прислуги, она рассказала мне об этом. Я мог только прокричать ей в ухо, что «когда барыня приедет, мы ее отпустим отдохнуть и полечиться». Надо, чтобы такое напоминало о месте, на котором стоишь, и надо, чтобы иногда открывались глаза на «жизнь» в этом ее, настоящем смысле, такой хлыст нам, богатым, необходим.

* Придется предпринять что-нибудь по поводу нагнетающего акмеизма и адамизма.

1 января

Дневник

В прошлом году рабочее движение усилилось в *восемь* раз сравнительно с 1911-м. Общие размеры движения достигают размеров движения 1906 года и всё растут. Оживление промышленности. Рост демократии.〈...〉

Пообедав, мы с Любой поехали в такси-оте к Аничковым. Собрание светских дур, надутых ничтожеств. Спиритический сеанс. Несчастный тщедушный Ян Гузик, у которого все вечера расписаны, испускает из себя бедняжек — Шварценберга и Семена. Шварценберг — вчера был он — валяет столик и ширму и швыряет в круг шарманку с секретным заводом. Сидели трижды, на третий раз я чуть не уснул, без конца было. У Гузика болит голова, надуваются жилы на лбу, а все обращаются с ним как с лакеем, за сеанс платят четвертной билет. Первый раз сидел я, сцепившись мизинцем с жирной и сиплой светской старухой грендерского роста, которая рассказывала, как «барон в прошлый раз смешил всех, говоря печальным голосом: дух, зачем ты нас покинул». Одна фраза — и ярко предстает вся сволочность этой жизни. Аничковы живут на Каменном острове, в даче Мордвиновых, при уюте — неуютно. Кулисы — кланченье авансов и пропуска всех сроков в уплате жалованья Ивойлову. Машина для записыванья разговора, для которой не могут найти переписчицы. Во время сеанса звонил Куприн, а Аничков ему ответил, что сеанса нет, — потому что он всегда пьян и нельзя его пригласить в общество светской сволочи. Сволочь-то в сто раз хуже Куприна.〈...〉 В сынке Аничкова, плохо говорящем по-русски, носящем на гимназическом мундирчике дедовскую медаль 12-го года, заставляющем слушаться духа и читающем

мои стихи; — есть что-то хамское. Мать Аничкова — хорошая, прямая старуха с живым лицом.

Второй и третий раз я сидел между милой и Пястом.

Вот — жизнь, ни к чему не обязывающая, «средне-высший» круг. У Толстых было, пожалуй, в этом роде, хотя подлиннее, значительнее <...> М-те Аничкова все-таки крупнее своих знакомых дам и подлиннее их; не то они — кокетки, не то — кухарки; и барышня с соблазнительной мордочкой и знаком Изида на груди;¹ мерзко.

12 января

Дневник

Впечатления последних дней. Ненависть к акмеистам, недоверие к Мейерхольду, подозрения относительно Кульбина.

Ангелина «правеет» — мерзость, исходящая от м-те Блок, на ней отразилась.

«Русская молва» — хорошее впечатление от статей вокруг 9 января.²

13 января

Дневник

Припоминаю, что говорила Ангелина. Понимаю, отчего было так тяжело. Гнусная вонь, исходящая от м-те Блок, в ее словах была. Вот «букет»:

Увидав, что при «Ниве» Л. Андреев и пр.,³ — они перешли с «Нивы» на «Исторический вестник». — Жизнь идет своим путем и загоняет мокриц постепенно во все более и более зловонные ямы. Я бы только радовался этому, если бы жертвой не была моя сестра.

Руссо есть опасная революционная величина. Об «Эмиле» говорится не без трепета.

Мережковский — под подозрением: его смех и как он подает Гиппиус пальто. Хорошо, верно, но... что из этого последует?

Верховая езда с этим карликовым артиллеристом в манеже «по-мужски» и «балы во второй бригаде».

Болтовня о подругах — ничтожнейшая — с по-

дробными биографическими сведениями, как принято в захолустье. «Вышла замуж, чахотка, муж офицер...»

И рядом: «преосвященный Гермоген»... Что будет с девушкой, которая растет среди тихих сумасшедших? Или — махнуть рукой?

Бесцельный день.

15 января

Дневник

Вечером я в «Нюренбергских мастерзингерах». Очень устал. Все — «штатское» — и пенье. Все-таки — плаваешь в музыкальном океане Вагнера. Как жаль, что я ничего не понимаю.

16 января

Дневник

Под напевами Вагнера переложил последнюю сцену в стихи.

20 января

Дневник

Вчера — кончена «Роза и Крест».

31 января

Дневник

Вчера — днем у мамы (с тетей). Вечером у А. М. Ремизова, читал «Розу и Крест» (Терещенки, Серафима Павловна, Зонов). По тому, как относятся, что выражается на лицах, как замечания касаются только мелочей, вижу, что я написал, наконец, настоящее. Все остальное — тяжело, трудно, нервно. Что будет с пьесой дальше, — не знаю.

9 февраля

Дневник

Вечером — «Садко» в «Музыкальной драме». Ничего нет нужнее музыки на свете; омытый ею, усталый.

10 февраля
Дневник

Только музыка необходима. Физически другой. Бод-
рость, рад солнцу, хоть и сквозь мороз.

Пора развязать руки, я больше не школьник. Ника-
ких символизмов больше — один, отвечаю за себя,
один — и могу еще быть моложе молодых поэтов «сред-
него возраста», обремененных потомством и акмеизмом.

11 февраля
Дневник

День значительный. — Чем дальше, тем тверже
я «утверждаюсь», «как художник». Во мне есть ин-
струмент, хороший рояль, струны натянуты. Днем при-
шла особа, принесла «почетный билет» на завтрашний
Соловьевский вечер.⁴ Села и говорит: «А «Белая ли-
лия», говорят, пьеска в декадентском роде?» В это вре-
мя к маме уже ехала подобная же особа, приехала и на-
визжала, но мама осталась в живых.

Мой рояль вздрогнул и отозвался, разумеется. На
то нервы и струновидны — у художника. Пусть будет
так: дело в том, что *очень* хороший инструмент (худож-
ник) *вынослив*, и некоторые удары каблуком только
укрепляют струны. Тем отличается внутренний рояль
от рояля «Шредера».〈...〉

Вот мысли, которые проходили сегодня в мозгу, от-
дыхающем, работающем отчетливо (от музыки и Шу-
валова).

Женя.⁵ Я просто не понимаю его *грамматики*. Его
фразы *никак* не связаны с предшествующими им фра-
зами. Мама говорит о мозговом недостатке. Может
быть. Утешительно одно: Женя ничего не завивает во-
круг себя, все его отталкивают, он чист и подлинен,
и то, чего он не умеет сказать, следовательно, подлин-
но.

А. Белый. Не нравится мне наше отношение и пе-
реписка. В его письмах — все то же, он как-то не му-
жает, ребячливая восторженность, тот же кривой по-
черк, ничего о жизни, все почерпнуто *не* из жизни, из
чего угодно, кроме нее. В том числе это вечное наше
«Ты» (с большой буквы).

Почему так ненавидишь все яростнее литературное большинство? Потому что званых много, но избранных мало.⁶ Старое сравнение: царь — средостенная бюрократия — народ; взыскательный художник — критика, литературная среда, всякая «популяризация» и проч., — люди. В ЛИТЕРАТУРЕ это заметнее, чем где-либо, потому что литература не так свободна, как остальные искусства, она не чистое искусство, в ней больше «питательного» для челядиных брюх. Давятся, но жрут, питаются, тем живут.

Если б я когда-нибудь написал произведение, которое считал бы необходимым сообщить людям, я бы пошел на *цинизм*, как, вероятно, делает Дягилев. Надо надуть обманутых (минус на минус дает плюс): обмануты — люди.

Я учредил бы контору, владеющую всеми средствами современной «техники» (в ложной культуре) для раздачи бутербродов Арабажиным всей Европы. Окупилась бы все расходы: но, *что главное, ценность* была бы представлена людям, они бы ее увидели и задумались бы.

Всякий Арабажин (я не знаю этого господина, он — «только символ») есть консисторский чиновник, которому нужно дать взятку, чтобы он не спрятал прошения под сукно.

Сиплое хихиканье Арабажиных. От него можно иногда сойти с ума. Правильнее — забить эту глотку бутербродом: когда это брюхо очнется от чавканья и смакованья, *будет уже поздно*: люди увидят ценность.

Миланская конюшня. «Тайная вечеря» Леонардо. Ее заслоняют всегда задницы английских туристов. Критика есть такая задница. Следующая мысль есть иллюстрация:

Сатира. Такой не бывает. Это — Белинские о — и это слово. До того о — и, что после них художники вплоть до меня способны обманываться, думать о «бичевании нравов».

Чтобы изобразить человека, надо *полюбить* его — узнать. Грибоедов любил Фамусова, уверен, что временами — больше, чем Чацкого. Гоголь любил Хлестакова и Чичикова, Чичикова — особенно. Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь «осмеяли»... Отсюда — начало порчи русского сознания — языка, подлин-

ной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве, вплоть до *мелочи* — полного убийства вкуса.

Они нас похваливают и поругивают, но тем пьют нашу художническую кровь. Они жиреют, мы спиваемся. Всякая шавочка способна превратиться в дракончика. Вот за что я не люблю вашу милую *m-me* Ростовцеву, Поликсену Сергеевну! Эти, которые заводятся около искусства, они — графини Игнатьевы. Они спихивают министров и приручают, — сказать противно, — *m-me* Блок (Марью Тимофеевну Беляеву). Это от них — так воняет в литературной среде, что надо бежать вон, без оглядки. Им — игрушки, а нам — слезки. Вернисажи; «Бродячие собаки», премьеры — ими существуют. Патронессы, либералки, актриски, прихлебательницы, секретарши, старые девы, мужние жены, хорошенькие коготочки — им нет числа. Если бы я был чертом, я бы устроил веселую литературную кадрили, чтобы закружилась вся «литературная среда» в кровосмесительном плясе и вся бы провалилась прямо ко мне на кулички.

Ну, довольно. *

17 февраля
Дневник

На этих днях мы с мамой (отдельно) прочли новую комедию Ал. Толстого — «Насильники». Хороший замысел, хороший язык, традиции — все испорчено хулиганством, незрелым отношением к жизни, отсутствием художественной меры. По-видимому, теперь *его* отравляет Чулков: надсмешка над своим, что могло бы быть серьезно, и невероятные положения: много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но, пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из «трюков» (как нашептывает Чулков, — это, впрочем, мое предположение только), — будет он бесплодной смоковницей. Все можно, кроме *одного*, для художника; к сожалению, часто бывает так, что нару-

* Приходится еще выноски... Почему же я признаю некоторых дам, критиков и пр.? — Потому что мораль мира бездонна и непохожа на ту, которую так называют. Мир движется музыкой, страстью, пристрастием, силой. Я волен выбрать, кого хочу, оттуда — такова моя верховная воля и сила.

шение *всего*, само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение *одного*, той заповеди, без исполнения которой жизнь и творчество распыляются.

22 февраля

Дневник

Сегодня празднуется трехсотлетие дома Романовых, союзников ⁷ 4000 понаехало из Киева, опасно выходить на улицу. Центр города разукрашен, Франц все время в соборах и пр. Капель, солнце — два года назад описано все в моей поэме («Собака под ноги суется, калоши сыщика блестят, до Пасхи целых семь недель»).⁸

23 февраля

Дневник

Вчера и третьего дня — дни о Терешенке. <...> вечером пошел к нему.<...>Я принес рукопись первых трех глав «Петербург», пришедшую днем из Берлина, от А. Белого. Очень критиковали роман, читали отдельные места. Я считаю, что печатать необходимо все, что в соприкосновении с А. Белым, у меня всегда — повторяется: туманная растерянность; какой-то личной обиды чувство; поразительные совпадения (места моей поэмы); отвращение к тому, что он видит ужасные гадости; *злое* произведение; приближение отчаянья (если и вправду мир таков...); не нравится свое — перелистал «Розу и Крест» — суконный язык. — И, при всем этом, неизмерим А. Белый, за двумя словами — вдруг притаится иное, все становится *иным*.

Какова будет участь романа в «Сирине» — беспокоит меня.

22 марта

Дневник

По всему литературному фронту идет очищение атмосферы. Это отрадно, но и тяжело также. Люди перестают притворяться, будто «понимают символизм» и будто любят его. Скоро перестанут притворяться

в любви и к искусству. Искусство и религия умирают в мире, мы идем в катакомбы, нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения — полное равнодушие. Но — слава богу, нас от этого станет меньше числом, и мы станем качественно лучше.

25 марта

Дневник

Эти дни — диспуты футуристов, со скандалами.⁹ Я так и не собрался. Бурлюки, которых я еще не видал, отпугивают меня. Боюсь, что здесь больше хамства, чем чего-либо другого (в Д. Бурлюке).

Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм. Последние — хилы, Гумилева тягелит «вкус», багаж у него тяжелый (от Шекспира до... Теофиля Готье), а Городецкого держат, как застрельщика с именем; думаю, что Гумилев конфузится и шокируется им нередко.

Футуристы прежде всего дали уже Игоря-Северянина. Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это — более земное и живое, чем акмеизм.¹⁰

27 марта

Дневник

Вечером у меня Вл. Н. Соловьев. <...> Заметно, как он отходит от Мейерхольда, а Мейерхольд сам, по-видимому, сомневается в себе все более. Их самих мучит их сухая пестрота, они ломаются с «театральностью» в открытую дверь и никак не хотят понять, что *человечность* не только не убьет, но возвысит и осмыслит правдивое в их «исканиях».

20 апреля

Дневник

Пока не поговорю с Станиславским, ничего не предпринимаю. Если Станиславскому пьеса понравится и он найдет ее театральной, хочу сказать ему твердо,

что довольно насмотрелся я на актеров и режиссеров, недаром высидел последние годы в своей мурье, никому не верю, кроме него одного. Если захочет, — ставил бы и играл бы сам — Бертрана. Если *коснется пьесы его гений*, буду спокоен за все остальное. Ошибки Станиславского так же громадны, как его положительные дела. *Если не хочет сам он*, — я опять уйду в «мурью», больше никого мне не надо. Тогда пьесу печатать.

27 апреля

Дневник

Важный день. После ожиданий и телефонов — около 2-х пришел А. М. Ремизов, а около 3-х — К. С. Станиславский. Поговорив, приступили к чтению «Розы и Креста», которое кончилось около 6-ти. А. М. Ремизов скоро ушел, а К. С. Станиславский оставался со мной до без $\frac{1}{4}$ 12-ти! Обедали кое-как и чай пили.

Читать пьесу мне было особенно трудно, и читал я особенно плохо, чувствуя, что Константин Сергеевич слушает напряженно, но не воспринимает. Из разговоров выяснилось, что это — действительно так.

29 апреля

Дневник

Сегодня. Печально все-таки все это. Год писал, жил пьесой, она правдивая. Баяны, Котляревские, Неведомские, Батюшковы, Яблоновские, будто сговорившись, объясняют успех футуристов тем, что «мы» («символисты», что ли) — гнилые, дряхлые. С них я не требую сочувствия. Но пришел человек чуткий, которому я верю, который создал великое (Чехов в Художественном театре), и *ничего не понял, ничего не «принял» и не почувствовал*. Опять, значит, писать «под спудом».

«Свои» стареются (Станиславский. Философов — брюзжит, либеральничает. Мережковский читает доклады о «Св. Льве», одинаково компрометируя Толстого и святых. Гиппиус строчит свои бездарные религиозно-политические романы. А. Белый — слишком во многом нас жизнь разделила). М. И. Терещенко уходит в свои дела, хотя бы и временно.

Остальных просто нет для меня — тех, которые «были» (В. Иванов, Чулков...).

19 июля

Зап. книжка

Весь день — дождь. Письмо от мамы. Я дочитал «Серафиту»,¹¹ то есть со второй трети начал почти только перелистывать. Великолепная первая глава, а остальное — мне чуждо и не нужно. Этот язык, не может выразить ничего высокого, длинные проповеди ничего мне не говорят. «Серафита» начата в 1833 и окончена в 1835 г.; надо думать, именно в первой главе — все, а потом прошло время, и замысел иссох и исказился. <...>

В поганных духах французских или испанских пошляков, допахивающих до моего окна, — есть что-то от m-me Садовской все-таки.

Испанка — *Perla del Océano** уехала, кажется, оставив память своих глаз и зубов. Вчера вечером я взволновался, встретившись с нею.

22 июля

Зап. книжка

Надо было быть в хорошем настроении, чтобы записывать какой-то вздор об испанке. Какое мне дело до зубов и глаз? Со вчерашнего дня нашла опять тоска. Заграница мне вредна вообще, запах, говор (особенно — французский), *блохи* (французские всех мерзее и неистребимее).

9 декабря

Дневник

«Неленый человек». ¹²

Первое действие — две картины (разбитые на сцены?). Первая — яблони, май, наши леса и луга. Любовь долгая и высокая, ограда — перескакивает, бродяжка, предложение. Она на всю жизнь.

* Жемчужина океана (исп.). — Ред.

Вторая — город, ночь, кабаки, цыгане, «идьёт», свалка, пение (девушки? слушают за дверью), протокол.

Постоянное опускание рук — все скучно и все нипочем. Потом — вдруг наоборот: кипучая деятельность. Читая словарь (!), обнаруживает уголь, копает и — счастливчик — нашел пласт, ничего не зная («Познание России»).¹³ Опять женщины.

Погибает от случая — и так же легко, как жил. «Между прочим» — многим помог — и духовно и материально. Все говорят: «нелепо, не понимаю, фантазии, декадентство, говорят — развратник». Вечная сплетня, будто расходятся с женой. А все неправда, все гораздо проще, но *живое* — богато — и легко и трудно — и не понять, где кончается труд и начинается легкость. Как жизнь сама. Цыганщина в нем.

Бертран был тяжелый. А этот — совсем другой. Какой-то легкий.

Вот — современная жизнь, которой спрашивает с меня Д. С. Мережковский.

Когда он умер, все его ругают, посмеиваются. Только одна женщина рыдает — безудержно, и та сама не знает — о чем.

23 октября 1915 *

I действие. Средняя полоса России (Подмосковье). В доме помещика накануне разорения. Семейный сговор, решают продавать имение. Известие о наследстве. Самый мечтательный собирается рыть уголь. Разговоры: уголь «не промышленный». На семейном совете все говорят, как любят свое имение и как жалко его продавать. Один отдыхает только там. Другой любит природу. Третья — о любви. *Мечтатель*: «А я люблю его так, что мне не жалко продать, ничего не жалко» (Корделия).¹⁴

II действие. Овраг, недалеко от заброшенной избышки. Сразу — затруднения, не хватает того-то и того-то. Убийство около избышки. Нищий бродяга. Ему

* В целях наиболее полного и точного восстановления замысла неосуществленной драмы «Нелепый человек», к которому Блок возвращался несколько раз, отступаем в данном случае от хронологической последовательности и переносим сюда из записных книжек № 47 и 48 три записи 1915–1916 гг., относящиеся к тому же замыслу. — *Сост.*

дано любовное поручение (разговор: весь мир так устроен: дверь с порогом, потом — калиточка, угол дома, а за углом...).

III действие. Соседнее богатое имение. Помещики смеются над причудой соседей, которая стала притчей во языцех во всей округе. Дочь. Ее жених. Ее встреча и разговор с нищим бродягой. Он ее заинтересовывает. Она обещает прийти к избушке.

IV действие. Дом и овраг. Новые неурядицы. Денег все равно не хватит. Ропот рабочих. — Свидание у избушки. Убийство. Шахты не будет. Имение продают. Инженер, заинтересовавшийся делом, находит уголь промышленный.

8 января <1916>

Одно из действующих лиц: девушка (барышня), которая никогда не имела дела с ужасным. Веселая, «бодро» смотрит на жизнь. Все ее ставят в пример (ему, между прочим). Когда произошло *убийство*, она кричит: «Ай, не вынесу», мешается в уме. И это ставят в вину ему же.

6 июня <1916>

Инженерская жена: «Ах, это, право, очень мило. — Что ж, эти люди слушаются вас?» (А у него — тайный, унижающий его сговор со старшим мастером.) — «Не правда ли, у вас есть теперь свой *отомобиль*? И вы можете делать все, что хотите?» (А он — черный от грязи, по ночам не спит.)

Не хватает матерьялов; рабочие ропщут; пьянство; дело стало; его разбирает охота бросить все. Подвертывается дамочка, с которой можно весело провести время.

Еще — приходит некто бородатый и томный — приставать с «белой березкой», святой Русью и прочим и прочим. Говорит набожно и книжно. Подвертывается жидок — спекулировать.

Все это — мщенье подземных сил, уже потревоженных. *Борьба*: их надо усмирить и обратить на добро людям. Но он-то, из первых, слабый, сентиментально

воспитанный, сам еще *плохо «различает добро и зло»* И — вынести непосильное бремя помогает ему, хотя и поседевшему, одно только упрямство, скука, «многознание» (ни на что, ни на какие соблазны не идет или идет только полшага, ненадолго уступая: это — и есть в нем *РУССКОЕ*: русский «лентяй», а сделал громадное дело, черт знает для чего; сделал не для себя, а для кого — сам не знал).

Муж инженерши говорит, *как бы между прочим* «Дело ваше плохо ладится, я вижу; тут надо практика: знаете, некто *Кацнеленсон* купил бы у вас это дело, хорошо бы заплатил вам за него. Разумеется, поручил бы купить подставному лицу (черта оседлости...)».

10 декабря <1913>

Зап. книжка

Когда я говорю со своим братом — художником, то мы оба отлично знаем, что Пушкин и Толстой — не боги. Футуристы говорят об этом с теми, для кого втайне и без того — Пушкин — хам («аристократ» или «буржуа»). Вот в чем лезть и, следовательно, ложь.

Продолжение следует 9 января <1914>:

А что, если так: Пушкина научили *любить* опять *по-новому* — вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т. д., а... *футуристы*. Они его бранят, по-новому, а он становится ближе по-новому. В «Онегине» я это почувствовал. Кстати, может быть, Пушкин бесконечно более одинок и «убийственен» (Мережковский), чем Тютчев. Перед Пушкиным открыта вся душа — начало и конец душевного движения. Все до ужаса ясно, как линии на руке под микроскопом. Не таинственно, как будто, а может быть, зато по-другому, по-«самоубийственному», таинственно.

Брань во имя нового совсем не то, что брань во имя старого, хотя бы новое было неизвестным (да ведь оно всегда таково), а старое — великим и известным. Уже потому, что бранить во имя нового — *труднее и ответственнее*.

21 февраля

Зап. книжка

Опять мне больно все, что касается *Мейерхольдии*, мне неудержимо нравится «здоровый реализм», Станиславский и Музыкальная драма. Все, что получаю от театра, я получаю *оттуда*, а в Мейерхольдии — тужусь и вяну. Почему они-то меня любят? За прошлое и за настоящее, боюсь, что не за будущее, не за то, чего хочу.

6 марта

Зап. книжка

Во всяком произведении искусства (даже в маленьком стихотворении) — больше *не искусства*, чем искусство.

Искусство — радий (очень малые количества). Оно способно радиоактивировать все — самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тенденции, «переживания», чувства, быт. Радиоактивированью поддается именно *живое*, следовательно — грубое, мертвого просветить нельзя.

Яд модернизма.

Что меня оставляет равнодушным, а чаще — ужасает в Мейерхольде: Варламов, обходящий сцену с фонарем в «Дон-Жуане»; рабы в «Электре», выбегающие зигзагами (и всё в «Электре»). Монахи, нарисованные на ширме («Поклонение кресту» — Бонди). Крыша — в «Пробуждении весны» Ведекинда (всё «Пробуждение весны»).¹ Вся «Гедда Габлер». Многие движения в «Комедии любви» Ибсена.

Современный натурализм безвреден, потому что он — *вне искусства* (что на театре да на Передвиж-

ной² — временный пустяк). Модернизм ядовит, потому что он с искусством.

Балаган, перенесенный на Мариинскую сцену, есть одичание, варварство (не творческое).

Люблю в «Онегине», чтоб сжалось сердце от крепостного права. Люблю деревянный квадратный чан для собирания дождевой воды на крыше над аптечкой возле Plaza de Totos в Севилье (Музыкальная драма — «Кармен»). Меня не развлекают, а мне помогают мелочи (кресла, уюты, вещи) в чеховских пьесах (и в «Кармен»), например, тоже).

Очень люблю психологию — в театре. И вообще чтобы было питательно.

После того как я это записал, пришел ко мне Мейерхольд и, после нудного спора, вдруг сумел так сказать мне и о себе и о своем, что я в первый раз в жизни почувствовал в нем живого, чувствующего, любящего человека.

15 июня

Зап. книжка

Перевод. Что бездарнее перечислений (на этот раз собак и соколов) у французских писателей? — И вторую березу в кругу (он перестал быть кругом) свалили, не поломав окружающего. — Тоска и скука. Неужели моя песенка спета?

16 июня

Зап. книжка

Полегче. Перевожу, хожу по тем местам, где я когда-то, в молодости, тосковал о Любе, а после — скучал с ней. Как сладостно.

18 июля

Зап. книжка

Телеграмма от Франца, что его вызывают в Петербург. Белград бомбардируется австрийцами.

19 июля
Зап. книжка

Мы с мамой едем в Петербург.

20 июля
Зап. книжка

Манифест.³

21 июля
Зап. книжка

К вечеру Люба приехала из Куоккалы.

22 июля
Зап. книжка

Люба едет в Куоккалу за вещами. — Ночью на Невском — немецкие вывески, манифестации, немецкие «шпионы», австрийские флаги.

23 июля
Зап. книжка

Англия объявила войну Германии. — Люба вернулась.

24 июля
Зап. книжка

Франц приехал. — Австрия объявила нам войну.

26 июля
Зап. книжка

Заседание Государственной думы и Государственного совета. Манифест о войне с Австрией.

27 июля

Зап. книжка

У нас уже есть раненые.

28 июля

Зап. книжка

Жизнь моя есть ряд спутанных до чрезвычайности личных отношений, жизнь моя есть ряд крушений многих надежд. «Бодрость» и сцепленные зубы. И — мать.

6 октября

Зап. книжка

Последний срок для представления в «День» отчета о своих чувствах, по возможности, к Бельгии, в стихах или в прозе. Я же чувствую только Россию одну. — Вчера послал «Антверпен».*

* Последняя фраза приписана позже. — *Ред.*

9 марта

Зап. книжка

Днем у меня рязанский парень со стихами.¹

15 октября

Зап. книжка

Если бы те, кто пишет и говорит мне о «благородстве» моих стихов и проч., захотели посмотреть глубже, они бы поняли, что: в тот момент, когда я начинал «исписываться» (относительно — в 1909 году), у меня появилось отцовское наследство; теперь оно иссякает, и положение мое может опять сделаться критическим, если я не найду себе заработка. «Честным» трудом литературным прожить среднему и требовательному писателю, как я, почти невозможно. Посоветуйте же мне, милые доброжелатели, как зарабатывать деньги; хоть я и ленив, я стремлюсь делать всякое дело как можно лучше. И, уж во всяком случае, я очень честен.

15 октября, к ночи

23 октября

Зап. книжка

«Степка-Растрепка» классический — от П. С. Соловьевой для отзыва (дошкольное воспитание).

24 октября

Зап. книжка

«Степка-Растрепка» — книга очень смелая и жизненная, с одной стороны, и совершенно лишенная по-

шлости — с другой, а такое сочетание надо ценить, потому что смелость вообще легко переходит в наглость, а жизненность часто соединяется с пошлостью.

В детстве я эту книгу любил, и теперь нашел ее увлекательной. Увлекательна быстрота перехода от причины к следствию, напоминающая театральное Петрушку, а в том, что дети любят Петрушку, который все время убивает, обманывает и творит прочие пакости, я убеждался много раз.

Думаю, что сравнение с Петрушкой совершенно доказывает невинность всех кровопролитий, пожаров и прочих ужасов «Степки-Растрепки».

Все рассказы (кроме, пожалуй, «Андрея-Ротозея», который кажется мне растянутым) написаны одинаково выразительно и иллюстрированы великолепно, хотя не все картинки подходят к тексту. Стих очень хорош, потому что легкий и разнообразен; форма вполне соответствует содержанию, некоторая «домашность» стихов (например: «Пречудное лекарство *вот* ему вливает доктор в рот»; или «Отнюдь *же* пальцев не сосать!») или «бедность» рифм — вовсе не «дилетантизм», не неумелость, как может показаться с первого взгляда; это — по меньшей мере — органичность, вдохновение автора, а может быть, и сознательное упрощение — тонкость. Во всяком случае, на тонкость стихотворца в умении выбирать слова указывают такие стихи, как, например: «Как ни ревели, ни рвались, а все чернил-то напились» (все слова так ужасны, что уже производят обратное впечатление). К этому можно прибавить, что размеры разнообразны (на девять рассказов — шесть); что автору вовсе не чужды приемы, вроде внутренней рифмы («Нет, супу не хочу я, нет, из ложечки не проглочу я, нет!») или продление рифмы (ревет, гнет, рвет, несет — стр. 16; лежит, сердит, сидит, говорит — стр. 13); что такие выразительные слова, как «чернушка *тял, тля, тлял*», или «*вуп*, — и пальчик в рот» принадлежат именно этому автору.

Все вышесказанное приводит меня к заключению, что останавливать победоносное шествие 160000 экземпляров «Степки-Растрепки» по детским не только невозможно, но и не нужно.

Конечно, не впечатляясь непосредственной талантливостью «Степки-Растрепки», можно сказать, что эта книга есть создание «буржуазное» в широком смысле,

что она «не народна»; но едва ли эта точка зрения применима к настоящему времени; литература другого типа пока, насколько мне известно, едва завязывается, если ее можно сравнить с чахлым ростком, а «Степка-Расстрепка» — уже яркий цветок.

28 октября

Зап. книжка

Рассказ «про Гошу Долгие-Руки» должен быть сравнен со «Степкой-Расстрепкой», но такое сравнение крайне невыгодно для него. Воображение у автора «*Степки-Расстрепки*» — художественное, он нигде не переходит меры. Автор приключений *Гоши*, напротив, не знает никакой меры, и воображение его напоминает балаганного деда. Когда собака откусила у мальчишки руку, а отец достает эту руку из собачьего желудка, автор считает долгом отметить, что «рука еще не успела перевариться». Есть и определенные пошлости: нянька велит мальчику идти в гости к крестному, приодев его для этого в штаны с кружевами и надев на руки перчатки (см. картинки к стр. 16). Залезание в банку с вареньем, ковыряние носа, постоянная божба, выражения: «заревел, как бык» или «нос длиннее сапожного голенища» и многие другие — все это говорит о безнадежной вульгарности автора. Откуда произошло выражение: «подымается Гоша на штуки» — совершенно непонятно; пахнет плохим переводом — с немецкого, что ли?

При всем этом вульгарнейшей книге про *Гошу* нельзя отказать в талантливости (местами); книга, едва ли полезная для детей, представляет исторический документ; любопытен в ней привкус мятлевского Петербурга и странная и довольно противная смесь какой-то наивной «физиологичности» и исключительной безвкусицы в отношении художественном; одна из уродливых смесей русских 60-х годов: «Бога нет, душа — клеточка, отца в рыло» — и неизбежно связанное с этим — отправление на «имянины крестного».

Холодные, неуютные, в стиле модерн рисунки *Кнебелевской «Лесной царевны»* снабжены жидким текстом,

о котором не приходится говорить много; довольно сказать, что в нем, несмотря на краткость, есть и пошлости, и несоответствие с рисунками, и неправильности языка. Живого слова нет ни одного — все банальны.

«Приключения зайчика» Н. Руммель — жалостная и добродетельная история, написанная некрасовским стихом без некрасовской силы. Особенно поражает надуманностью и фальшью страница 6-я, где описано, как зайцу, которого принесли в комнату, стол представился белой поляной, девочки, сидящие вокруг стола, — «здоровыми, как грибы», а лампа над столом — «потешным солнышком, подвешенным на веточке». Этот мозговой ход напомнил мне нечто подобное из литературы для взрослых: Валерий Брюсов воспевал, как известно, земную ось; один стихотворец, бесстыдно подражавший В. Брюсову, стал воспевать не только земную ось, но и *чеку* на этой оси.²

Можно помыслить земную ось, но нельзя снабжать воображаемую линию чекой; можно дать зайцу человеческий образ, но нельзя приписывать очеловеченному зайцу сложных человеческих представлений, хотя бы и столь фальшивых и неинтересных, как приведенные выше.

Полустилизованные рисунки Зворыкина, совершенно не подходящие к тексту по стилю, вполне согласуются с ним по качеству: они подражательны и бездушны.

«Приключения кроли» П. Соловьевой (Allegro), разумеется, нельзя сравнить с дилетантскими стихотворными упражнениями, к каковым, насколько я знаю, относится большинство детских книг в стихах.

Стих отличается большой насыщенностью; мало эпитетов, почти нет уменьшительных, богатые рифмы, ритмическое разнообразие и, если можно так выразиться, широкий диапазон образов (от очень простых до довольно сложных, требующих способности к воображе-

нию; например: «кругом — и свет и тишь», или: «длиннее стала тень, птицы в гнездах замолчали»).

Все это располагает к тому, чтобы прилагать к книге исключительно высокие требования, и заставляет отметить некоторые шероховатости, например: перенос, затрудняющий стих: «То, стащивши *баимачок Братнин*, бросит в ручеек»; несколько выражений, кажущихся мне натянутыми: кролик пускается «бежать *быстрее лани*»; кошка мурлычет «*беспретворно*»; кролик поднял хлыст — «и... *свершилось наказание*». Галлицизмы: «*Голубел* между гряд», «*Куртка вздета* на шестки». Ударение: «Поедим мы завтра *лучку*» (вместо *лучкú*). Кроме этих мелочей, мне кажется натянутым эпизод, где кролик (хотя и с хлыстом) прогоняет кошку, «пустив в ход коготки».

5 ноября

Зап. книжка

Я недостаточно знаю русские народные сказки, чтобы судить о том, очень ли силен в них элемент жестокости. Что он в них содержится в той или иной мере, во всяком случае, несомненно.

О тех сказках, где жестоки только подробности, не составляющие сути дела, говорить нечего. Стоит подумать о тех сказках, в которых заключена «жестокость для жестокости», так сказать.

Всякая сентиментальность и по отношению к этим сказкам, по-моему, может только повредить. Нельзя ни на минуту забывать о том, прежде всего, что сказки — не так называемое «индивидуалистическое» творчество, что, следовательно, жестокость в них не есть проявление только «безумной прихоти певца»,³ но имеет глубокие корни.

Во-первых, нельзя забывать о том, что век наш — «железный» и что всякая сентиментальность по отношению к детям в наше время есть великий грех, потому что может развить в них бездеятельность, апатичность, неприспособленность к жизни, следовательно, сделать из них несчастных безвольных людей.

В-третьих, и в главных, нельзя забывать, что нашим детям предстоит в ближайшем будущем входить во все более тесное общение с народом, потому что будущее России лежит в еле еще тронутых силах народных масс

и подземных богатств; песенка всяких уютных «привилегированных» заведений спета, уж поздно рассуждать о том, что их «на наш век хватит». Дети наши пойдут в *технические школы* по преимуществу и рано соприкоснутся поэтому с так называемым невежеством, темнотой, цинизмом, жестокостью и т. п.

Имея все это в виду, надо по мере сил *объяснять* детям все «народное»; на родителях лежит громадная ответственность; если нельзя требовать с них творчества (как нельзя вообще требовать с человека таланта, если бог его обделил талантом), то надо требовать, по крайней мере, честности; чтобы не закрывали глаз на действительность. Право, если перестать всячески белоручничать, многое «неприглядное» объяснится и окажется на вольном воздухе гораздо более приглядным, чем казалось в четырех стенах.

Все дело, конечно, в мере: нечего совать детям непременно *все* русские сказки; если не умеете объяснить в них совсём ничего, не давайте злобных и жестоких; но если умеете хоть немного, откройте в этой жестокости хоть ее *несчастную*, униженную сторону; если же умеете больше, покажите в ней *творческое*, откройте сторону могучей силы и воли, которая только не знает способа применить себя и «переливается по жилочкам».

Вот задача, на которую стоит потратить силы; потому что Россия явно требует уже не чиновников, а граждан; а ближайшее будущее России требует граждан-техников и граждан-инженеров; а в какой мере не хватает инженерам и техникам «творческой интуиции», нам показывает печальная действительность; а какое великое *возрождение*, т. е. *сдвиг всех сил*, нам предстоит, и до какой степени техника и художественное творчество немыслимы друг без друга (*τέχνη* по-гречески — искусство), мы скоро увидим, ибо, если мы только выправимся после этого потопа, нам предстоит перенестись как на крыльях в эпоху *великого возрождения*, проходящего под знаком *мужественности и воли*.

10 ноября

Зап. книжка

Так — серо-вато. — Вечером — Ангелина. — Новые слухи о призыве в декабре.

Одичание — вот слово; а нашел его — книжный, трусливый Мережковский. Нашел почему? Потому что он, единственный, *работал*, а Андреев и ему подобные — тру-ля-ла, гордились.

Горький работал, но растерялся. * Почему? Потому что — «культуры» нет.

Итак, одичание.

Черная, непроглядная слякоть на улицах. Фонари — через два. Пьяного солдата сажают на извозчика (повесят?). Озлобленные лица у «простых людей» (т. е. у *vrais grand monde* **.⁴) <...>

Слякоть вдруг пробороздит луч прожектора, и автомобиль пронесется с ревом, испытывая, насколько у нас — *starke Nerven*.***

Молодежь самодовольна, «аполитична», с хамством и вульгарностью. Ей культуру заменили Вербицкая, Игорь Северянин и пр. Языка нет. Любви нет. Победы — не хотят, мира — тоже. Когда же и откуда будет ответ?

* К этому — позднейший знак вопроса. — *Ред.*

** У настоящего большого света (*фр.*). — *Ред.*

*** Крепкие нервы (*нем.*). — *Ред.*

14 февраля

Зап. книжка

Наше время — время, когда то, о чем мечтают как об идеале, надо воплощать сейчас. Школа стремительности.

Надо показать, что можно быть мужественным без брютальности.¹

Железный век — цветок в петлице.

6 марта

Зап. книжка

Сегодня я понял наконец ясно, что отличительное свойство этой войны — *невеликость* (невысокое).² Она — просто огромная фабрика в ходу, и в этом ее роковой смысл.

Несомненно, она всех «прозаичнее» (ищу определений, путаясь в обывательском языке). Это оттого, что миром окончательно завладел так называемый антихрист.

Отсюда — невозможность раздуть патриотизм; отсюда — особенный обман малых сих (солдаты, твердящие о «тевтонах», или: «Мы, серые герои, уже шестой месяц проливаем свою последнюю каплю крови за отечество»).

Смысл, лицо (Лицо?), Субстанция, соль — окончательно переместилось в *другое*, не участвует в «событиях». А события, идущие без руководителя, утомляют и надоедают.

То положение, которое занимает ныне искусство, очень высоко (кажется же наоборот).

Подвигов бывает мало, а сотен — не бывает (почти все подвиги подозрительны).

Толкнул меня на эти мысли, очевидно, Пяст, читавший мне вчера свою хронику, посвященную описанию

«патриотического подъема» начала войны.³ Его заслуга — в том, что он, восхитившись тем, чем «все» восхищались мелко и поддельно, — глубоко и неподдельно, обнаружил, что восхищаться было решительно нечем (кроме нескольких выдуманных им происшествий и «подвига» калишского чиновника Соколова, который под пыткой скрыл казенные деньги от майора Прейскера).

Восхищаются не этим. Предмет восхищения — за пределами этой войны; а предмет негодования сидит за ширмой, лица у него нет, поэтому пощечина ему остается не данной.

25 марта

Зап. книжка

Предсмертные письма Чехова — вот что внушило мне на днях действительный ночной ужас. Это больше действует, чем уход Толстого. «Ольга поехала в Базель лечить зубы», «теперь все коренные — золотые, на всю жизнь». Сначала — восхищение от немцев, потом чувство тоски и безвкусицы (до чего знакомое о немецком курорте). И вдруг — такое же письмо, — но последнее. Непоправимость, необходимость. Все «уходы» и героизмы — только закрывание глаз, желание «забыться»... кроме одного пути, на котором глаза открываются и который я *забыл* (и он меня).

На днях я подумал о том, что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или — чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать матерьял.

9—10 апреля

(Пасхальная ночь)

Зап. книжка

Как подумаешь обо всем, что происходит и со всеми и со мной, можно сойти с ума.

Около Исаакиевского собора мы были с Любовью Александровной. Народу сравнительно с прежними годами — вдвое меньше. Иллюминации почти нет. «Тор-

жественности» уже никакой, так же как и мрачности, черноты прежних лет тоже нет. На памятнике Фальконета — толпа мальчишек, хулиганов, держится за хвост, сидит на змее, курят под животом коня. Полное разложение. Петербургу — *finis*. *

5 мая

Зап. книжка

Майская петербургская стриндберговщина: особое кишение улиц (самых омерзительных — Невского, Ка-раванной).

19 мая

Зап. книжка

Днем мы с Н. Н. Купреяновым были в кинематографе на Офицерской (я хотел видеть Гзовскую и Шахалова).⁴

В игре Гзовской есть искусство. Умеренность и благородство (сравнительно) обличают Московский Художественный театр. Это — новый период кинематографа, который теперь пойдет, вероятно, по России — наряду с первым, посвященным главным образом быстрому движению. Здесь много внимания обращено на психологию (пока еще часто неудачно). Письма пишут долго и т. д.

3 июня

Зап. книжка

Поэма⁵ обозначает переход от личного к общему. Вот главная ее мысль. Формула вместиельна, на первый взгляд — растяжима, неясна. Многозначна. Но это, надеюсь, только на первый взгляд.

Осознавая себя как художник, я опять говорю как бы общим словом. Но — да подтвердит верность моих формул — действительность.

Во мне самом осталось еще очень много личного. Жизненный переход тянется года, сопряжен с мучи-

* Конец (лат.). — Ред.

тельными возвращениями. У меня есть и честолюбие, и чувственность; это, вероятно, главное из оставшегося — и дольше всего будет. Но уже на *первых планах* души образуются некие новые группировки мыслей, ощущений, отношений к миру. Да поможет мне бог перейти пустыню; органически ввести новое, общее в то, органическое же, индивидуальное, что составляет содержание первых моих четырех книг.

13 июня

Зап. книжка

Звонил Маяковский. Он жаловался на московских поэтов и говорил, что очень уж много страшного написал про войну, надо бы проверить, говорят, там не так страшно. Все это — с обычной ужимкой, но за ней — кажется, подлинное (то же, как мне до сих пор казалось).

28 июня⁶

Зап. книжка

Мои действительные друзья: Женя (Иванов), А. В. Гиппиус, Пяст (Пестовский), Зоргенфрей.

Приятели мои добрые: Княжнин (Ивойлов), Верховский, Ге.

Близь души: А. Белый (Бугаев), З. Н. Гиппиус, П. С. Соловьева, Александра Н^иколаевна Чеботаревская.

Запомнились: Купреянов — будет художник, Милич — добрая девушка.

Каталог книг (петербургских имеется). Чего не хватает (взято читать) — записано в записной книжке (дела этого года).

Несмотря на то (или именно благодаря тому), что я «осознал» себя *художником*, я не часто и довольно тупо обливаюсь слезами над вымыслом и упиваюсь гармонией.⁷ Свежесть уже не та, не первоначальная.

С «литературой» связи я не имею и горжусь этим. То, что я сделал подлинного, сделано мною *независимо*, т. е. я зависел только от неслучайного.

Лучшими остаются «Стихи о Прекрасной Даме». Время не должно тронуть их, как бы я ни был слаб как художник.

В «Театре» — лишнее: «Теофиль» и весьма сомнителен «Король на площади». Примечаний к «Розе и Кресту» не надо.

Цикл «Кармен» должен заканчиваться стихотворением «Что же ты потупилась».

Том статей собирать не стоит. Лучшая статья — о символизме.⁸ Но все — не кончено, книги не выйдет, круг не замкнут.

Поэма⁹ остается неконченной. Техника того, что написано последним, слабовата уже.

Драма о фабричном возрождении России, к которой я подхожу уже несколько лет,¹⁰ но для которой понадобилось бы еще много подступов (даже исторических), — завещается кому-нибудь другому — только не либералу и не консерватору, а такому же, как я, неприкаянному.

Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряженного с ней — есть *хамство*. Оно подстерегало меня с гимназических времен,¹¹ и вот — подступило к горлу. Запаха солдатской шинели — не следует переносить. Если говорить дальше, то эта бессмысленная война ничем не кончится. Она, как всякое хамство, безначальна и бесконечна, без-образна.

1 июля

Зап. книжка

Пишу маме. Судьба моя вполне неопределенна. Я готов на все уже; но мне еще не легко. Одиночество — больше, чем когда-нибудь. Все-таки им уловить меня не удастся, я найду способ от них избавиться.

Написал — и как будто легче. Гордость растет. <...>

Ночью: из комнаты Любы до меня доносится: «Что тебе за охота мучить меня?..» Я иду с надеждой, что она — сама с собой обо мне. Оказывается — роль.

Безвыходно все для меня. Устал, довольно.

7 июля

Зап. книжка

Я: 1) призван; 2) зачислен в 13-ю инженерно-строительную дружину табельщиком.

14 апреля
 〈Москва〉
 Зап. книжка

Начало жизни?

Выезд из дружины в ночь на 17 марта. Встреча с Любой в революционном Петербурге.〈...〉

Я — «одичал»: физически (обманчиво) крепок, нравственно расшатан (нейрастения — д-р Каннабих). Мне надо заниматься *своим делом*, надо быть внутренне свободным, иметь время и средства для того, чтобы быть художником. Бестолочь дружины (я не имею права особенно хулить ее, потому что сам участвовал в ней), ненужность ее для государства.

Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей *слабой силой*) я художник, т. е. свидетель. Нужен ли художник демократии?

〈17 апреля〉
 Зап. книжка

Станиславский — действительный художник, может быть, *единственный в Художественном театре великий*.

Пускай себе еще повоюют. Каждый лишний день войны уносит культуру. Когда эти тупицы очнутся, тогда они, всегда ненавидевшие культуру, заметят, что чего-то не хватает. Будут жалеть, что «кончилась война» (этим объясняя). На самом деле им просто не будет оттенения, потому что и мы станем, как они: пошляками.

Сегодня вечером (скоро вот уже) еду в Петербург. В «начало жизни» я почти не верю. Поздно.

18 апреля (1 мая)

Зап. книжка

Ехать так, как я сейчас еду, — в первый день Интернационала, в год близкого голода, через полтора месяца <после> * падения самодержавия! — Да я бы на их месте выгнал всех нас и повесил. Международный вагон, I класс, в купе четверо (французский инженер, русский инженер, кто-то и я)! Я провалялся до 11-го часа. Солнце, снег временами.

С французом мы много говорили; беспощадная европейская логика: Ленин подкуплен, воевать четвертую зиму, французские социалисты сговариваются с нашими и довольны ими. Одно преимущество: тоже понимает, что что-то тонкое гибнет: придется издать более мягкие законы для тех, кто вернется с фронтов. Друзья, пробывшие два года на войне, говорят ему: «*Ma vie est brisée...*» ** Ага, одичали! — Война внутренне окончена. Когда же внешне? О, как мне тяжело.

22 апреля

Зап. книжка

Все будет хорошо. Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дожидаться.

Ал. Блок. 22.IV. 1917

«Пишете ли вы или нет? — Он пишет. — Он не пишет. Он не может писать».

Отстаньте. Что вы называете «писать»? Мазать чернилами по бумаге? — Это умеют делать все заведующие отделами 13-й дружины. Почему вы знаете, пишу я или нет? Я и сам это не всегда знаю.

29 апреля

Зап. книжка

Весь день я читал свои книги (хорошие книги) и гулял.

* Добавлено по смыслу предложения. — Ред.

** Моя жизнь разбита (фр.). — Ред.

30 апреля
Зап. книжка

〈ЧЕРНОВИК ПИСЬМА К М. И. ТЕРЕЩЕНКО〉¹

Михаил Иванович.

Моя служба в 13-й инженерно-строительной дружине противна мне своей неопределенностью и бесполезностью. Срок отпуска истек, меня вызывают и грозят откомандированием. Быть рядовым я не сумею, идти в военное училище, кажется, поздно, да вряд ли из меня выйдет полезный офицер. [Помогите мне найти выход из этого положения. Если я вообще нужен, то, вероятно, можно найти какое-нибудь применение и моим силам сейчас, пока не кончена война: силам не моим, собственно, а силам ратника II разряда 1902 года Блока.]

Выполнять свое назначение в таком положении я не могу, так как я военнообязанный и не хочу укрываться. Если найдете возможным, прошу Вас помочь мне делом или советом найти выход из моего положения.

Внимательное чтение моих книг и поэмы вчера и сегодня убеждает меня в том, что я стоящий сочинитель.

1 мая
Зап. книжка

Мы (весь мир) страшно изолгались. Нужно нечто совершенно новое.

5 мая
Зап. книжка

В маминном письме — рецензия «Возмездия» из «Новой жизни» (первый отзыв, который я прочел в свободной России, — меня радует, называют поэму «общественной»).² Газета, конечно, сомнительная — не чисто демократическая, но я буду читать ее, а никак не «Речь».

Терещенко не отвечает,³ тут есть и то, что он *не хочет*. Я обратился к нему не потому, что он высокая инстанция, а потому что я его люблю и он по отношению ко мне был всегда жестоко-честен. Но если он не хочет, я не отступлюсь от своего «дезертирства»: я семь месяцев валял дурака. Если меня спросят, «что я делал во время великой войны», я смогу, однако, ответить, что я делал дело: редактировал Ап. Григорьева, ставил «Розу и Крест» и писал «Возмездие».

6 мая

Зап. книжка

Днем телефон от Идельсона. Вторично предлагает быть редактором матерьялов Чрезвычайной следственной комиссии.⁴

7 мая

Зап. книжка

По инструкции, комиссия представляет результаты своих трудов Временному правительству. Идельсон осветил мне положение комиссии, после чего мы поехали в Зимний дворец, где я познакомился с Муравьевым (Николаем Константиновичем). Потом мы обошли много зал. Большая часть — под лазаретом. Самое сильное впечатление производит тронный зал, хотя вся материя со ступеней содрана, а самый трон убран, потому что солдаты хотели его сломать.

12 мая

Петропавловская крепость

Зап. книжка

Солдат с ружьем сидит на стуле, брови сдвинуты, лицо желтое. — Комната, где допрашивали декабристов.

15 мая

Зап. книжка

Во 2-м часу в Зимнем дворце начался допрос Горемыкина. В перерыве — разговор с Неведомским. По-

том — поехали в крепость, где до 7¹/₂ допрашивался второй раз Белецкий. Все это обыкновенно (уже), странно и жутко. Вечером я бродил, бродил. Белая ночь, женщины. Мне уютно в этой мрачной и одинокой бездне, которой имя — Петербург 17 года, Россия 17 года. Куда ты несешься, жизнь? От дня, от белой ночи — возбуждение, как от вина.

16 мая

Зап. книжка

Разбудил меня звонок Сологуба, который просил принять участие в однодневной газете для популяризации Займа Свободы и посетить сегодня литературную курию в Академии художеств. То и другое мне кажется ненужным и не требующимся с меня, как и с него, а говорил он все это тем же своим *прежним* голосом, так что мне показалось, что он изолгался окончательно и даже Революция его не вразумила.

Открыл газеты («Новую жизнь» прежде всего), — они жгутся (полиция или милиция, цели войны, Донецкий бассейн, речь Керенского).

17 мая

Петропавловская крепость

Зап. книжка

〈...〉 Дело Бейлиса. 〈...〉

Нет, я был прав, когда подписывал воззвание за Бейлиса и писал заметку о том, что рад оправдательному приговору.⁵ Сам Белецкий признает, сколько там было натяжек, т. е. грязи.

20 мая

Зап. книжка

Вечер — ясный, где-то за городом, к взморью, большой дым. Как-то тревожно все, неблагополучно, и нежелательные мелочи на улицах. Как мне в такие дни нужна Люба, как давно ее нет со мной. Пожить бы с ней; так, как я, ее все-таки никто не оценит — все вели-

чие ее чистоты, ее ум, ее наружность, ее простоту. А те мелкие наследственные (от матери) дрянные черты — бог с ними. Она всегда будет сиять.

21 мая

Троицын день и воскресенье

Зап. книжка

Отдыхая от службы перед обедом, я стал разбирать (чуть не в первый раз) ящик, где похоронена Л. А. Дельмас. Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было счастья («счастья», да) с этой женщиной. Слов от нее почти не останется. Останется эта груда лепестков, всяких сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резеды, каких-то больших лепестков и листьев. Все это шелестит под руками. Я сжег некоторые записки, которые не любил, когда получал; но сколько осталось. И какие пленительные есть слова и фразы среди груды вздора. Шпильки, ленты, цветы, слова. И все на свете проходит. Как она плакала на днях ночью, и как на одну минуту я опять потянулся к ней, потянулся жестоко, увидев искру прежней юности на лице, молодеющем от белой ночи и страсти. И это мое жестокое (потому что минутное) старое волнение вызвало только ее слезы <...> Бедная, она была со мной счастлива. Разноцветные ленты, красные, розовые, голубые, желтые, розы, колосья ячменя, медные, режущие, чуткие вслосы, ленты, колосья, шпильки, вербы, розы.

Никого нельзя судить. Человек в горе и в унижении становится ребенком. Вспомни Вырубову, она врет по-детски, а как любил ее кто-нибудь. Вспомни, как по-детски посмотрел Протопопов на Муравьева — снизу вверх, как *виноватый мальчишка*, когда ему сказали: «Вы, Александр Дмитриевич, попали в очень сложное историческое движение». Он кивнул: «Совершенно верно». И посмотрел снизу вверх: никогда не забуду. Вспомни, как Воейков на вопрос, есть ли у него защит-

ник (по какому-то коммерческому иску к нему), опять виновато по-детски взглянул и сказал жалобно: «Да у меня никого нет».

Сердце, обливайся слезами жалости ко всему, и помни, что никого нельзя судить; вспомни еще, что говорил в камере Климович и как он это говорил; как плакал старый Кафафов; как плакал на допросе Белецкий, что ему стыдно своих детей.

Вспоминай еще — больше, больше, плачь больше, душа очистится.

22 мая

Духов день

Зап. книжка

Что-то нервы притупились от виденного и слышанного. Опускаюсь — и сейчас же поднимается этот сидящий во мне Р(аспутин). Конечно уж, в Духов день. Все, все они — живые и убитые дети моего века — сидят во мне. Сколько, сколько их!

23 мая

Зап. книжка

После обеда — очарование Лесного парка, той дороги, где когда-то под зимним лиловым небом, пророчащим мятежи и кровь, мы шли с милой — уже невеста и жених.

25 мая

Дневник

Старая русская власть делилась на безответственную и ответственную.

Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом.

Такой порядок требовал людей верующих (вера в помазание, мужественных (нераздвоенных) и честных (аксиомы нравственности). С непомерным же развитием России вглубь и вширь он требовал еще — все повелительнее — гениальности.

Всех этих свойств давно уже не было у носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы. Все это продолжалось много лет. Последние годы, по признанию самих носителей власти, они были уже совершенно растеряны. Однако равновесие не нарушалось. Безвластие сверху уравнивалось равнодушием снизу. Русская власть находила опору в исконных чертах народа. Отрицанию отвечало отрицание. Так как опора была только отрицательною, то, для того, чтобы вывести из равновесия положение, надо было ждать толчка. Толчок этот, по громадности России, должен был быть очень силен. Таковым оказалась война 1914 — 1917 года. Надо помнить, однако, что старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской души, на свойства, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, в кругах гораздо более широких (и полностью или частями), чем принято думать; чем полагается думать «по-революционному». «Революционный народ» — понятие не вполне реальное. Не мог сразу сделаться революционным тот народ, для которого, в большинстве, крушение власти оказалось неожиданностью и «чудом»; скорее, просто неожиданностью, как крушение поезда ночью, как обвал моста под ногами, как падение дома.

Революция предполагает волю; было ли действие воли? Было со стороны небольшой кучки лиц. Не знаю, была ли революция?

Все это — в миноре.

Зам. книжка

Утром в Зимнем дворце обсуждали мы составление отчета о деятельности комиссии (предварительное совещание). Я читал телеграммы царя и царицы — взаимно любящие. За завтраком во дворце комендант Царско-сельского дворца рассказывал подробности жизни царской семьи. Я вывел из этого рассказа, простого и интересного, что трагедия еще не началась; она или вовсе не начнется, или будет ужасна, когда они встанут лицом к лицу с разъяренным народом (не скажу — с «большевиками», потому что это неверное название; это — группа, действующая на поверхности, за ней скрывается многое, что еще не проявилось).

26 мая

Зан. книжка

Перед сном — немного занятий. Горемыкин — опять вхожу в стиль. Я вхожу в него, а на улице — не то взрывы, не то выстрелы, близко и далеко (и так часто), вечный хохот, праздное шатанье, гиканье, семячки, плавание на лодках с барышнями и всякий такой большевизм, верх неблагополучия, в ужас приводящий старух и «и. и.» (партия «испуганных интеллигентов»). Никакого вообще покою и никаких правил нет.

Положение: завтра я опять буду рассматривать этих людей. Я вижу их в горе и унижении, я не видал их — в «недосягаемости», в «блеске власти». К ним надо отнестись с величайшей пристальностью, в сознании *страшной* ответственности. Этого сознания нет у некоторых молодых евреев, находящихся в комиссии, что и понятно: для них это — чужое, непонятное. Они шутят с этим делом, иные тонко и глубоко, как Идельсон, иные очень плоско, как П. Тагер (другой — гораздо лучше и серьезнее).

Если даже не было революции, т. е. то, что было, не было революцией, если революционный народ действительно только расселся у того же пирога, у которого сидела бюрократия, то это только углубляет русскую трагедию.

Чего вы от жизни ждете? Того, что, разрушив обветшалое, люди примутся планомерно за постройку нового? Так бывает только в газете или у Кареева в историн, а люди — создания живые и чудесные прежде всего.

27 мая

Зан. книжка

Утро в Петропавловской крепости. Перед крепостью — заграница. Краски, тени. Собор, Сторожевые посты. Ангел на шпигле из окна приемной Трубецкого бастиона. Куранты играют десять.

28 мая

Зап. книжка

⟨...⟩ я написал письмо Любе; очень нехорошее письмо, нехорошее — моей милой. Не умею писать ей. Никогда не умел ее любить. А люблю.

*Впечатления от выборов:*⁶

Звоночек — голос барышни: передайте Ал. Блоку. Это принесли *кадетскую* рекламу.

Толпы народа на углах, повышение голоса, двое в середине наскикивают друг на друга, кругом поплевывают и посмеиваются. Это — *большевики* агитируют.

Идет по улице большой серый грузовик, на нем стоят суровые рабочие и матросы под красным знаменем «Р. С. Д. П.» (золотом). Или — такой же разукрашенный, на нем солдаты, матросы, офицеры, женщины, одушевленные, красивые. Это — *социалистический блок*.

Я думал много и опустил в урну список № 3 (с.-р. с меньшевиками). Узнав об этом, швейцар остался доволен. Кажется, и я поступил справедливо.

Жить — так жить. И надо о них, бедных и могучих, всегда помнить.

Ночь на 1 июня

Дневник

Труд — это написано на красном знамени революции. Труд — священный труд, дающий людям жить, воспитывающий ум и волю и сердце. Откуда же в нем еще проклятие? А оно есть. И на красном знамени написано не только слово труд, написано больше, еще что-то.

4 июня

Дневник

Громовое ура на Неве. Разговор с милой о «Новой Жизни».⁷ Вихрь мыслей и чувств — до слез, до этой постоянной боли в спине.

6 июня
Дневник

Телефон от Марии Филипповны Кокошкиной — о завтрашнем собрании (В. Д. Набоков зовет). О моих стихах. Я говорил о своем «большевизме». ⁸

16 июня
Дневник

Пустые поля, чахлые поросли, плоские — это обывательщина. Распутин — пропасти, а Штюмер (много чести) — плоский выгон, где трава сгладана коровами (овцами?) и ковриги. Только покойный Витте был если не горой, то возвышенностью; с его времени в правительстве этого больше не встречалось: ничего «высокого», все «плоско», а рядом — глубокая трещина (Распутин), куда все и провалилось. <...>

Зал полон народу, сзади курят.⁹ На эстраде — Чхеидзе, Зиновьев (отвратительный), Каменев, Луначарский. На том месте, где всегда торчал царский портрет, — очень красивые красные ленты (они — на всех стенах и на люстрах) и рисунок двух фигур: одной — воинственной, а другой — более мирной, и надпись — через поле — С<гезд> С<оветов> Р<абочих> и С<олдатских> Д<епутатов>. <...>

Потом я долго сидел в столовой, пил чай (черный хлеб и белые кружки) и говорил с молодым преображенским солдатом, который хорошо, просто и доверчиво рассказал мне о боевой жизни, наступлении, окопах, секретах, лисьих норах; как перед наступлением меняется лицо (у соседа — синее), как потом надо владеть собой, как падают рядом и как это странно (только что говорил с человеком, а уж он — убит). Что он хотел «приключений» и с радостью пошел, и как потом приключений не вышло, а трудно (6 часов в секрете на 20-градусном морозе). И еще — о земле, конечно; о помещиках Ряжского уезда, как барин у крестьянина жёну купил, как помещичьи черкесы загоняли скотину за поправу, о чересполосице, хлебе, сахаре и прочем. Хорошо очень.

18 июня

Дневник

Перед окнами — жаркая праздничная пустота, а утром — собрались рабочие Франко-русского завода под знаменем с надписями: «Долой контрреволюцию», «Вся власть в руки Советов Солдатских и Рабочих Депутатов».

Ключевский 4-м периодом русской истории считает период с начала XVII века до начала царствования Александра II (1613 — 1855).¹⁰ (Вот, вот — реализм, научность моей поэмы,¹¹ моих мыслей с 1909 года!) Мы в феврале 1917 года заключили 5-й период (три огромных царствования) и вступаем в шестой (переходный). Итак, и 5-й период уже доступен нашему изучению «на всем своем протяжении».

Рубежом 3—4-го периодов была эпоха самозванцев — вспомним. NB. Да будет 41-я лекция Ключевского нашей настольной книгой — для русских людей как можно большего круга.

19 июня

Дневник

Ненависть к интеллигенции и прочему, одиночество. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво и спокойно *оберегается ВСЕМ* революционным народом.

Какое *право* имеем мы (мозг страны) нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий революционный народ?

Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь еще раз, если нас перережут, во имя *ПОРЯДКА*.¹²

«Нервы» оправдались отчасти. Когда я вечером вышел на улицу, оказалось, что началось наступление, наши прорвали фронт и взяли 9000 пленных, а «Новое время», рот которого до сих пор не зажат (страшное русское добродушие!), обливает в своей вечерке русские войска грязью своих похвал. Обливает Керенского помоями своего восхищения. Улица возбуждена немного. В первый раз за время Революции появились какие-то верховые солдаты, с красными шнурками, осаживающие кучки людей крупом лошади.

20 июня
Зимний дворец
Зап. книжка

Комиссия в самом определении своем носит понятие чрезвычайности. Потому и отчет ее должен быть чрезвычайным. Он должен соединить в себе деловую точку зрения с революционным призывом. Отчет, пользующийся тщательно проверенным матерьялом, добытым в течение работы комиссии, должен быть проникнут весь с начала до конца русским революционным пафосом, который отражал бы в себе всю тревогу, все надежды и весь величавый романтизм наших дней.

Простым «деловым» отчетом комиссия не отчитается перед народом, который ждет от всякого нового Революционного учреждения новых слов. Нельзя забывать, что Демократия опоясана бурей.¹³

23 июня
Дневник

В нашей редакционной комиссии революционный дух не присутствовал. Революция там не ночевала. С другой стороны, в городе откровенно поднимают голову юнкера — ударники, имперьялисты, буржуа, биржевики, «Вечернее время». Неужели? Опять — в ночь, в ужас, в отчаянье?

3 июля
Дневник

⟨...⟩ на улице говорят: «Долой Временное правительство», хвалят Ленина. Через Николаевский мост идут рабочие и Финляндский полк под командой офицеров, с плакатами: «Долой Временное правительство». Стреляют (будто бы пулеметы). Также идет Московский полк и пулеметная рота (рассказывают на улице). Я слышу где-то далеко «ура». На дворе — тоскливые обрывки сплетен прислуг. Не спит город.

4 июля
Дневник

Сейчас (пока я пишу это) на улице выстрел. По городу носятся автомобили, набитые солдатами, торчат штыки. <...>

Один автомобиль был очень красив сегодня (маленький, несется, огромное красное знамя, и сзади пулемет). Много пулеметов на грузовиках. Красные плакаты. <...>

Как я устал от государства, от его бедных перспектив, от этого отбывания воинской повинности в разных видах. Неужели долго или никогда уже не вернуться к искусству?

8 июля
Дневник

Всякая мысль прочна и завоевательна только тогда, когда верна основная схема ее, когда в ее основании разумеется чертеж сухой и единственно возможный. При нахождении чертежа нельзя не руководствоваться вековой академической традицией, здравым и, так сказать, естественным разумом.

Что мыслится прежде всего, когда думаешь о докладе высокого государственного учреждения — Следственной комиссии, долженствующей вынести приговор старому 300-летнему режиму, — учреждению еще более высокому — Учредительному собранию нового режима?

Мыслится русская речь, немногословная, спокойная, важная, веская, понятная <...> Таковую речь поймет народ (напрасно думать, что народ не поймет чего-нибудь настоящего, верного), а популяризации — не поймет.

Всякая популяризация, всякое оригинальничанье, всякое приспособление заранее лишает мысль ее творческого веса, разжижает ее, делает шаткой, студенистой. *Saveant Academia, ne quid ratio detrimenti capiat.**¹⁴

Найденный верно чертеж можно спокойно вручить для разработки всяким настоящим рабочим рукам.

* Будь на страже, Академия, да не потерпит разум в чем-либо ущерба (лат.). — Ред.

Лучше — талантливый; но личных талантов бог не требует. Он требует верности, добросовестности и честности. Если будет работать талант, *обладающий этими качествами* (и, кроме того, в данном случае, государственным умом), то он сумеет вырастить на сухих прутьях благоухающие свежие и красные цветы Демократии. («Талантик» только нагадит.) Если не будет таланта, чертеж останется верным, а Народ примет милостиво и простой и честный рабочий труд.

Нельзя оскорблять никакой народ приспособлением, популяризацией. Вульгаризация не есть демократизация. Со временем Народ все оценит и произнесет свой суд, жестокий и холодный, над всеми, кто считал его ниже его, кто не только из личной корысти, но и из своего <...> интеллигентского недомыслия хотел к нему «спуститься». Народ — наверху; кто спускается, тот проваливается. <...>

Это — моя мысль (после ванны), все еще засоряющаяся злостью. Ее надо очистить, заострить и пустить оперенной стрелой, она — коренная и хорошая.

Прелесть закатного неба, много аэропланов в вышине, за граница на Карповке,¹⁵ грусть воспоминаний в Ботаническом саду и около казармы, наши окна с Любой.¹⁶

12 июля

Дневник

«Отделение» Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за «Великую Россию». Вчера мне пришлось высказать Ольденбургу, что, в сущности, национализм, даже кадетизм — мое по крови, и что стыдно любить «свое» <...>

Если распылится Россия? Распылится ли и весь «старый мир» и замкнется исторический процесс, уступая место новому (или — иному); или Россия будет «служанкой» сильных государственных организмов? <...>

На фронте, по-видимому, очень неблагоприятно, и на западном, судя по сегодняшнему сообщению. Я по-прежнему «не могу выбрать». Для выбора нужно действие воли. Опоры для нее я могу искать только в небе, но небо — сейчас пустое для меня (вся моя

жизнь под этим углом, и как это случилось). То есть, утвердив себя как художника, я поплатился тем, что узаконил, констатировал *середину* жизни — «пустую» (естественно), потому что — слишком полную содержанием преходящим. Это — еще не «мастер» (Мастер).

13 июля

Дневник

Я никогда не возьму в руки власть, я никогда не пойду в партию, никогда не сделаю выбора, мне нечем гордиться, я ничего не понимаю.

Я могу шептать, а иногда — кричать: оставьте в покое, не мое дело, как за революцией наступает реакция, как люди, не умеющие жить, утратившие вкус жизни, сначала уступают, потом пугаются, потом начинают пугать и запугивают людей, еще не потерявших вкуса, еще не «живших» «цивилизацией», которым страшно хочется пожить, как богатые.

Поезд Приморской ж. д.

в Озерки

Зап. книжка.

Буржуем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы и духовные. Накопление духовных ценностей предполагает предшествующее ему накопление материальных. Это — «происхождение» догмата, но скоро вопрос о γένεσις^е, * как ему и свойственно, выпадает, и первая формула остается как догмат.

Этот догмат воскресает во всякой революции, под влиянием напряжения и обострения всех свойств души. Его явление знаменует собой высокий подъем, взлет доски качелей, когда она вот-вот перевернется вокруг верхней перекладины. Пока доска не перевернулась, это минута, захватывающая дух, если она перевернулась — это уже гибель. Потому догмат о буржуа есть один из самых крайних и страшных в революции — ее высшее напряжение, когда она готова погубить самую себя.

* Генеэисе (греч.). — Ред.

Задача всякого временного правительства — удерживая качели от перевертывания, следить, однако, за тем, чтобы размах не уменьшался. То есть довести закатовавшую страну до того места, где она найдет нужным избрать оседлость, и вести ее все время по краю пропасти, не давая ни упасть в пропасть, ни отступить на безопасную и необрывистую дорогу, где страна затоскует в пути и где Дух Революции отлетит от нее.

Римская скамья в пустом Шуваловском парке, после купанья (обожжен водой).

Ложь, что мысли повторяются. Каждая мысль нова, потому что ее окружает и оформливает новое. «Чтоб он, воскреснув, встать не мог» (моя),¹⁷ «Чтоб встать он из гроба не мог» (Лермонтов,¹⁸ сейчас вспомнил) — совершенно разные мысли. Общее в них — «содержание», что только доказывает лишний раз, что бесформенное содержание, само по себе, не существует, не имеет веса. Бог есть форма, дышит только наполненное сокровенной формой.

14 июля

Дневник

Вы меня упрекаете в аристократизме? Но аристократ ближе к демократу, чем средний «буржуа». <...>

Занятие А. Н. Хвостовым (толстым): противно и интересно вместе. Вот придворные помои, гнусные сенсации, жизнь подонков общества во всей ее наготе.

16 июля

Дневник

Как всегда бывает, после нескольких месяцев пребывания напряженного в одной полосе, я притупился, перестал расчленять, события пестрят в глазах, противоречивы; т. е. это утрата некоторая пафоса, в данном случае революционного. Я уже не могу бунтовать против кадет и почитываю прежде непонятное в «Русской свободе». Это временно, надеюсь. Я ведь люблю кадет

по крови, я ниже их во многом (в морали, прежде всего, в культурности потом), но мне стыдно было бы быть с ними.

23 июля

Дневник

Между прочим: юнкера Николаевского кавалерийского училища с офицерами пили за здоровье царя.

Отчего же после этого хулить большевиков, ужасаться перед нашим отступлением, перед дороговизной, и пр., и пр., и пр.? Ничтожная кучка хамья может провонять на всю Россию.

Боже, боже, — ночь холодная, как могила. Швейцар сегодня рассказывал мне хорошо об офицерском хамстве. Вот откуда идет «разложение армии». Чего же после этого ждать?

24 июля

Дневник

Что же? В России все опять черно и будет чернее прежнего?

27 июля

Дневник

Записывая все эти мелочи, доступные моему наблюдению, я, однако, записываю, как «повернулась история». Я хочу подчеркнуть, как это заметно *даже* в мелочах (не говоря о крупном).¹⁹

И все-таки, при всей напряженности, думаешь минутами постоянное: «Хорошо бы заняться серьезным делом — искусством». «Давно, лукавый раб...»²⁰

Что это в Шуваловском парке? Молодость, невеста, белая лошадь, вечерние тени, скамья в лощине.

28 июля

Дневник

Что же, действительно все так ужасно или... Погубила себя революция?

3 августа

Дневник

Происходит ужасное: смертная казнь на фронте, организация боеспособности, казаки, цензура, запрещение собраний. Это — общие слова, которые тысячью drobных фактов во всем населении и в каждой душе *пылят*. Я пошел в «Лигу русской культуры», я буду читать «Русскую волю» (попробую; у «социалистов» уже не хватает информации, они вышли из центра и не захватывают тех областей, в которых уверенно и спокойно ориентируются уже «буржуа»; «их» день), я, как всякий, тоже — игрушка истории, обыватель. Но какой полынью, болью до сладости все это ложится на наши измученные войной души! Пылью усталости, вот этой душевной гарью тянет, голова болит, клонится. <...>

Еще темнее мрак жизни вседневной, как после яркой...²¹ «Трудно дышать тому, кто раз вздохнул воздухом свободы».²² А гарь такая, что, по-видимому, вокруг всего города горит торф, кусты, деревья. И никто не тушит. Потушит дождь и зима.

6 августа

Дневник

Между двух снов:

— Спасайте, спасайте!

— Что спасать?

— «Россию», «Родину», «Отечество», не знаю, что и как назвать, чтобы не стало больно и горько и стыдно перед бедными, озлобленными, темными, обиженными!

Но — спасайте! Желто-бурые клубы дыма уже подходят к деревням, широкими полосами вспыхивают кусты и травы, а дождя бог не посылает, и хлеба нет, и то, что есть, сгорит.

Такие же желто-бурые клубы, за которыми тление и горение (как под Парголовым и Шуваловым, отчего по ночам весь город всегда окутан гарью), стелются в миллионах душ, пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести — то там, то здесь вспыхивает; русский большевизм гуляет, а дождя нет, и бог не посылает его!

Боже, в какой мы страшной зависимости от Твоего

хлеба! Мы не боролись с Тобой, наше «древнее благочестие» надолго заслонило от нас промышленный путь; Твой Промысл был для нас больше нашего промысла. Но шли годы, и мы развратились иначе, мы остались безвольными, и вот теперь мы забыли и Твой Промысл, а своего промысла у нас по-прежнему нет, и мы зависим от колосьев, которые Ты можешь смять грозой, истоптать засухой и сжечь. Грозный Лик Твой, такой, как на древней иконе, теперь неумолим перед нами!²³

7 августа, проснувшись

Дневник

И вот задача русской культуры — направить этот огонь на то, что нужно сжечь; буйство Стеньки и Емельки превратить в волевою музыкальную волну; поставить разрушению такие преграды, которые не ослабят напора огня, но организуют этот напор; организовать буйную волю; ленивое тление, в котором тоже таится возможность вспышки буйства, направить в распутиные углы души и там раздуть его в костер до неба, чтобы сгорела хитрая, ленивая, рабская похоть. — Один из способов организации — промышленность («грубость», лапидарность, жестокость первоначальных способов).

12 августа

Дневник

Ночь (на воскресенье) производит впечатление рабочих, городской шум еще не улегся, гудки, горят фонари над заводами. А мерцающие вспышки, желтые, а иногда бледные, охватывающие иногда большую полосу неба, продолжают, и мне начинает казаться, что за городским гулом я слышу еще какой-то гул.

15 августа

Дневник

Едва моя невеста стала моей женой, лиловые ми-

ры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я первый, как давно тайно хотевший гибели,²⁴ вовлекся в серый пурпур, серебряные звезды, перламутры и аметисты метели. За мной последовала моя жена, для которой этот переход (от тяжелого к легкому, от недозволенного к дозволенному) был мучителен, труднее, чем мне. За миновавшей выюгой открылась железная пустота дня, продолжавшего, однако, грозить новой выюгой, таить в себе обещания ее. Таковы были междуреволюционные годы, утомившие и истрепавшие душу и тело. Теперь — опять налетевший шквал (цвета и запаха еще определить не могу).

21 августа

Дневник

На улицах возбуждение (на углах кучки, в трамвае дамы разводят панику, всюду говорится, что немцы придут сюда, слышны голоса: «Все равно голодная смерть»). К вечеру, как будто, возбуждение улеглось на улице (но воображаю, как работает телефон!); потому что пошел тихий дождь.

24 августа

Дневник

Резкий ветер, холодно, испанский закат, но черная, пустынная, железная ночь.

28 августа

Дневник

Экстренные выпуски газет о Корниловском заговоре. <...>

Слух, что Корнилов идет на Петербург.

Свежая, ветряная, то с ярким солнцем, то с грозой и ливнем, погода обличает новый взмах крыльев революции.

29 августа

Дневник

Безделье и гулянье по Невскому — настроение улиц, кронштадтцы.

Если бы исторические события не были так крупны, было бы очень заметно событие сегодняшнего дня, которое заставляет меня решительно видеть будущее во Временном правительстве и мрачное прошлое — в генерале Корнилове и прочих. Событие это — закрытие газеты «Новое время». Если бы не всё, надо бы устроить праздник по этому поводу. Я бы выслал еще всех Сувориных, разобрал бы типографию, а здание в Эртелевом переулке опечатал и приставил к нему комиссара: это — второй департамент полиции, и я боюсь, что им удастся стибрить бумаги, имеющие большое значение.

15 октября

Дневник

Два телефона с З. Н. Гиппиус (и Мережковским). Я отказался от савинковской газеты («Час»).²⁵

19 октября

Дневник

Вчера — в Совете рабочих и солдатских депутатов произошел крупный раскол среди большевиков. Зиновьев, Троцкий и пр. считали, что выступление 20-го нужно, каковы бы ни были его результаты, и смотрели на эти результаты пессимистически. *Один только Ленин* верит, что захват власти демократией действительно ликвидирует войну и наладит все в стране.²⁶

Таким образом, те и другие — сторонники выступления, но одни — с отчаянья, а Ленин — с предвиденьем доброго.

3 января

Зап. книжка

На улицах плакаты — все на улицу 5 января (под расстрел?).¹ — К вечеру — ураган (неизменный спутник переворотов). — Весь вечер у меня *Есенин*.²

4 января

Дневник

О чем вчера говорил Есенин (у меня).

Кольцов — старший брат (его уж очень вымуштровали, Белинский не давал свободы), Клюев — средний — «и так и сяк» (изограф, слова собирает), а я — младший (слова дороги — только «проткнутые яйца»).

Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия).

(Интеллигент) — как птица в клетке; к нему протягивается рука здоровая, жилистая (народ); он бьется, кричит от страха. А его возьмут... и выпустят (жест наверх; вообще — напев А. Белого — при чтении стихов и в жестах, и в разговоре).

Вы — западник.

Щит между людьми. Революция должна снять эти щиты. Я не чувствую щита между нами.

Из богатой старообрядческой крестьянской семьи — рязанец. Клюев в молодости жил в Рязанской губернии несколько лет.

Старообрядчество — связано с текучими сектами (и с хлыстовством). Отсюда — о творчестве (опять ответ на мои мысли — о потоке). Ненависть к православию. Старообрядчество московских купцов — не настоящее, застывшее.

Никогда не нуждался.

Есть всякие (хулиганы), но нельзя в них винить народ.

Люба: «Народ талантливый, но жулик».

Разрушают (церкви, Кремль, которого Есенину не жалко) только из озорства. Я спросил, нет ли таких, которые разрушают во имя высших ценностей. Он говорит, что нет (т. е. моя мысль тут впереди?).

Как разрушают статуи (голая женщина) и как легко от этого отговорить почти всякого (как детей от озорства).

Клюев — черносотенный (как Ремизов). Это — не творчество, а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой; но слово — не предмет и не дерево; это — другая природа, — тут мы общими силами выяснили).

[Ремизов (по словам Разумника) не может слышать о Клюеве — за его революционность.] *

Есенин теперь женат. Привыкает к собственности. Служить не хочет (мешает свободе).

Образ творчества: схватить, прокусить.

Налимы, видя отражение луны на льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежала на небо. Налиму выплеснуть до луны.

Жадный окунь с плотвой: плотва во рту больше его ростом, он не может проглотить, она уж его тащит за собой, не он ее.³

5 января⁴

Дневник

Любимое занятие интеллигенции — выражать протесты: займут театр, закроют газету, разрушат церковь — протест. Верный признак малокровия: значит, не особенно любили свою газету и свою церковь.

Протестовать против насилия — метафора (бледная немочь).

Ненавидеть интернационализм — не знать и не чувствовать силы национальной.

Ко всему надо как-то иначе, лучше, чище отнестись. О, сволочь, родимая сволочь!

Почему «учредилка»? Потому что — как выбираю я,

* Квадратные скобки в рукописи. — *Ред.*

как все? Втемную выбираем, не понимаем. И почему другой может за меня быть? Я один за себя. Ложь выборная (не говоря о подкупках на выборах, которыми *прогрели* все их американцы и французы).

Надо, чтобы маленькое было село, свой сход, своя церковь (одна, малая, белая), свое кладбище — маленькое. На это — Ольденбург: *великая культура может быть только в великом государстве. Так БЫЛО* всегда. О, это *БЫЛО*, *БЫЛО*, проклятая историческая инерция. А должно ли так быть всегда?

Культура ихняя должна переслоиться.

Инстинктивная ненависть к парламентам, учредительным собраниям и пр. Потому, что, рано или поздно, некий Милюков произнесет: «Законопроект в третьем чтении отвергнут большинством».

Это — ватерклозет, грязный снег, старуха в автомобиле, Мережковский в Таврическом саду, собака подняла ногу на тумбу, m-lle Врангель тренькает на рояле (<...> буржуазная), и все кончено.

«Разочаровались в своем народе» — С. Ф. Платонов (так мне говорила его дочь!) и г-жа Султанова.

«Немецкая демонстрация» (г-н Батюшков Ф. Д.).

Медведь на ухо. Музыка где у вас, тушинцы⁵ проклятые?

Если бы это — банкиры, чиновники, буржуа! А ведь это — интеллигенция!

Или и *духовные ценности* — буржуазны? Ваши — да.

Но «государство» (ваши учредилки) — *НЕ ВСЁ*. Есть еще воздух.

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня!⁶

Чувство неблагополучия (музыкальное чувство, *ЭТИЧЕСКОЕ* — на вашем языке) — где оно у вас?

Как буржуи, дрожите над своим карманом.

В голосе этой барышни за стеной — какая тупость, какая скука: домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают.⁷ Когда она наконец ожеребится? Ходит же туда какой-то корнет.

Ожеребится эта — другая падаля поселится за переборкой, и так же будет выть, в ожидании уланского жеребца.

К черту бы все, к черту! Забыть, *вспомнить другое*.

Аэроплан летает, несмотря на сильный мороз (бомбы или прокламации?). — Мурашов заносил свое — скучное. — Весь день и вечер — тоскую, злюсь, таюсь. — Где-то, кажется, стреляли, а я не знаю и не интересно.

6 января

Зап. книжка

Интеллигенция и революция (χαλεπά τὰ χαλά).^{*8} — К вечеру — циклон. — Слухи о том, что Учредительное собрание разогнали в 5 часов утра. (Оно таки собралось и выбрало председателем Чернова). — Большевики отобрали большую часть газет у толстой старухи на углу. — Легкость, поток идей — весь день.

7 января

Дневник

Для художника — идея народного представительства, как всякое «отвлечение», может быть интересна только по внезапному капризу, а по существу — ненавистна.

Начало (с Любой).⁹ Жара (синее и желтое). Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит. Разговор про то, как всякую рыбу поймать. (Как окуня, как налима.)

Входит Иисус (не мужчина, не женщина). Грешный Иисус.

Красавица Магдалина.

Фома (неверный) — «контролирует». Пришлось уверовать — заставили — и надули (как большевики). Вложил персты — и стал распространителем: а распространять **ЗАСТАВИЛИ** — инквизицию, папство, икающих попов, учредилки.

Андрей (Первозванный) — слоняется (не сидится на месте): был в России (искал необыкновенного).

* Все прекрасное трудно (греч.). — Ред.

Апостолы воровали для Иисуса (вишни, пшеницу). Их стыдили.

Grand style.*

Мать (мати) говорит сыну: неприлично (брак в Кане).

Читать Ренана.¹⁰

Мария и Марфа.

Если бы Люба почитала «Vie de Jesus» и по карте отметила это маленькое место, где он ходил.

А воскресает как?

Загаженность, безотрадность форм, труд.

Χαλέπα τά χαλά.

Иисус — художник. Он все получает от народа (женственная восприимчивость). «Апостол» брякнет, а Иисус разовьет.

Нагорная проповедь — митинг.

Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизили. Правда того, что они улизили (больше ничего и не надо — остальное — судебная комедия).

Большая правда: кто-то остался.

У Иуды — лоб, нос и перья бороды, — как у Троцкого. Жулик (то есть великая нежность в душе, великая требовательность).

«Симон» ссорится с мещанами, обывателями и односельчанами. Уходит к Иисусу. Около Иисуса оказывается уже несколько других (тоже с кем-то поругались и не ладили; бубнят что-то, разговоры недовольных). Между ними Иисус — задумчивый и рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши: что надо, то в художнике застрянет.

Тут же — проститутки.

8 января

Зап. книжка

Весь день — «Двенадцать».¹¹ <...> Внутри дрожит.

* Большой стиль (фр.). — Ред.

9 января
Зап. книжка

Весь вечер пишу. Кончена статья «Интеллигенция и революция», а с ней и вся будущая книжка (7 статей и предисловие) «Россия и интеллигенция — 1907 — 1918». — Выпитость. На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слушал гул, гул: думал, что началось землетрясение. — Завтра — проклятое дежурство (буржуев стеречь).

10 января
Зап. книжка

Двадцать лет я стихи пишу.

11 января
Дневник

«Результат» брестских переговоров¹² (т. е. никакого результата, по словам «Новой жизни», которая на большевиков негодует). Никакого — хорошо-с.

Но позор 3½ лет («война», «патриотизм») надо смыть.

Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним.

Если вы хоть «демократическим миром» не смоее позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит вы уже не арийцы больше. И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток.

Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опоривший себя, так изоглавшийся, — уже не ариец.

Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным человека.¹³

А эволюции, прогрессы, учредилки — стара штука. Яд ваш мы поняли лучше вас. (Ренан.)

Жизнь — безграмотна. Жизнь — правда (Правда). Оболганная, <...>, обо... * но она — Правда — и *колет глаза*, как газета «Правда» на всех углах.

Жизнь не замажешь. То, что замазывает Европа, — замазывает тонко, нежно (Ренан; дух науки; дух образованности; *esprit gaulois*; ** английская комедия), мы (русские профессора, беллетристы, общественные деятели) умеем только размазать серо и грязно, расквасить. Руками своей интеллигенции (пока она столь не музыкальна, она — пушечное мясо, благодарное орудие варварства). Мы выполняем свою историческую миссию (интеллигенция — при этом — чернорабочие, выполняющие черную работу): вскрыть Правду. Последние арийцы — мы.

Правда доступна только для дураков. Калидаса, чтобы стать собой, должен был научиться (легенда), из дурака стать умным. Это — испорченная, я думаю, легенда (какая-нибудь поздняя, книжная).

Все это — под влиянием сегодняшней самодовольной «Новой жизни» (самая европейская газета сейчас; «Речь» давно «отстала». С «Петербургским листком» ведь не поговоришь).

В чем тайна Ренана? Почему не плоски его «плоскости»? — В искусстве: в языке и музыке. Европа (ее тема) — *искусство и смерть*. Россия — жизнь.

14 января
Дисвэнк

Происходит совершенно необыкновенная вещь (как всё): «интеллигенты», люди, проповедовавшие революцию, «пророки революции», оказались ее предателями. Труссы, натравливатели, прихлебатели буржуазной сволочи.

Я долго (слишком долго) относился к литераторам как-то особенно, <полагая>***, что они — отмеченные. Вот моя отвлеченность. Что же, автор «Юлиана»,

* Многогочие в рукописи. — Ред.

** Галльское остроумие (*фр.*). — Ред.

*** Вставлено по смыслу. — Ред.

«Толстого и Достоевского» и пр.¹⁴ теперь ничем не отличается от «Петербургской газеты».

Это простой усталостью не объяснить. На деле вся их революция была кукишем в кармане царскому правительству.

После этого приходится переоценить не только их «Старые годы» (которые, впрочем, никогда уважения не внушали: буржуйчики на готовенькой красоте), но и «Мир искусства», и пр., и пр.

Так это называлось, что они боялись «мракобесия»? Оказывается, они мечтают теперь об учреждении собственного мракобесия на незыблемых началах своей трусости, своих патриотизмов.

Несчастную Россию еще могут продать. (Много того же в народе.)

18 января (вчера)

Дневник

Опять гадость Зимнего дворца (хотя эти комнаты прибранные, с мебелью). Трагичность положения (нам мало).¹⁵ Какая-то грусть — может быть, от неумелости, от интеллигентскости, от разных языков. Что-то и хорошее (доброе).

Это — труд — великий и ответственный. Господа главные интеллигенты не желают идти в труд, а не в «с кондачка».

Вот что я еще понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой. Тут-то и нужна их помощь. Крылья у народа есть, а в умениях и знаниях надо ему помочь. Постепенно это понимается. Но неужели многие «умеющие» так и не пойдут сюда?

22 января

Зап. книжка

Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему: «изменники». Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья¹⁶ «искренняя, но «нельзя» простить».

Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили!

Правда глаза колет.*

23 января

Зап. книжка

Я окончательно отказался дежурить по ночам, т. е. стеречь сон буржуев.

25 января

Зап. книжка

Телефон от Ал. Ник. Чеботаревской (мой фельетон¹⁷ — «бомба», я помогаю тем, кому не следует, «Женитьба Фигаро», французская революционная литература). <...> Думы, думы — и планы, столько, что мешает приняться за что-либо прочно. А свое бы писать (Иисус).¹⁸

26 января

Дневник

Необходимо, однако, записать вчерашний день. <...>

Впечатление от моей статьи («Интеллигенция и революция»):¹⁹ Мережковские прозрачно намекают на будущий бойкот. Сологуб (!) упоминал в своей речи, что А. А. Блок, которого «мы любили», печатает свой фельетон против попов в тот день, когда громят Александро-Невскую лавру (!). В восторге — В. С. Мировлюбов.

В Зимнем дворце (я опоздал). Заседание очень стройное и дельное (в противоположность первому). Председательствует Луначарский, который говорит много, охотно на все отвечает, часто говорит хорошо. <...>

Луначарский, прощаясь, говорит: «Позвольте пожать вашу руку, товарищ Блок». <...>

* Последняя фраза приписана красным карандашом. — *Ред.*

Луначарский хитроват и легкомыслен. Но очень много верного и *неинтеллигентского* (что особенно важно).

27 января
Зап. книжка

«Двенадцать».

28 января
Зап. книжка

«ДВЕНАДЦАТЬ».

29 января
Зап. книжка

Азия и Европа. Я понял Faust'a. «Knurre nicht, Pudel»*²⁰

*Война прекращена, мир не подписан.*²¹

Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь (чтобы заглушить его — призывы к порядку семейному и православию). Штейнер его «регулирует»?

Сегодня я — гений.

17 февраля
Зап. книжка

«Двенадцать» — отделка, интервалы. <...> Люба сочинила строчку: «Шоколад Миньон жрала», вместо ею же уничтоженной: «Юбкой улицу мела».

18 февраля
Зап. книжка

Что Христос идет перед ними — несомненно. Дело не в том, «достойны ли они его», а страшно то,

* Не ворчи, пудель (нем.). — Ред.

что опять. Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого — ? — Я как-то измучен. Или рожаю, или устал.

20 (7) февраля

Дневник

Стало известно, что Совет народных комиссаров согласился подписать мир с Германией.²² Кадеты шевелятся и поднимают головы.

Люба рыдала, прощаясь с Роджерс в «Elevation» (патриотизм и та femme*), — оттого, что оплакивала старый мир. Она говорит: «Я встречаю новый мир, я, может быть, полюблю его». Но она еще не разорвала со старым миром и представила все, что накопили девятнадцать веков.

Да.

Патриотизм — грязь (Alsace-Lorraine = брюхо Франции, каменный уголь).

Религия — грязь (попы и пр.). Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы «не достойны» Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой.

Романтизм — грязь. Все, что *осело* догматами, нежной пылью, *сказочностью* — стало грязью. Остался один *ÉLAN*.**

Только — полет и порыв; лети и рвись, иначе — на всех путях гибель.

Может быть, весь мир (европейский) озлится, испугается и еще прочнее осядет в своей лжи. *Это не будет надолго*. Трудно бороться против «русской заразы», потому что — *Россия заразила уже здоровьем человечество*. Все догматы расшатаны, им не вековать. Движение заразительно.

Лишь тот, кто так любил, как я, имеет право ненавидеть. И мне — быть катакомбой.

Катакомба — звезда, несущаяся в пустом синем эфире, светящаяся.

* Моя жена (фр.). — Ред.

** Полет, порыв (фр.). — Ред.

Совет народных комиссаров согласен подписать мир. Левые с.-р. уйдут из Совета.²³ — В «Знамени труда» — мои «Скифы» со статьей Иванова-Разумника.

21 (8) февраля

Дневник

Немцы продолжают идти.

Барышня за стеной поет. Сволочь подпевает ей (мой родственник).²⁴ Это — слабая тень, последний отголосок ликования буржуазии.

Если так много ужасного сделал в жизни, надо хоть умереть честно и достойно.

15 000 с красными знаменами навстречу немцам под расстрел.²⁵

Ящики с бомбами и винтовками.

Есенин записался в боевую дружину.

Больше уже никакой «реальной политики». Остается лететь.

Настроение лучше многих минут в прошлом, несмотря на то, что вчера меня выпили (на концерте).

«Петербургская газета» — обывательская. Газета нибелунгов (бывшая «Воля народа») сегодня опять кричит об Учредительном собрании.

«Знамя труда» опять не несут (все загулявшие), между тем сегодня ночью левые с.-р. должны были уйти из Совета народных комиссаров, не согласившись на сепаратный мир, подписываемый большевиками.

Сегодняшнее сообщение Совета — туманно и многословно.

Люба звонит в «Бродячую собаку» («Привал комедьянтов») и предлагает исполнять там мои «Двенадцать».

Слух о больших проскрипционных списках у кадет.

Лундберг: «Скифы» соответствуют «Клеветникам России». Случаются повторения в истории.

Зап. книжка

В «Знамени труда» — стихотворение пролетария, посвященное мне (в *рукописи*: А. Блоку и др.; потом «и др.» — зачеркнуто).²⁶

22 февраля

Зап. книжка

Надо писать «Русский бред» (Поп идет по со-
лее. <...> Люба вечером в «Привале комедьянтов».
Сговорилась читать «Двенадцать» в течение месяца за
900 р. («гвоздь программы»).

23 февраля

Зап. книжка

Ц. К. большевиков — за мир (Ленин: «Я устал от
революционных фраз»²⁷). Ц. К. левых с.-р.: большин-
ство 6 против 4 — против мира (после горячих прений).

24 февраля

Зап. книжка

Прогулка. — К ночи — долгие и тревожные гудки
фабрик в разных концах города.

25 февраля

Зап. книжка

Рабочих созывал ночью Ленин.²⁸ Немцы взяли
Псков и в 8-ми часах от Петербурга. Мира, по-видимо-
му, не принимают. — Телефон от Р. В. Иванова. О взя-

тии Пскова было известно еще вчера. Еще сомнительно, придут ли сюда (брать на себя 3 000 000 жителей). Может принять затяжной (длительный) характер. Катастрофа может быть, однако, и завтра.

26 (13) февраля, ночь

Дневник

Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет *буржуа* с семейством (называть его по имени, занятия и пр. — лишнее). Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами — мешки, под брюшком тоже; от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос — тэноришка — раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распоряжается, и пр. Везде он.

Господи боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.

Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, вотно мне, отойди, сатана.

Зап. книжка

Немцы подписали мир, продвигаясь на словах в Эстонии и Украине, на деле — у Полоцка — Витебска. Очевидно, есть опасения за свое нутро. История разжижается, процесс затягивается. Псков — наш, красная гвардия его отбила.

28 февраля

Зап. книжка

Сегодня я потерял крылья, и не верю потому. Опять — ложь на 10 лет. А там — старость, бездарность.

1 марта (16 февраля)

Дневник

Главное — не терять крыльев (присутствия духа).
Страшно хочу мирного труда; но — окрыленного, не проклятого.

Более фаталист, «чем когда-нибудь» (или — как всегда).

Красная армия? Рытье окопов? «Литература»?

Всё новые и новые планы.

Да, у меня есть сокровища, которыми я могу «поделиться» с народом.

Ночью и сегодня. Посошков (яростный реформатор из народа) — через Ап. Григорьева.

Революция — это — я — не один, а мы.

Реакция — одиночество, бездарность, мять глину.

3 марта

Зап. книжка

Телефоны от Мейерхольда (восторги перед «Двенадцатью») и Ал. Ник. Чеботаревской (благодарит за «Двенадцать»).

4 марта (19 февраля)

Дневник

Делается что-то. Быть готовым. Ничего, кроме музыки, не спасет.

Европа *безобразничала* явно почти четыре года (грешила против духа музыки... Развивать не стоит, потому что опять злоба на «войну» отодвинет более важные соображения).

Ясно, что безобразие не может пройти даром. Ясно, что восстановить попранные суверенные права музыки можно было только *изменой* умершему.

9/10 России (того, что мы так называли) действительно уже не существует. Это был больной, давно

гнивший; теперь он издох; но он еще не похоронен; смердит.²⁹ Толстопузые мещане злобно чтут дорогую память трупа (у меня произвольно появляются хорей, значит, может быть, погибну).³⁰

Китай и Япония (будто бы — по немецким и английским газетам) уже при дверях. Таким образом, поругание музыки еще отмстится.

Мир с Германией подписан (вчера или сегодня).³¹ [Не знаю, что это значит и как это отразится на «военных действиях», т. е. прекратятся они, хоть временно, или нет; и, кажется, здесь этого никто не знает. Да и не очень в этом дело.] *

«Восставать», а «не воевать» (левые с.-р.) — трогательно. Но боюсь, что дело и не в этом тоже, потому что философия этого — помирить мораль с музыкой. Но музыка еще не помирится с моралью. Требуется длинный ряд *антиморальный* (чтобы «большевики изменили»), требуется *действительно* похоронить отечество, честь, нравственность, право, патриотизм и прочих покойников, чтобы музыка *согласилась помириться с миром*.

Происходит, кажется, нечто; т. е.: по-видимому, произойдет (по)трясение между тем моментом, который сейчас есть (нерешительность), и будущим влитием желтой крови в белую (для уничтожения всего перечисленного). У Европы — склероз, она не гибка и будет еще истеричничать (гордиться, тыкать в нос желтым свою арийскую кровь, бояться насилия и т. д., т. е. оттягивать, т. е. еще и еще посягать на неминуемо должную восстанавливающую музыку).

Кстати — «Мелос» (статья Вл. В. Гиппиуса)³².

Моя квартира смотрит на запад, из нее много видно.

Зап. книжка

Одиночество. — Что-то тяжелое делается. Ничего, кроме музыки, не спасет. Ночью я отодвинул занавеску, вслушиваясь: раздался глухой далекий взрыв (вероятно, цеппелин, прилетевший вчера). — Никто не прилетал — всё ввали обыватели и газеты. А умерла Ангелина, о чем я узнал 24 (11) марта.** — Номер «На-

* Квадратные скобки в рукописи. — *Ред.*

** Последние две фразы вписаны позже. — *Ред.*

родоправства» (23/24): Г. Чулков «прощает» меня за статью «Интеллигенция и революция» ³³

7 марта

Зап. книжка

Совершенно особое чувство: нашей малости; гиперборей; потеря великодержавства; не могу скрыть от самого себя даже минуты довольства (передышка).

9 марта

Зап. книжка

Безделье, возня с бумажками, злые и одинокие мысли. Бурная злоба и что-то особенно скребет на душе. — О. Д. Каменева (комиссар Театрального отдела) сказала Любе: «Стихи Александра Александровича («Двенадцать») — очень талантливое, почти гениальное изображение действительности. Анатолий Васильевич (Луначарский) будет о них писать, но читать их не надо (вслух), потому что в них восхваляется то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся».

Марксисты умные, — может быть, и правы. Но где же опять художник и его бесприютное дело?

10 марта (25 февраля)

Дневник

Ежедневность, житейское, изо дня в день — подло. Что такое искусство?

Это — вырывать, «грабить» у жизни, у житейского — чужое, ей не принадлежащее, ею «награбленное» (Ленин, конечно, не о том говорил).

Марксисты — самые умные критики, и большевики правы, опасаясь «Двенадцати». Но... «трагедия» художника остается трагедией. Кроме того:

Если бы в России существовало действительное духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы «учло» то обстоятельство, что «Христос с красногвардейцами». Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей,

читавших Евангелие и думавших о нем. У нас, вместо того, они «отлучаются от церкви», и эта буря в стакане воды мутит и без того мутное (чудовищно мутное) сознание крупной и мелкой буржуазии и интеллигенции.

«Красная гвардия» — «вода» на мельницу христианской церкви (как и сектантство и прочее, усердно гонимое). [Как богатое еврейство было водой на мельницу самодержавия, чего ни один «монарх» вовремя не расчулал.] *

В этом — ужас (если бы это поняли). В этом — слабость и красной гвардии: дети в железном веке; сиротливая деревянная церковь среди пьяной и похабной ярмарки.

Разве я «восхвалял»? (Каменева).³⁴ Я только констатировал факт: если взглянуть в столбы метели на *этом пути*, то увидишь «Исуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак.

14 марта

Зап. книжка

Угрюмый день.

За последнее время Блок написал целый ряд стихов в большевистском духе, напоминающих солдатские песни в провинциальных гарнизонах. То, что Блок сочувствует большевизму, — его личное дело. В своих убеждениях писатель должен быть свободен, и честь и слава тому, кто во имя этих убеждений смело идет против течения, — но зачем же писать скверные стихи? Когда любят девушку — ей несут в виде подарка золото и цветы, и никто не несет кожуру от картофеля.³⁵

Сегодняшнее «Петроградское эхо». Это после того, как меня *вчера* пригласили в эту газету!

18 марта

Зап. книжка

Сочувственное и — остерегающее письмо от Б. Б. (Андрея Белого).³⁶ — Ужасный день. Бедный я.

* Квадратные скобки в рукописи. — Ред.

20 марта
Зап. книжка

Люба, наконец, увидела Савоярова, который сейчас гастролирует в «миниатюре» рядом с нами.³⁷ — Зачем измерять унциями дарования александринцев, играющих всегда после обеда и перед ужином, когда есть действительное искусство в «миниатюрах».

Еще один кол в горло буржуям, которые не имеют представления о том, что под боком.

16 апреля
Зап. книжка

Теоретическая группа Репертуарной секции Театрального отдела заседает в 3 часа дня. Ни за что не пойду заседать. Дайте дело, я буду делать.

24 апреля
Зап. книжка

Катилина (опять). Тема уж очень великолепна. Все сызнава, несмотря на усталость.

25 апреля
Зап. книжка

Катилина. Какой близкий, **ЗНАКОМЫЙ**, печальный мир! — И сразу — *горечь* *⟨падения⟩*. * Как скучно, известно. Ну что ж, Христос придет.

Катилина захотел нескучного, не пышного, не красивого, недостижимого. И это тоже скучно.

27 апреля
Зап. книжка

Катилина. Все утро — тщетные попытки. Шорохи тети и рояль за стеной доводят почти до сумасшествия.

* Слово «падения» прочитано предположительно. — Ред.

Все двери заперты (как всю неделю). Днем — беспокойный сон *старика*. О, если бы отдохнуть! — Вдруг к вечеру — осеняет (63-е стихотворение Ювенала³⁸ — ключ ко всему!). Сразу легче.

12 мая

Зап. книжка

Одно только делает человека человеком: знание о социальном неравенстве.

13 мая

Зап. книжка

Вечер «Арзамаса» в Тенишевском училище. Люба читает «Двенадцать». *Отказались* Пяст, Ахматова и Сологуб.³⁹

14 мая

Зап. книжка

В Финляндии начался белый террор. Сволочь за стеной заметно обнаглела — играет с утра до вечера упражнения, превращая мою комнату в камеру для пытки.

Все нежизнеспособные сходят с ума, все паучье, плотское, грязное — населяется вампиризмом (как за стеной).

16 мая

Зап. книжка

«КАТИЛИНА» — весь день. Лебединая песня революции? <...> Люба в ярости. Кроме того, что с большевиками плохо, — Кузьмин-Караваев быстро перестраивает ее на меньшевистский лад. Кажется, не без успеха (студент и лампадка).

26 мая

Зап. книжка

Люба играет Клитемнестру в казармах Московского полка (офицерское собрание) — Красной армии. Читала «Двенадцать». Слушали очень внимательно. Все уже — на Мурманском фронте.

31 (18) мая

Дневник

〈НЕПОСЛАННОЕ ПИСЬМО К З. Н. ГИППИУС〉⁴⁰

Я отвечаю Вам в прозе, потому что хочу сказать Вам больше, чем Вы — мне; больше, чем лирическое.

Я обращаюсь к Вашей человечности, к Вашему уму; к Вашему благородству, к Вашей чуткости, потому что совсем не хочу язвить и обижать Вас, как Вы — меня; я не обращаюсь поэтому к той «мертвой невинности»,⁴¹ которой в Вас не меньше, чем во мне.

«Роковая пустота»⁴² есть и во мне и в Вас. Это — или нечто очень большое, и тогда — нельзя этим корить друг друга; рассудим не мы; или очень малое, наше, частное, «декадентское», — тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех событий, которые наступают.

Также только вкратце хочу напомнить Вам наше личное: нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Ваша), но только рядом с второстепенным проснулось главное.

В наших отношениях всегда было замалчиванье чего-то, узел этого замалчиванья завязывался все туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго — оставалось только рубить.

Беликий октябрь их и разрубил. Это не значит, что жизнь не напутает сейчас же новых узлов; она их уже напутывает; только это будут уже не те узлы, а другие.

Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было *очень мало* — могло быть во много раз больше.

Неужели Вы не знаете, что «России не будет», так же, как не стало Рима — не в V веке после Рождества Христова, а в 1-й год I века? Также — не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже расплавился?⁴³

29 июня

Зап. книжка

⟨...⟩ (Встреча с Пястом, который «не подал руки» После этого (вероятно) — зараза).

21 июля

Зап. книжка

Корректурa, Шуваловo, купанье, парк, Парголово. — Печать смерти подтверждается. В деревнях умирает с голоду по 1–2 человека в доме. Хлеба нет с Пасхи. Не сеют (съели). Красноармейцы говорят, что то, что есть, будут делить (но нет почти ничего). Едят тухлую капусту и тухлую соленую рыбу. — Красноармеец, его морда, штаны и семечки. Но — все еще *ЛУЧШЕ* Шульмана. — Так и будет (вымирание и т. д.), пока все будет тянуть на государство, церковь, цивилизацию, «культуру», национальность, и т. д., и т. д. Очень тяжело, безвыходно ли?

22 июля

Зап. книжка

После упорной работы я увидал, что мои переделки стихов (главным образом, сокращения) были напрасны. Поэтому я восстанавливаю многие выкинутые строфы и строки.

21 августа
Зап. книжка

Как безвыходно все. Бросить бы все, продать, уехать далеко — на солнце, и жить совершенно иначе.

23 августа
Зап. книжка

Ночью я проснулся в ужасе («опять весь старый хлам в книги»). Но — за что же «возмездие»? — В том числе за недосказанность, за полуюасность, за медленную порчу. Кто желает понять, поймет лучше, вчитываясь во все подряд.

28 августа
Зап. книжка

Я задумал, как некогда Данте, заполнить пробелы между строками «Стихов о Прекрасной Даме» простым объяснением событий. Но к ночи я уже устал.⁴⁴ Неужели — эта задача уже непосильна для моего истощенного ума?

22 сентября
Зап. книжка

Гулял днем. — Тоска. Какие-то всеобщие военные обучения, занятия квартир, сбор теплых вещей... а ужас старого мира налезает. — Снилось Шахматово — а-а-а...

7 ноября
Зап. книжка

Празднование Октябрьской годовщины.

Вечером с Любой — на мистерню-буфф Маяковского в Музыкальной драме (к 6 часам с артистического подъезда).

Исторический день — для нас с Любой — полный. Днем — в городе вдвоем: украшения, процессии, дождь, у могил⁴⁵. Праздник.

Вечером — хриплая и скорбная речь Луначарского, Маяковский, многое⁴⁶.

Никогда этого дня не забыть.

8 декабря

Зап. книжка

Весь день я читал Любе Гейне по-немецки — и помолодел.

10 декабря

Зап. книжка

Ночные сны — такие, что на границе отчаянья и безумия. Сколько людей свихнулось в наши дни.

12 декабря

Зап. книжка

Отчего я сегодня ночью так обливался слезами в снах о Шахматове?

30 (17) декабря

Дневник

В. МАЯКОВСКОМУ⁴⁷

Не так, товарищ!

Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно. Разрушая постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятия времени не избыть. Ваш крик — все еще только крик боли, а не радости.* Разрушая, мы всё

* Вагнер.

те же еще рабы старого мира: нарушение традиций — та же традиция. Над нами — большее проклятье — мы не можем не спать, мы не можем не есть. Одни будут строить, другие разрушать, ибо «всему свое время под солнцем»⁴⁸, но все будут рабами, пока не явится третье, равно не похожее на строительство и на разрушение.

31 декабря

Зап. книжка

С тяжелым чувством держу корректуру «Кати-лины». — Слух о закрытии всех лавок (из лавки). Нет предметов первой необходимости. Что есть — сумасшедшая цена. — Мороз. Какие-то мешки несут прохожие. Почти полный мрак. Какой-то старик кричит, умирая от голоду. Светит одна ясная и большая звезда.

6 января*

Дневник

Вчера утром звонок: — Здрассте. Говорит Ионов, комиссар такой-то. Я хотел предложить перенести печатанье ваших книг в типографию, какую я укажу. Предлагаю издать «Двенадцать» в Петроградском совдепе.

— Не находите ли вы, что в «Двенадцати» — несколько запоздалая нота?

— Совершенно верно. Один товарищ уже говорил об этом, но мы все-таки решили издать все лучшие произведения русской литературы, хотя бы имеющие историческое значение. Подумайте и, когда решите, приезжайте ко мне в Смольный.

Издавать Ионов хочет 50 000, с рисунками Анненкова. Звоню к Алянскому. Разговор с ним и с Анненковым. Алянский немного против, хотя искренно сочувствует нашим денежным интересам (с Анненковым).

Сегодня Алянский не поймал Белопольского, с которым нужно выяснить, как отнесется к этому вопросу комиссариат. Но они с Анненковым были у Горького, подносили ему «Двенадцать». Очень знаменательно, что говорил Горький.¹

Он говорил с ними с полчаса, очень доброжелательно, спрашивал, не встречается ли «Алконост» препятствий, узнав об Ионове и моих книгах,² сказал, что такие факты надо собирать, что Ионов бездарен и многим навредил. Вообще сказал, что «Владимир Ильич, Анатолий Васильевич и я» держатся совсем другой точки зрения, что с такими явлениями надо бороться. На предложение написать что-нибудь для «Алконоста»³ о символистах, сказал, что он бросил писать и занят

* Отсюда указываются даты только нового стиля (с отдельными исключениями). — *Ред.*

только «селедками» (очевидно, деятельность в Совете коммуны).

Соображения по таким же поводам — см. «Катилина» (которыми Иванов-Разумник предлагает мне открыть «Вольную философскую академию»⁴ во второй половине января).

Кроме того: *страшное* все это. Кто же победит на этот раз? Полная анархия (между прочим, провинция шлет град упреков комиссариату, зачем он издает классиков, а не политические брошюры) или новый «культурный порядок»?

Не знаю.

Честно ли говорить такую, например, прекрасную фразу: «В одной строке великого писателя содержится больше революционного пыла, чем в десятках бездарных брошюр» (так бы мог ответить комиссариат на упреки, к нему обращенные). Нет, не совсем честно, ибо и так, и не так, в этом — уклончивость: правда, брошюрка бездарна, но в ней читается больше, чем написано, потому что она есть брошюришка, хлам, тряпье, возбуждающее в бедном больше доверия, чем длинная чистая книга. И в большой гениальной книге озлобленный бедняк не вычитает того, а иногда вычитает то, что новую злобу посеет в его изозленной, забитой, испуганной душе.

Всякая культура — научная ли, художественная ли — демонична. И именно чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее. Уж конечно, не глупое профессорье — носитель той науки, которая теперь мобилизуется на борьбу с хаосом. Та наука — потоньше ихней.

Но демонизм есть сила. А сила — это победить слабость, *обидеть слабого*.

Несчастный Федот⁵ изгадил, опоганил *мои* духовные ценности, о которых я *демонически* *уже* плачу по ночам. Но кто сильнее? Я ли, плачущий и пострадавший, или Федот,* если бы даже он вступил во владение тем, чем не умеет пользоваться (да ведь не вступил, никому не досталось, потому что все, вероятно, грабили, а грабить там — в Шахматове — мало что ценного). Для Федота — двугривенный и керенка то, что для меня — источник не оцениваемого никак вдохновения, восторга, слез.

* Скоро оказалось, что Федот умер. (Приписано позже. — Ред.)

Так, значит, я — сильнее и до сих пор, и эту силу я приобрел тем, что у кого-то (у предков) были досуг, деньги и независимость, рождались гордые и независимые (хотя в другом и вырожденные) дети, дети воспитывались, их научили (учила кровь, помогала учить изолированность от добывания хлеба в поте лица) тому, как создавать бесценное из ничего, «превращать в бриллианты крапиву», потом — писать книги и... жить этими книгами в ту пору, когда не научившиеся их писать умирают с голоду.

Да, когда я носил в себе великое пламя любви, созданной из тех же простых элементов, но получившей новое содержание, новый смысл от того, что носителями этой любви были Любовь Дмитриевна и я — «люди необыкновенные»; когда я носил в себе эту любовь, о которой и после моей смерти прочтут в моих книгах, — я любил прогарцевать по убогой деревне на красивой лошади; я любил спросить дорогу, которую знал и без того, у бедного мужика, чтобы «пофорсить», или у смазливой бабенки, чтобы нам блеснуть друг другу мимолетно белыми зубами, чтобы екнуло в груди так себе, ни от чего, кроме как от молодости, от сырого тумана, от ее смуглого взгляда, от моей стянутой талии, — и это ничуть не нарушало той великой любви (так ли? А если дальнейшие падения и червотчины — отсюда?), а, напротив, — раздувало юность, лишь юность, а с юностью вместе раздувался тот «иной» великий пламень...

Все это знала беднота. Знала она это лучше еще, чем я, сознательный. Знала, что барин — молодой, конь статный, улыбка приятная, что у него невеста хороша и что оба — господа. А господам, — приятные они или нет, — постой, погоди, ужотка покажем.

И показали.

И показывают. И если даже руками грязнее моих (и того не ведаю и о том, господи, не сужу) выкидывают из станка книжки даже несколько «заслуженного» перед революцией писателя, как А. Блок, то *не смею я судить*. Не эти руки выкидывают, да, может быть, не эти только, а те далекие, неизвестные миллионы бедных рук; и глядят на это миллионы тех же не знающих, в чем дело, но голодных, исстрадавшихся глаз, которые видели, как гарцевал статный и кормленный барин. И еще кое-что видели другие разные глаза — но

такие же. И посмеиваются глаза — как же, мол, гарцевал барин, гулял барин, а теперь барин — за нас? Ой, за нас ли барин?

Демон — барин.

Барин — выкрутится. И барином останется. А мы — «хоть час, да наш».

Так-то вот.

7 января. Рождество

Дневник

Решаясь включить в «Театр» «Песню Судьбы», из которой я стараюсь выкинуть все уж очень глупое (хорошего и глупого времени произведение), я окончательно освобождаюсь от воли М. И. Терещенки. Мы с ним в свое время загипнотизировали друг друга искусством. Если бы так шло дальше, мы ушли бы в этот бездонный колодезь; Оно — Искусство — увело бы нас туда, заставило бы забраковать не только всего меня, а и все; и остались бы: три штриха рисунка Микель-Анджело; строка Эсхила; и — все; кругом пусто, веревка на шею.

Если удастся издать — пусть будут все четыре томика — одной толщины, и в них — одно лучше, другое хуже, а третье и вовсе без значения, без окружающего. Но какое освобождение и какая полнота жизни (насколько доступна была она): вот — я — до 1917 года, путь среди революций; *верный* путь.

Зап. книжка

Очень бодро: полная оттепель. Много мыслей и планов.

10 января

Дневник

Сколько видишь. Совсем становишься не похож на себя — прежнего: огрубевший, сухой, деловой, стареющий.

13 января
Зап. книжка

Заседание бюро в 2 часа дня. <...> Необыкновенный вздор всего этого. Усталость.

16 января
Зап. книжка

Звонил Миролюбов («Ямбы» — высшее интеллигентское; З. Гиппиус сказала, что она встретилась со мной «как с поэтом», а как с «политическим деятелем» — незнакома).⁶ — Было мелькание пустое и внутренняя борьба со старыми, ненавидящими чиновниками. Некоторый умственный отдых — заседание в Вольной философской академии <...>

18 января
Зап. книжка

Убиты в Берлине К. Либкнехт и Р. Люксембург.

25 января
Зап. книжка

Фельетон о «России и интеллигенции» в московской «Правде»⁷ (привез Алянский). Важнейшее радио «союзников» в газете.⁸ — Вечером у меня Алянский («Америка»).⁹

15 февраля
Зап. книжка

Вечером после прогулки застаю у себя комиссара Булацеля и конвойного. Обыск и арест. Ночь в компании в ожидании допроса на Гореховой.¹⁰

16 февраля
Зап. книжка

Допрос у следователя Лемешева около 11 ч. утра. Около 12-ти — перевели в верхнюю камеру. День в ка-

мере. Ночь на одной койке с Штейнбергом.¹¹ В 2 часа ночи вызов к следователю Бойковскому (второй допрос). Он возвратил мне документы.

17 февраля
Зап. книжка

Освобождение около 11 ч. утра. Дом и ванна. Телефоны. Оказывается, хлопотали М. Ф. Андреева и Луначарский.

5 марта
Зап. книжка

Горькому нравится «Катилина».

8 марта
Зап. книжка

Телефон от Тихонова — о том, что меня выбрали во «Всемирную литературу».

9 марта
Зап. книжка

План картины из средних веков (Франция), — предложение Горького.¹²

11 марта
Зап. книжка

В 3 часа — первое для меня заседание в «Всемирной литературе»〈...〉

12 марта
Зап. книжка

Празднуется Февральская революция. Трам-
ваев нет. — Весь день — глубокая усталость и работа

над провансальской картиной и Гейне (переводы Коломийцева).

20 марта

Зап. книжка

Сны, сны опять: Шахматово — по-особенному.

26 марта

Дневник

Вчера — большой день. Я прочел доклад о Гейне (положение дела с переводами его), затронув в нем тему о крушении гуманизма и либерализма (во «Всемирной литературе»).¹³

Горький предлагает заменить слово «либералы» словом «нигилисты». Он делает это предложение со своей милой сконфуженной улыбкой (присутствие профессоров).

Ожесточенно нападает Волынский, который указывает, между прочим, на путаницу в терминологии (исконное, знакомое мне).

Левинсон ехидно спрашивает, не виноват ли Тургенев. Я утверждаю, что первый виноват Тургенев. «И Герцен?» — спрашивает Горький. — И Герцен.

Горький говорит большую речь о том, что действительно приходит новое, перед чем гуманизму, в смысле «христианского отношения» и т. д., придется временно стушеваться. «Или надо доходить до святости», или уступать. Он переводит вопрос на излюбленную свою тему этих дней (еще на днях он сказал: «Все равно — придет мужик и всем головы отвинтит») — о борьбе деревни с городом. Ссылается на съезды бедноты. Говорит, что предстоит отчаянная борьба деревни с городом, в которой не поздоровится не только капиталистам, но и писателям и артистам. В заключение говорит мне с той же милой улыбкой: «Между нами — дистанция огромного размера, я — бытовик такой, но мне это понятно, что вы говорите, я нахожу доклад пророческим, извиняюсь, что говорю так при вас».¹⁴

«Но ведь вы говорите, Алексей Максимович, что

гуманизм должен ступать временно», — с удовлетворением и в один голос спрашивают профессора.

Горький на это ничего не отвечает.

Волынский говорит, что он находит доклад не только не пророческим, но близоруким.

Батюшков, мрачно молчавший, говорит, что он, конечно, не согласен, но что он надеется, что разногласие — только в терминах.

Тихонов молчит.

Браун находит интересным мое сближение Гейне с Вагнером. Упоминает о доле правды в докладе.

Гумилев говорит, что имеет много сказать, и после закрытия заседания развивает мне свою теорию о гуннах, которые осели в России и след которых историки потеряли. Совдепы — гунны.

Чуковский сочувствует мне с маленьким выжидающим.

Горький предлагает посвятить этому вопросу отдельное заседание.

Я высказываю опасение, что это — превратится в религиозно-философское собрание, в интеллигентский спор об «интеллигенции и народе».

Горький полагает, что интеллигенция сильно изменилась, и что доклад произведет новое действие.

Левинсон осторожно ехидствует, что сопоставление имен ему пока ничего не сказало и потому он воздерживается от суждения.

Доклад назначен на 2 апреля.

27 марта

Зап. книжка

День напряженных нахлынувших мыслей — до изнеможения.¹⁵

28 марта

Дневник

«Быть вне политики» (Левинсон)? — С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм, предоставлять государству расправляться с людьми, как ему

угодно, своими устаревшими средствами. Если мы будем вне политики, то значит — кто-то будет только «с политикой» и вне нашего кругозора и будет поступать, как ему угодно, т. е. воевать, сколько ему заблагорассудится, заключать торговые сделки с угнетателями того класса, от которого мы ждем проявления новых исторических сил, расстреливать людей зря, поливать дипломатическим маслом разбушевавшееся море европейской жизни. Мы же будем носить шоры и стараться не смотреть в эту сторону. Вряд ли при таких условиях мы окажемся способными оценить кого бы то ни было из великих писателей XIX века. Мы уже знаем, что значит быть вне политики: это значит — стыдливо закрывать глаза на гоголевскую «Переписку с друзьями», на «Дневник писателя» Достоевского, на борьбу А. Григорьева с либералами; на социалистические взрывы у Гейне, Вагнера, Стриндберга. — Перечислить ещё западных и наших. — Это значит — «извинять» сконфуженно одних и приветствовать, как должное, политическую размягченность, конституционную анемию других — так называемых «чистых художников». Если я назову при этом для примера имя нашего Тургенева, то попаду, кажется, прямо в точку, ибо для наших гуманистов нет, кажется, ничего святее этого имени, в котором так дьявольски соединился большой художник с вялым барствующим либералом-конституционалистом. Нет, мы должны разоблачить это — не во имя политики сегодняшнего дня, но во имя музыки, ибо иначе мы не оценим Тургенева, т. е. не полюбим его по-настоящему.

Нет, мы не можем быть «вне политики», потому что мы предадим этим музыку, которую можно услышать только тогда, когда мы перестанем прятаться от чего бы то ни было. В частности, секрет некоторой анти-музыкальности, неполнозвучности Тургенева, например, лежит в его политической вялости. Если не разоблачим этого мы, умеющие любить Тургенева, то разоблачат это идущие за нами люди, не успевшие полюбить Тургенева; они сделают это гораздо более жестоко и грубо, чем мы, они просто разрушат целиком то здание, из которого мы умелой рукой, рукою, верной духу музыки, обязаны вынуть несколько кирпичей для того, чтобы оно предстало во всей своей действительной

красоте — просквозило этой красотой... Быть вне политики — тот же гуманизм наизнанку.

30 марта

Зап. книжка

В 2 часа — чествование Горького во «Всемирной литературе». — *Хорошо*.¹⁶

31 марта

Дневник

Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом «хлынуть». Таков закон всякой органической жизни на земле — и жизни человека и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм.

1 апреля

Дневник

Французы и англичане менее задеты гуманистическим движением, чем средняя Европа и даже — чем Россия. У них другие пути преобладали. Потому я говорю, главным образом, о средней Европе, которая нам ближе и духовно и географически была всегда; наша галломания никогда не была органичной, и, напротив, — всегда была органичной — германомания, хотя она и принимала у нас часто самые отвратительные прусские формы. Быть может, одной из важных причин крушения у нас «пушкинской» культуры было то, что эта культура становилась иногда слишком близкой французскому духу и потому — оторвалась от нашей почвы, не в силах была удержаться в ней под напором внешних бед (Николаевского режима). Германия для Пушкина — «ученая и туманная»...¹⁷

Основные положения, которые я хотел защитить: теоретические и практические.¹⁸

Практические: 1) выбор для «Всемирной литературы», руководясь музыкой;

2) в стихах и прозе — в произведении искусства — главное — дух, который в нем веет; это соответствует вульгарному «душа поэзии», но ведь — «глас народа — глас божий»; другое дело то, что этот дух может сказываться в «формах» более, чем в «содержании». Но все-таки главное внимание читателя нужно обращать на дух, и уже от нашего умения будет зависеть вытравить из этого понятия «вульгарность» и вдохнуть в него истинный смысл, который остается неизменным, так что «публика» в своей наивности и вульгарности правее, когда требует от литературы «души и содержания», чем мы, специалисты, когда под всякими предложениями хотим освободить литературу от принесения пользы, от служения и т. д.

Я боюсь каких бы то ни было проявлений тенденции «искусство для искусства», потому что такая тенденция противоречит самой сущности искусства и потому что, следуя ей, мы в конце концов потеряем искусство; оно ведь рождается из вечного взаимодействия двух музык — музыки творческой личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души *массы*. Великое искусство рождается только из соединения этих двух электрических токов.

3) Сознательное устранение политических оценок есть тот же гуманизм, только наизнанку, дробление того, что недробимо, неделимо; все равно что — сад без грядок; французский парк, а не русский сад, в котором непременно соединяется всегда приятное с полезным и красивое с некрасивым. Такой сад *прекраснее* красивого парка; творчество *больших* художников есть всегда прекрасный сад и с цветами и с репейником, а не красивый парк с утрамбованными дорожками.

3 апреля

Зап. книжка

Весь день — работа над докладом. — Вечером — «Демон» (смесь бесконечной глубины с бесконечной пошлостью — и в музыке и в постановке).

5 апреля

Дневник

А наш гуманизм — уже уличный: трамвайный разговор — самое дно. Общество покровительства животным, благотворительность, приветственный адрес начальству (скрежеща зубами).

9 апреля

Зап. книжка

⟨В⟩ 3 часа — к Горькому по поводу книги о нем, которую редактируем мы с Чуковским.¹⁹ В 4 часа — у него — заседание профессионального союза: спор о журнале.²⁰ В 6 часов — мой доклад об антигуманизме²¹ у Тихонова.

15 апреля

Зап. книжка

Вечером — читать на вечере в Экспедиции заготовления государственных бумаг. — Я устарел и больше не имею успеха. Не пора ли в архив?

19 апреля

Зап. книжка

Тоска. — Составляю сборник стихов для Гржебина.²² — К ночи — вышел. Беспорядочная стрельба за долго до веселых колоколов.²³ Мертвый город. Язычники матершат и палят, а христиане уныло голодными голосами поют в Благовещенской церкви: «живот даровав!».

20 апреля

Зап. книжка

Холодная весна в мертвом городе.⟨...⟩ — Занятия стихами.²⁴ Тоска. Когда же это кончится? — **ПРОСНУТЬСЯ ПОРА!**

24 апреля
Зап. книжка

Свидание с М. Ф. Андреевой, которая определила меня на должность председателя Директории Большого драматического театра.

27 апреля
Зап. книжка

Длинное письмо М. Ф. Андреевой с отказом. И письмо от нее — такое, что нельзя отказываться.²⁵

3 мая
Зап. книжка

Объявление о каком-то призыве. По этому поводу — во «Всемирную литературу». — Делать, однако, уже ничего не могу. — Кто погубил революцию (дух музыки)? — Война.

11 июня
Ольгино и Лахта
Дневник

Жителей почти не осталось, а дачников нет. Унылые бабы тянутся утром к местному совету, они обязаны носить туда молоко. Там его будто бы распределяют.

Неподалеку от совета выгорело: в одну сторону — дач двенадцать, с садами и частью леса. Были и жилые. Местные пожарные ленились качать воду, приезжала часть из Петербурга. По другую сторону — избушки огородников. Прошлогоднее пожарище в центре так и стоит.

В чайной, хотя и стыдливо — в углу, малозаметном, — вывешено следующее объявление:

«НИКТО НЕ ДОЛЖЕН
ОСТАВЛЯТЬ ПОСЛЕ СЕБЯ
ГРЯЗИ НИ ФИЗИЧЕСКОЙ, НИ МОРАЛЬНОЙ.
Заведующий».

Заведующий, по-видимому, бывший трактирщик. Когда я переспрашивал, к какому комиссариату относится ограбленный бывший «замок», вокруг которого все опоганено, как водится, он (или его сосед — «член совета») долго молчал, наконец нерешительно ответил, что это — «министерство народного просвещения».

«Замок» называется очень сложно — что-то вроде «экскурсионного пункта и музея природы» (так на воротах написано). Там должны поить чаем детей из школ.

Сегодня понаехало, по-видимому, много школ, но чаю не дали, потому что не было кипятку, — «не предупредили заранее». Учительнице пришлось вести детей в чайную, где ей очень неохотно дали чаю — за большие деньги.

В чайной пусто, почти нет столов, и граммофон исчез. Около хорошенькой сиделицы в туфлях на босу ногу трутся шутики четыре наглых парней в сапогах, бывших шикарными в 1918 году. Тут же ходят захватанные этими парнями девицы.

Ольгинская часовня уже заколочена. Сохранились на стенах прошлогодние надписи, русские и немецкие.

Из двух иконок, прибитых к сухой сосне, одна выкрадена, а у другой — остался только оклад. Лица святых не то смыты дождем, не то выцарапаны.

На берег за Ольгиным выкинуты две больших плоскодонных дровяных барки, куски лодок, бочки и прочее. Как-то этого в этом году не собирают — вымерли все, что ли?

Загажено все еще больше, чем в прошлом году. Видны следы гаженья сознательного и бессознательного.

«Ох, уж совет, — говорит хорошенькая сиделица. — Ваш совет уничтожить надо». И прибавляет сонно: «А Кронштадт второй день горит, кажется, форт Петр».

Действительно, из Кронштадта утром шел бурый дым — следствие взрыва сегодняшней ночи: в 2 часа дом наш потрясся; на улице был ветер, в море, вероятно, шторм. И, однако, черное рогатое облако, поднявшееся в стороне Кронштадта, долго не расходилось — так тяжел этот черный дым, что ли?

Никто ничего не хочет делать. Прежде миллионы из-под палки работали на тысячи. Вот вся разгадка. Но почему миллионам хотеть работать? И откуда им понимать коммунизм иначе, чем — как грабеж и картеж?

19 июля

Зап. книжка

В 6 час. вечера Горький читает в Музее города воспоминания о Толстом. — Это было мудро и все вместе, с невольной паузой (от слез) — прекрасное, доброе, увлажняет ожесточенную душу.

27 августа

Зап. книжка

Стрельна²⁶ — молитва моя природе.

16 ноября

Зап. книжка

В 1 час дня — открытие Вольной философской академии (Литейный, 21). Читал «Крушение гуманизма». ²⁷ К вечеру — неудовлетворенность. Очень тяжелые мысли о Горьком. — Нет, буду ждать знаков — знамений. — Свету нет совсем.

29 ноября

Зап. книжка

Бездельно. Немного для списка. ²⁸ Густой снег за окнами. Вечером мне 39 лет. ²⁹

1 марта

Зап. книжка

В 7 ч. вечера — Андрей Белый в Доме искусств:¹ толпа народу, жарко. Он такой же, как всегда: гениальный, странный.

17 июня

Зап. книжка

Стрельна. Узнал, что все билеты проданы на мой вечер (это почти без афиш).²

21 июня

Зап. книжка

Повторение стихов.³ — Мой вечер, устроенный «Домом искусств».

19 июля

Зап. книжка

Проливной дождь. Празднуется «2-й конгресс 3-го Интернационала». Ленинский фельетон.⁴ — Весь день редактирую Гейне — «Романтическую школу» и «Фауста» Коломийцева. — Молодой месяц справа. Странный вечер — ураган, разорвавший желтые облака. Вода поднялась.

25 июля

Зап. книжка

Выгрузил с барки у Малого театра $\frac{1}{2}$ куба дров в три часа.

16 сентября
Зап. книжка

Печаль Летнего сада, он сохранил свое величие среди измельчания всего. — «Интимное» открытие клуба Союза поэтов в 8 часов вечера. Тошно, скучно.

⟨22 октября⟩
Дневник

Вечер в клубе поэтов на Литейной, 21 октября, — первый после того, как выперли Павлович, Шкапскую, Оцуа, Сюннерберга, Рождественского и просили меня остаться.⁵

Мое самочувствие совершенно другое. Никто не пристаёт с бумагами и властью.

Верховодит Гумилев — довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевым.

Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь ⟨...⟩ виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь — от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его «Венеция».⁶ По Гумилеву — рационально все (и любовь, и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом — все исчезнет, останется одно Оно.)⁷

Пяст, топорщащийся в углах (мы не здороваемся по-прежнему).⁸ Анна Радлова невпопад вращает глазами. Грушко подшлепнутая. У Нади Павлович больные глаза от зубной боли. Она и Рождественский молчат. Крепкое впечатление производят одни акмеисты.

Одоевцева.

М. Лозинский перевел из Леконта де Лилля — Мухаммед Альмансур, погребенный в саване своих побед.⁹

Глыбы стихов высочайшей пробы. Гумилев считает его переводчиком выше Жуковского.

Гумилев и Горький. Их сходства: волевое; ненависть к Фету и Полонскому — по-разному, разумеется. Как они друг друга ни не любят, у них есть общее. Оба не ведают о *трагедии* — о двух правдах. Оба (северо)-восточные.

*Статья В. М. Алексеева о китайской литературе.*¹⁰ Новые горизонты и простор для новых обобщений. Связь ее со «Всемирной литературой» и с тем, что есть в акмеизме.

*Как всегда бывает, пока я записываю эти строки, звонит один из стоящих на страже моей, — Р. В. Иванов, и предлагает председательствовать на заседании Вольфилы,*¹¹ *в годовщину ее, посвященном Платону. А я-то «уклоняюсь в Аристотеля»!*

16 ноября

Дневник

Шалыгин в Еремке («Вражья сила» Серова) достигает изображения пьяной наглости, хитрости, себе на уме, кровавости, ужаса русского кузнеца. Не совсем только, не хватает заурядности, он слишком «Шалыпин», слишком «Мефистофель» вообще местами, а не заурядный русский дьявол.

18 ноября

Зап. книжка

Страшный день («нервы»?). Спасаюсь сплошной работой — день и вечер без перерыва: для «Красного милиционера»,¹² потом — «Рыцари» Е. Ф. Книпович.

29 ноября

Зап. книжка

Сорок лет мне (16 ноября).¹³ Ничего я не сделал, утро гулял по Петербургской стороне.

9 декабря
Зап. книжка

Дни большой и хорошей работы.

13 декабря
Дневник

Большой старый театр, в котором я служу, полный грязи, интриг, мишуры, скуки и блеска, собрание людей, умеющих жрать, пить, дебоширить и играть на сцене, — это место не умерло, оно не перестало быть школою жизни, пока жизнь вокруг стараются убить. Разные невоплощенные Мейерхольды и многие весьма воплощенные уголовные элементы еще всё сосут, как пауки, обильную русскую кровь; они лишены творчества, которое ведь требует крови («здоровая кровь — хорошая вещь»), поэтому они, если бы и хотели обратного, запутывают, стараются опутать жизнь сетью бледной, аскетической, немощной доктрины. Жизнь рвет эту паутину весьма успешно, у русских дураков еще много здоровой крови. Когда жизнь возьмет верх, тогда только перестанет влечь это жирное, злое, веселое и не очень-то здоровое гнездо, которому имя — старый театр.

17 декабря
Зап. книжка

Правление Союза писателей. Присутствие Горького (мне, как давно уже, тяжелое). Статья Мережковского в ответ Уэллсу (списана у Сильверсвана).¹⁴

24 декабря
Дневник

С месяц тому назад Мейерхольд поручил мне рассмотреть пять премированных московским Театральным отделом революционных пьес, с целью указать, годны ли они к печати.¹⁵

Все пьесы — весьма любопытные человеческие документы; тем не менее все они не театральны, а литературную критику может вы-

держат только одна «Захарова смерть», драма в 4-х действиях Александра Неверова.

«Захарова смерть» — бытовая драма, написанная хорошим литературным языком, очень правдиво изображает некоторые черты современной деревенской жизни. В стариках, носителях старого уклада жизни, автор подчеркивал главным образом отрицательное, соответствующее заданию, но художественное чутье все-таки заставило его быть правдивым, и старики вышли неправыми, но милыми и живыми. Носители нового — сбившиеся с пути бабы, девки, мужики и казаки; герои пьесы — Григорий и Надежда, на словах — светлые личности, ищущие нового, на деле — пока только разрушающие старую жизнь: Григорию удалось по ходу пьесы пока только умиротворить родителей, сойтись с чужой женой и убежать от белых. Никаких дальнейших перспектив автор не открывает, но он верен бытовой правде; поэтому его драма оставляет у читателя доброе и грустное впечатление, позволяя ему сделать какой угодно вывод и не насиловать его совести; а так как совесть влечет человека к новому, если над ней не производится насилия, и обратно — неизбежно умолкает под гнетом насилия, и тогда человек все прочнее утверждает в старом, — то следует признать, что г-ну Неверову удалось, не давая никаких словесных обещаний и не скрывая печальной правды, склонить читателя к новому.

Такова судьба всякого подлинного литературного произведения.

[Да, эта моя мысль, так выраженная, ясна и хороша не только для рецензий. Еще раз: (человеческая) совесть побуждает человека искать лучшего и помогает ему порою отказываться от старого, уютного, милого, но *умирающего и разлагающегося* в пользу нового, сначала неуютного и немилого, но обещающего свежую жизнь.

Обратно: под игом насилия человеческая совесть умолкает; тогда человек замыкается в старом; чем наглей насилие, тем прочнее замыкается человек в старом. Так случилось с Европой под игом войны, с Россией — ныне.] *

* Квадратные скобки в рукописи. — Ред.

17 января

Дневник

Утренние, до ужаса острые мысли, среди глубины отчаянья и гибели.

Научиться читать «Двенадцать». Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда...

О Чапыгине — спасает наш язык («Гореславич»).¹

О Пушкине: в наше, газетное время. «Толпа вошла, толпа вломилась... и ты невольно устыдилась и тайн и жертв, доступных ей». ² Пушкин этого избежал, его хрустальный звук различит только кто умеет. Подражать ему нельзя; можно только «сбросить с корабля современности» ³ («сверхбиржевка» футуристов, они же — «мировая революция»). И все вздор перед Пушкиным, который ошибался в пятистопном ямбе, прибавляя шестую стопу. Что, студия стихотворчества, как это тебе? ⁴

21 января

Дневник

Пушкин. Если бы можно было издать маленького Пушкина, «все, что нужно», — и только. Е. Ф. Книпович думает, что нельзя, т. е. что Пушкин — только весь. Все-таки. ⁵

1812 — 13 — 14 — вовсе пустые.

1815. «Слеза». См. романсы (Батюшков: «Гусар, на саблю опираясь»). Е. П. Бакунина?

1816. «Певец». «Бакунинский год». «Слово милой». Мария Смит, а скорее — Бакунина. 24 л<ет>. «Уныние» («Умру — любя» — Карамзин). ⁶

1817. «Торжество Вакха». «Добрый совет». «По-нашему», это — не перевод. Однако поучитесь, как надо переводить! (Парни).

1818. «К Чаадаеву» («Любви, надежды, гордой

славы)). «К портрету Жуковского» («завистливая даль»: «*invida aetas*» — Hor^(atio), I, 11).

1819. «На лире скромной». Фрейлине Плюсковой? «Деревня». Вот, например: это обратило особое мое внимание, а Е. Ф. Книпович считает, что не нужно во-все. — Вяземский (его стихи и: «о преувеличениях на-счет псковского хамства»). Александр I — «*bons sentiments*»,* а через 17 лет у Пушкина — «чувства доб-рые»⁷ (Погодин и Достоевский). «Возрождение» («Ху-дожник-варвар»). «Зеленая лампа». «Руслан» тут был.

1820. «Мне бой знаком...»

1821. Кажется, пустой.

Е. Ф. Книпович считает, что надо попробовать на-чать с конца (с блестящего и настоящего Пушкина). Попробую.

1836. «Из VI Пиндемонта» (чтобы не узнали).⁸ Вот свобода! Потенция: «Поэт может настаивать на своем праве (на личную свободу), потому что цель его дея-тельности не может быть определена ни им самим, ни другими заранее. Но ведь и там, где эта цель заранее со стороны определима, вмешательство в самый способ ее достижения портит дело. И извозчик, нанятый до ме-ста или на час, хочет, чтобы его не дергали и не меша-ли править лошадьми». ⁹ Вообще — Ефрон, VI, 492. ¹⁰ Грибоедов о свободе. ¹¹ Безумная прихоть певца (Фет). ¹² «Я памятник себе воздвиг...» Державин и Гора-ций. Переделка Жуковского. «*Bons sentiments*» Алек-сандра I 17 лет назад, по поводу «Деревни». «К жене» («Пора, мой друг, пора»).

1835. «Вновь я посетил...». «Когда владыка ассирий-ский...» (см. «Юдифь» Мея). «Жил на свете рыцарь бедный...» (из «Сцен из рыцарских времен»).

1834. «Сказка о золотом петушке».

1833. «Медный всадник».

1832. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждень-ем...» (К жене?) [Подражания Данту]. Терцина Пуш-кина на одну стопу длиннее дантовской.

1831. «Эхо». «Клеветникам России».

⟨Между 2 и 5 февраля⟩

Дневник

Пушкину в молодости, когда он еще был «веселым

* Добрые чувства (фр.). — Ред.

юношей» и т. д. («Вновь я посетил...», Морозов, II, 207),

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой

(I, 241 — «На лире скромной...»).

Это — 1819 год.

Прошло 17 лет. Пушкин «истомлен неравною борьбой» и т. д. (II, 207). Он опять говорит о какой-то «иной свободе» и определяет ее:

никому
Отчета не давать, и т. д.

(«Из VI Пиндемонте» — II, 212)

Эта свобода и есть «счастье». «Вот счастье, вот права!»¹³ То «счастье поэта», которое у «любителей искусства» «не найдет сердечного привета, когда боязненно безмолвствует оно» (II, 129, «Анониму»). Праздность вольную, подругу размышленья¹⁴ (I, 247).

5 февраля
Дневник

Позвонила библиотекаря Пушкинского Дома. Завезла альбом Пушкинского Дома.¹⁵

6 февраля
Дневник

Следующий сборник стихов, если будет: «Черный день».¹⁶

Для того, чтобы уничтожить что-нибудь на том месте, которое должно быть заполненным, следует иметь наготове то, чем заполнить. — Для того, чтобы соединить различное в одном месте, нужно, чтобы это место было пригодно для объединения (способно объединить). — Для того, чтобы что-нибудь сделать, надо уметь. — Заставить делать то, чего тот, кого заставляют, не умеет, бесполезно или даже вредно для дела. — Для того, чтобы писать на каком-нибудь языке, следует владеть этим языком, по крайней мере, быть грамотным. — Занимая время и тратя силы человека на пустяки, не следует рассчитывать, что он ухитрится это самое время и эти самые силы истратить на серьезное дело.

И много других простых изречений здравого смысла, которые теперь совершенно забыты. Пушкин их хорошо помнил, ибо он был культурен.

11 мая
Дневник

1 мая, в первый день Пасхи, мы выехали на извозчике Е. Я. Билицкого, в международном вагоне, с Чуковским и Алянским в Москву.¹⁷ На вокзале меня встретила Н. А. Нолле в царском автомобиле Л. Б. Каменева с большим красным флагом. Три вечера в Политехникуме (мои с Чуковским), устроенные Облонской с полным неуменьем, проходили с возрастающим успехом, но получил я гроши, кроме цветов, записок и писем. Еще я читал в «Доме печати» (где после была — «пря» — «коммунист», П. С. Коган, С. Бобров, «футурист»),¹⁸ в Studio Italiano¹⁹ (приветствие Муратова, Зайцев, милая публика) и в Союзе писателей. Болезнь мешала и читать и ходить. Я ездил в автомобиле (литовском, Балтрушайтиса)²⁰ и на извозниках, берущих 10—15—25 тысяч, всегда вдвоем с беременной Н. А. Нолле (иногда и с П. С. Коганом). Свидания были с Зайцевыми, Чулковым, И. Н. Бороздиным.

5 мая Н. А. Нолле пошла в Художественный театр, рассказала Немировичу и Станиславскому о моей болезни и потребовала денег за «Розу и Крест». Каменный Немирович дал только 300 тысяч. Постановку поставили опять в зависимость от приезда заграничной группы²¹ и т. д. Стали думать, кому продать. Остановились на Незлобине, к театру которого близок П. С. Коган. Управляющий делами Браиловский вычислил, что до генеральной репетиции (в сентябре), если приравнять меня к Шекспиру и дать четверной оклад лучшего режиссера РСФСР, нельзя мне получить больше 1½ миллиона. Станиславский звонил мне каждый вечер, предлагая устроить мой вечер у него для избранной публики в мою пользу, платную генеральную репетицию оперной студии с ним, продажу Луначарскому каких-нибудь стихов для Государственного издательства миллиона за 1½ (предложение самого Луначарского). От всего этого я, слава богу, сумел отказаться.

Узнав о цене Браиловского, Станиславский позвонил Шлуглейту (театр Корша), который наговорил ему,

по его словам, что я — Пушкин, что он не остановится перед 2—3 миллионами и дает сейчас 500 тысяч, чтобы я приостановил переговоры с Незлобиным. Узнав об этом от П. С. Когана, Браиловский мгновенно приехал на мой вечер в Политехникум и на слова Н. А. Нолле, что меня устроят 5 миллионов, сказал, минуту подумав, что он готов на это, а на следующий день привез мне 1 миллион и договор, который мы и подписали. Все это бесконечно утомляло меня, но, будем надеяться, сильно поможет в течение лета, когда надо вылечить.

Визит к Каменевым в Кремль с Коганами, ребенок Ольги Давыдовны, вид на Москву, чтение стихов.<...>

В Москве зверски выбрасывают из квартир массу жильцов — интеллигенции, музыкантов, врачей и т. д. Москва хуже, чем в прошлом году, но народу много, есть красивые люди, которых уже не осталось здесь, улица шумная, носятся автомобили, тепло (не мне), цветет все сразу (яблони, сирень, одуванчики, баранчики), грозы и ливни. Я иногда дремал на солнце у Смоленского рынка на Новинском бульваре.

Мама в Луге, Е. Я. Билицкий помог ей доехать бумагами, письмами, провизией и лошадью.

Люба встретила меня на вокзале с лошадью Билицкого, мне захотелось плакать, одно из немногих живых чувств за это время (давно; тень чувства).

25 мая
Дневник

Наша скудная и мрачная жизнь в первые пять месяцев: отношения Любы и мамы, Любин театр<...>

Болезнь моя росла, усталость и тоска загрызали, в нашей квартире я только молчал.

18 июня
Дневник

Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
ВЛАСТИ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Вся деловая часть предлагаемой книжки основана на подлинных документах, в большинстве своем до сих пор не опубликованных и собранных учрежденной Временным правительством Чрезвычайной комиссией для расследования противозаконных по должности действий бывших министров. Книжка в несколько сокращенном виде (читатель найдет здесь семь новых документов) была напечатана в журнале «Былое» № 15 (помечена 1919 годом, вышла в 1921 году) под заглавием «Последние дни старого режима».

А. Б.

Июль 1921

I

СОСТОЯНИЕ ВЛАСТИ

Болезнь государственного тела России. — Царь, императрица, Вырубова, Распутин. — Великие князья. — Двор. — Кружки: Бадмаев, Андронников и Манасевич-Мануйлов. — Правые. — Правительство; Совет министров; Штюрмер, Трепов и Голицын. — Отношение правительства к Думе. — Гр. Игнатьев и Покровский. — Беляев. — Н. Маклаков и Белецкий. — Протопопов.

На исходе 1916 года все члены государственного тела России были поражены болезнью, которая уже не могла ни пройти сама, ни быть излеченной обыкновенными средствами, но требовала сложной и опасной операции. Так понимали в то время положение все люди, обладавшие государственным смыслом; ни у кого не могло быть сомнения в необходимости операции; спорили только о том, какую степень потрясения, по необходимости сопряженного с нею, может вынести расслабленное тело. По мнению одних, государство должно было и во время операции продолжать исполнять то дело, которое главным образом и ускорило рост болезни: именно, вести внешнюю войну; по мнению других, от этого дела оно могло отказаться.

Как бы то ни было, операция, первый период которой прошел сравнительно безболезненно, совершилась. Она застигла врасплох представителей обоих мнений и протекла в формах, неожиданных для представителей разных слоев русского общества.

Главный толчок к развитию болезни дала война; она уже третий год расшатывала государственный организм, обнаруживая всю его ветхость и лишая его последних творческих сил. Осенний призыв 1916 года захватил тринадцатый миллион землепашцев, ремесленников и всех прочих техников своего дела; непосред-

ственным следствием этого был паралич главных артерий, питающих страну; для борьбы с наступившим кризисом неразрывно связанных между собою продовольствия и транспорта требовались исключительные люди и исключительные способности; между тем власть, раздираемая различными влияниями и лишённая воли, сама пришла к бездействию; в ней, по словам одного из ее представителей, не было уже ни одного «боевого атома», и весь «дух борьбы» выражался лишь в том, чтобы «ставить заслоны».

Император Николай II, упрямый, но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, задержанный и осторожный на словах, был уже «сам себе не хозяин». Он перестал понимать положение и не делал отчетливо ни одного шага, совершенно отдаваясь в руки тех, кого сам поставил у власти. Распутин говорил, что у него «внутри недостает». Имея склонность к общественности, Николай II боялся ее, тая давнюю обиду на Думу. Став верховным главнокомандующим, император тем самым утратил свое центральное положение, и верховная власть, бывшая и без того «в плену у биржевых акул», расплылась окончательно в руках Александры Федоровны и тех, кто стоял за нею.

Императрица, которую иные находили умной и блестящей, в сущности давно уже направлявшая волю царя и обладавшая твердым характером, была всецело под влиянием Распутина, который звал ее Екатериной II, и того «большого мистического настроения» особого рода, которое, по словам Протопопова, охватило всю царскую семью и совершенно отделило ее от внешнего мира. Самолюбивая женщина, «относившаяся к России, как к провинции мало культурной» и совмещавшая с этим обожание Распутина, ставившего ее на поклон; женщина, воспитанная в английском духе и молившаяся вместе с тем в «тайничках» Феодоровского собора, — действительно управляла Россией. «Едва ли можно сохранить самодержавие, — писал около Нового года придворный историограф, генерал Дубенский, — слишком проявилась глубокая рознь русских интересов с интересами Александры Федоровны».

В «мистический круг» входила наивная, преданная и несчастливая подруга императрицы А. А. Вырубова, иногда судившая царя «своею простотою ума», покор-

ная Распутину, «фонограф его слов и внушений» (слова Протопопова). Ей, по ее словам, «вся Россия присылала всякие записки», которые она механически передавала по назначению.

«Связью власти с миром» и «ценителем людей» был Григорий Распутин; для одних — «мерзавец», у которого была «контора для обделывания дел»; для других — «великий комедьянт»; для третьих — «удобная педаля немецкого шпионажа»; для четвертых — упрямый, неискренний, скрытый человек, который не забывал обид и мстил жестоко и который некогда учился у магнетизера. О вреде Распутина напрасно говорили царю такие разнообразные люди, как Родзянко, генерал Иванов, Кауфман-Туркестанский, Нилов, Орлов, Дрентельн, великие князья, Фредерикс. Мнения представителей власти, знавших этого безграмотного «старца», которого Вырубова назвала «неаппетитным», при всем их разнообразии, сходятся в одном: все они — нелестны; вместе с тем, однако, известно, что все они, больше или меньше, зависели от него; область влияния этого человека, каков бы он ни был, была громадна; жизнь его протекала в исключительной атмосфере истерического поклонения и непреходящей ненависти: на него молились, его искали уничтожить; недюжинность распутного мужика, убитого в спину на юсуповской «вечеринке с граммофоном»,¹ сказала, пожалуй, более всего в том, что пуля, его прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии.

Затворники Царского Села и «маленького домика» Вырубовой, окрестившие друг друга и тех, кто приходил с ними в соприкосновение, такими же законспирированными кличками, какие были в употреблении в самых низах — в департаменте полиции, — были отделены от мира пропастью, которая, по воле Распутина, то суживалась, открывая доступ избранным влияниям, то расширялась, становясь совершенно непреходимой даже для родственников царя, отодвинутых тем же Распутиным на второй план; часть их перешла в оппозицию. «Теперь все Владимировичи и все Михайловичи в полном протесте против императрицы», — записывал в дневнике генерал Дубенский; они обращались к царю с письмами и записками; так, Георгий Михайлович в ноябре писал царю о ненависти к Штюрмеру самых умеренных кругов в армии и об ответственном

министерстве, как единственной мере для спасения России. Письмо Николая Михайловича уже было опубликовано. Обширное письмо вел. кн. Александра Михайловича к царю от 25 декабря 1916 — 4 февраля 1917 годов приводится в приложении (первом), в конце книги.²

Милюков был в среде этих оппозиционно настроенных великих князей после убийства Распутина, в котором один из них был замешан, что особенно отшатнуло от них царя, написавшего в ответ на просьбу «смягчить участь» Дмитрия Павловича известную фразу: «Никому не дано право заниматься убийством». Настроение в этой среде было двойственное: радовались тому, что очистилась атмосфера, но к возможности безболезненного исхода из положения относились безнадежно.

Гораздо ближе к царской семье стоял круг придворных. В этом кругу, где «атмосфера, — по выражению Воейкова, — была манекен», кипела борьба мелких самолюбий и интриг. Десятка два людей, у каждого из которых были свои обязанности («я в шахматы играю, я двери открываю»), трепетали над тем, кто из них займет место министра двора после смерти старого, временами вовсе выживающего из ума, «дорогого графа» Фредерикса, к которому царь питал большую привязанность. Некоторые из этих людей, весьма занятых биржевыми делами и получивших от правительственных низов не очень лестный эпитет «придворной рвани», были, по-своему, «конституционно» настроены; большинство питало ярую ненависть к Распутину. Среди них выделялись — ближе всех стоявший к царской семье зять Фредерикса, Воейков, ловкий коммерсант и владелец Куваки,³ — и Нилов, старый «морской волк», пьяница, которого любили за грубость; этот последний всех откровеннее говорил с царем о Распутине; получив отпор, как все остальные, он смирился и твердил одно: «Будет революция, нас всех повесят, а на каком фанаре, все равно».

Эта среда, как и среда правительственная, была ареной, на которой открывался широкий простор влияниям больших и малых кружков; отсюда летели записки, диктовались назначения, шла вся «большая политика»; наиболее видными кружками были кружки Бадмаева, кн. Андронникова и Манасевича-Мануйлова.

Бадмаев — умный и хитрый азиат, у которого в голове был политический хаос, а на языке шуточки, и который занимался, кроме тибетской медицины, бурятской школой и бетонными трубами, — дружил с Распутиным и с Курловым, некогда сыгравшим роль в убийстве Столыпина; при помощи бадмаевского кружка получил пост министра внутренних дел Протопопов.

Князь Андронников, вертевшийся в придворных и правительственных кругах, подносивший иконы министрам, цветы и конфеты их женам, и знакомый с царскосельским камердинером, характеризует сам себя так: «человек, гражданин, всегда желавший принести как можно больше пользы».

Манасевич-Мануйлов, ловкий и умный журналист, был сотрудником «Нового времени», газеты, много лет вдохновлявшей и пугавшей правительство.

Партия правых, сильно измельчавшая, также разбилась на кружки, которые действовали путем записок и личных влияний. Их оппозиция правительству принимала угрожающие размеры при попытках сократить субсидии, которыми они пользовались всегда, но размеры которых не были баснословны. Среди правых были, по-видимому, и люди, действительно бескорыстно преданные идее самодержавия. Для этих «последних могижан», по выражению Н. Маклакова, было, однако, ясно, что они «стояли у могилы того, во что веровали»; в записке, составленной в кружке Римского-Корсакова и переданной царю кн. Голицыным в ноябре, и в записке Говорухи-Отрока с поправкой Маклакова, переданной царю в январе (читатель найдет обе в конце книги — приложения II и III), правые тщетно пытались убедить его взять более твердый курс, особенно по отношению к Думе, и оставить подражание «походке пьяного — от стены к стене». Не остановили крушения — ни выходка Маркова,⁴ ни письмо Маклакова (см. приложение IV), ни попытка усиления правого крыла Государственного совета⁵ при содействии политически беспринципного Щегловитова, ни последние назначения, вроде назначения князя Голицына.

Если все описанные круги были проникнуты своеобразным мирозерцанием, которое хоть по временам давало возможность взглянуть в лицо жизни, — то кру-

ги бюрократические, непосредственно к ним примыкающие и перед ними ответственные, давно были лишены какого бы то ни было миросозерцания. Все учащуюся смену лиц в этих кругах Пуришкевич назвал «министерской чехардой»; но лица эти не обновляли и не поддерживали власть, а только ускоряли ее падение. Правительство, которое давно не имело представления не только о народе, но и о «земской России и Думе», возглавлялось «недружным, друг другу не доверяющим» Советом министров; это учреждение перестало жить со времен П. А. Столыпина, последнего крупного деятеля самодержавия; с тех пор оно постепенно превращалось, а при Штюрмере фактически превратилось, в старый Комитет министров, стоящий вне политики и занимающийся «деловым» регулированием общеимперской службы, которая, по словам людей живых и сколько-нибудь связанных со страной, давно стала «каторгой духа и мозга». «Совет министров, — говорит Протопопов, — остался позади жизни и стал как бы тормозом народному импульсу».

В сущности, уже замена на посту председателя Совета министров опытного, но окончательно одряхлевшего бюрократа Горемыкина Штюрмером, в котором царь, как оказалось впоследствии, видел «земского деятеля», заставила многих призадуматься. Штюрмер имел весьма величавый и хладнокровный вид и сам аттестовал свои руки, как «крепкие руки в бархатных перчатках». На деле он был только «футляром», в котором скрывался хитрый обыватель, делавший все «под шумок», с «канцелярскими уловками»; это была игрушка в руках Манасевича-Мануйлова, «старикашка на веревочке», как выразился о нем однажды Распутин, которому случалось и прикрикнуть на беспамятного, одержимого старческим склерозом и торопившегося, как бы только сбить с рук дело, премьера.

Ославленному Милюковым в Думе Штюрмеру пришлось уступить место Трепову. На долю этого бюрократа выпала непосильная задача — взять твердый курс в ту минуту, когда буря началась (в ноябре 1916 года); при Трепове считалось «хорошим тоном» избегать применения 87 статьи; но все уловки только подливали масла в огонь, и недостаточно сильный, ничего не успевший изменить за 48 дней своего премьерства, Трепов пал, побежденный Протопоповым, которому уда-

лось уловить его на предложении отступного Распутину (чтобы последний не мешался в государственные дела).

Последним премьером был князь Н. Д. Голицын, самые обстоятельства назначения которого показывают, до какой растерянности дошла власть. Стоявший вдали от дел и заведовавший с 1915 года только «Комитетом помощи русским военнопленным», Голицын был вызван в Царское Село, будто бы императрицей. Его встретил царь, который поговорил о том, кого бы назначить премьером («Рухлов не знает французского языка, а на днях собирается конференция союзников»), и, наконец, сказал: «Я с вами хитрю, вызвал вас я, а не императрица, мой выбор пал на вас». Голицын, «мечтавший только об отдыхе», напрасно просился в отставку. Едва ли старый аристократ, брезгливо называвший народ «чернью» и нетвердо знакомый с делопроизводством Совета министров, мог справиться с претившими ему ставленниками Распутина — Протопоповым и Добровольским; Протопопова не могли осилить и более сильные, у него была особая звезда, погасшая лишь тогда, когда все было кончено.

Характерно для той «большой политики», которую делал Совет министров и которая сводилась к изысканию средств отдалить неминуемый созыв Государственной думы, заседание Совета министров 3 января. Его деловая сторона изложена в следующей «памятной записке», составленной И. Лодыженским:

«Совет Министров, в заседании 3 января 1917 года, обсуждал вопрос о времени предстоящего возобновления занятий законодательных учреждений, причем в среде Совета были заявлены различные мнения.

Пять членов (Покровский, Шуваев, Николаенко, Феодосьев и Ланговой) высказались, что в соответствии с Высочайшим Указом от 15 декабря 1916 года Государственная Дума должна быть созвана 12 января, но возможность созыва Думы должна быть подготовлена соответствующими мероприятиями.

Председатель и 8 членов (Григорович, Риттих, Добровольский, Протопопов, Разумовский, Войновский-Кригер, Раев и Кульчицкий) находили, что при настоящем настроении думского большинства открытие Думы и появление в ней Правительства неизбежно вызовет нежелательные и недопустимые выступления, следствием коих должен бы явиться роспуск Думы и на-

значение новых выборов. Во избежание подобной крайней меры, Председатель и согласные с ним Члены Совета считали предпочтительным на некоторое время отсрочить созыв Думы, назначив срок созыва на 31 января.

А. Д. Протопопов, к мнению которого присоединились Н. А. Добровольский, Н. К. Кульчицкий и Н. И. Раев, полагали продолжить срок настоящего перерыва занятий Думы до 14 февраля».

Эту формальную и сухую запись дополняет живая характеристика заседания, сделанная одним из его участников — Н. Н. Покровским. Из его рассказа мы знаем, что Протопопов развивал здесь свою «необыкновенную теорию политических течений в России», которую он повторил и в заседании 25 февраля. Теория, по словам Н. Н. Покровского, заключалась в том, что революционное течение (анархизм и социализм) постепенно втекает в оппозиционное (общественные элементы с Государственной думой во главе); таким образом, оппозиционное течение совпадает с революционным и стремится захватить власть, вследствие чего следует бороться с оппозицией всеми средствами, вплоть до роспуска Думы. Далее, Протопопов, по словам Покровского, предлагал «графическую схему» и «нес околесную», так что несколько лиц переглянулись и спросили друг друга: «Вы что-нибудь поняли?» Характерно, однако, что мнение Протопопова и было принято; правда, он пошел на известную уступку.

Среди членов правительства было немного лиц, о которых можно говорить подробно, так как их личная деятельность мало чем отмечена; все они неслись в неудержимом водовороте к неминуемой катастрофе. Среди них были и люди высокой честности, как, например, министр народного просвещения граф Игнатев, много раз просившийся в отставку и смененный Кульчицким лишь за два месяца до переворота, или министр иностранных дел Покровский, которому приходилось указывать на невозможность руководить внешней политикой при существующем курсе политики внутренней; но и эти люди ничего не могли сделать для того, чтобы предотвратить катастрофу.

Большую роль в февральские дни пришлось сыграть последнему военному министру генералу Беляеву, которого Родзянко считает человеком порядочным.

А. А. Поливанов характеризует его, как своего бывшего ученика — старательного и добросовестного, но к творчеству неспособного и склонного к угодничеству.

Нельзя обойти молчанием двух лиц, которые приняли участие в разворачивающихся событиях и готовились стать у власти. Один из них — бывший министр внутренних дел, любимец царя, Н. Маклаков, которого царский курьер не застал на Рождестве в Петербурге; по-видимому, он имел шансы сменить Протопопова; будучи человеком правых убеждений, Маклаков признавал «вне суматохи и бесконечного верчения административного колеса», что дело правых, которых «били, не давали встать, и опять били», безвозвратно проиграно.

Другим претендентом на власть, который должен был накануне переворота стать заместителем генерала Батюшина, был С. Белецкий, выдающийся в свое время директор департамента полиции, едва не ставший обер-прокурором синода; это был человек практики, услужливый и искательный, который умел «всюду втереться».

Последнему министру внутренних дел Протопопову суждено было занять исключительное место в правительственной среде. Роль его настолько велика, что на его характеристике следует остановиться подробнее.

А. Д. Протопопов, помещик и промышленник из симбирских дворян и член Государственной думы от партии 17 октября, был выбран товарищем председателя четвертой Государственной думы. О нем заговорили тогда, когда, весной 1916 года, он отправился за границу, в качестве члена парламентской делегации, и на обратном пути, в Стокгольме, имел беседу с советником германского посольства Варбургом. Подробности этой беседы, имевшей целью нащупать почву для заключения мира, передавались различно, не только лицами, осведомленными о ней, но и самим Протопоповым.

В то время у Протопопова были уже широкие планы. Он лелеял мысль о большой газете, которая объединила бы промышленные круги и в которой сотрудничали бы «лучшие писатели — Милуков, Горький и Меньшиков». Газета воплотилась впоследствии в «Русскую волю». Тогда же в голову его вступила «дурная и несчастная мысль насчет министерства», ибо

«честолюбие его бегало и прыгало»; первоначально он думал лишь о министерстве торговли.

Действуя одновременно в разных направлениях и не порывая отношений с думской средой, Протопопов сумел проникнуть к царю и заинтересовать его своей стокгольмской беседой, а также — приблизиться к Бадмаеву, с которым свела его болезнь, и к его кружку, где он узнал Распутина и Вырубову.

16 сентября 1916 года Протопопов, неожиданно для всех и несколько неожиданно для самого себя, был, при помощи Распутина, назначен управляющим министерством внутренних дел. Ему сразу же довелось проникнуть в самый «мистический круг» царской семьи, оставив за собой как Думу и прогрессивный блок, из которых он вышел, так и чуждые ему бюрократические круги, для которых он был неприятен, и придворную среду, которая видела в нем выскочку и, со свойственной ей порою вульгарностью языка, окрестила его «балаболкой».

Почувствовав «откровенную преданность» и искреннее обожание к «Хозяину Земли Русской» и его семье, и получив кличку «Калинина» (данную Распутиным), Протопопов, с присущим ему легкомыслием и «манией величия», задался планами спасения России, которая все чаще представлялась ему «царской вотчиной». Он замыслил передать продовольственное дело в министерство внутренних дел, произвести реформу земства и полиции и разрешить еврейский вопрос.

На деле оказалось прежде всего полное незнание с ведомством, сказавшееся, например, при посещении Москвы, описанном Челноковым. Протопопов стал управлять министерством, постоянно болея «дипломатическими болезнями», при помощи многочисленных и часто меняющихся товарищей; среди них были неофициальные, как Курлов, возбуждавший особую к себе и своему прошлому ненависть в общественных кругах. Протопопову, по его словам, «некогда было думать о деле»; он втягивался все более в то, что называлось в его времена «политикой»; будучи «редким гостем в Совете Министров», он был частым гостем Царского Села.

С первого шага Протопопов возбудил к себе нелюбовь и презрение общественных и правительственных кругов. Отношение Думы сказалось на совещании

с членами прогрессивного блока, устроенном 19 октября у Родзянки (см. приложение V в конце книги); но Протопопов, желавший, «чтобы люди имели счастье», и полагавший, что «нельзя гений целого народа поставить в рамки чиновничьей указки», оказался, несмотря на жандармский мундир Плеве, в котором он однажды щегольнул перед думской комиссией, неприемлемым и для бюрократии, увидавшей в нем мечтателя и общественного деятеля; недаром сам Распутин сказал однажды, что Протопопов — «из того же мешка» и что у него «честь тянется, как подвязка».

К этому присоединилось влияние личного характера Протопопова, который «стал в контры с собственной думой» и заставил многих сделать из него «притчу во языцах» и отнестись к нему юмористически. Характерно, например, его (ставшее известным лишь впоследствии) знакомство с гадалем Шарлем Перэном, едва ли не германским шпионом, о чем и предупреждал директор департамента полиции; Протопопов не хотел об этом знать, веруя в свой «рок»; он неудержимо интересовался тем, что говорил ему Перэн: что «его планета — Юпитер, которая проходит под Сатурном», и различные гороскопические вещи.

Полная неудача в замысленных реформах и травля со всех сторон озлобили Протопопова. В то время как Милюков, накануне убийства Распутина, назвал его в Думе «загадочной картинкой», Протопопов вступил уже на путь «революционно-правовой», по собственному выражению, политики, выразившейся в борьбе с Государственной думой, запрещении съездов, преследовании общественных организаций и печати, давлении на выборы и, наконец, многочисленных арестах, завершившихся январским арестом рабочей группы Военно-промышленного комитета.⁶ Этим, а также и тем, что на Протопопова временами «накатывало», что сближало его с духом Царского Села, объясняется его пребывание на посту до конца; после убийства Распутина 17 декабря положение Протопопова не только не пошатнулось, но упрочилось: 20 декабря он был из управляющих сделан министром внутренних дел, и с тех пор, несмотря на все окружавшие его враждебные толки и на многочисленные попытки весьма влиятельных лиц заставить его уйти, продолжал свое дело до последней минуты.

Личность и деятельность Протопопова сыграли решающую роль в деле ускорения разрушения царской власти. Распутин накануне своей гибели как бы завещал свое дело Протопопову, и Протопопов исполнил завещание. В противоположность обыкновенным бюрократам, которым многолетний чиновничий опыт помогал сохранять видимость государственного смысла, Протопопов принес к самому подножию трона весь истерический клубок своих личных чувств и мыслей; как мяч, запущенный расчетливой рукой, беспорядочно отскакивающий от стен, он внес развал в кучу порядливо расставленных, по видимости устойчивых, а на деле шатких кегель государственной игры.

В этом смысле Протопопов оказался действительно «роковым человеком».

II

НАСТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА И СОБЫТИЯ НАКАНУНЕ ПЕРЕВОРОТА

Январские и февральские доклады петербургского охранного отделения. — Арест Рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета и роль Обросимова. — Выделение Петербургского военного округа. — Приготовления к 14 февраля. — Настроения светских кругов и армии. — Последний всеподданнейший доклад Родзянко. — Н. Маклаков и его проект манифеста. — Открытие сессии законодательных палат.

Таково было состояние власти, «охваченной, — по выражению Гучкова, — процессами гниения», что сопровождалось «глубоким недоверием и презрением к ней всего русского общества, внешними неудачами и материальными невзгодами в тылу». За несколько месяцев до переворота, в Особом совещании по государственной обороне,⁷ под председательством генерала Беляева, Гучков сказал в своей речи: «Если бы нашей внутренней жизнью и жизнью нашей армии руководил германский генеральный штаб, он не создал бы ничего, кроме того, что создала русская правительственная власть». Родзянко назвал деятельность этой власти «планомерным и правильным изгнанием всего того, что могло принести пользу в смысле победы над Германией».

Единственным живым органом, который учитывал политическое положение и понимал, насколько опасна для расстроенного правительства организованная общественность, которая, в лице прогрессивного блока, военно-промышленных комитетов и других общественных организаций, давно могла с гораздо большим успехом действовать в направлении обороны страны, был департамент полиции. Доклады охранного отделе-

ния в 1916 году дают лучшую характеристику общественных настроений; они исполнены тревоги, но их громкого голоса умирающая власть уже услышать не могла.

В секретном докладе «отделения по охранению общественной безопасности и порядка в столице» от 5 января, на основании добытого через секретную агентуру осведомительного материала, сообщается, что, по слухам, были перед Рождеством какие-то законспирированные совещания членов левого крыла Государственного совета и Государственной думы, что постановлено ходатайствовать перед высочайшею властью об удалении целого ряда представителей правительства с занимаемых ими постов; во главе означенного списка стоят Щегловитов и Протопопов.

«Настроение в столице носит исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи, как о намерениях Правительственной власти, в смысле принятия различного рода реакционных мер, так равно и о предположениях враждебных этой власти групп и слоев населения, в смысле возможных и вероятных революционных начинаний и эксцессов. Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений, как с той, так и с другой стороны. Одинаково серьезно и с тревогой ожидают, как разных революционных вспышек, так равно и несомненного якобы в ближайшем будущем, «дворцового переворота», провозвестником коего, по общему убеждению, явился акт в отношении „пресловутого старца“».

Далее сообщается, что всюду идут толки об общем (а не только партийном) терроре, в связи с вероятным окончательным роспуском Думы. Политический момент напоминает канун 1905 года; «как и тогда, все началось с бесконечных и бесчисленных съездов и совещаний общественных организаций, выносивших резолюции резкие по существу, но, несомненно, в весьма малой и слабой степени выражавшие истинные размеры недовольства широких народных масс населения страны».

Весьма вероятно, что начнутся студенческие беспорядки, к которым примкнут и рабочие, что все это увенчается попытками к совершению террористических актов, хотя бы в отношении нового Министра Народного Просвещения или Министра Внутренних Дел, как

главного, по указаниям, виновника всех зол и бедствий, испытываемых страной».

«Либеральная буржуазия верит, что в связи с наступлением перечисленных выше ужасных и неизбежных событий, Правительственная власть должна будет пойти на уступки и передать всю полноту своих функций в руки кадет, в лице лидируемого ими прогрессивного блока, и тогда на Руси «все образуется». Левые же упорно утверждают, что наша власть зарвалась, на уступки ни в коем случае не пойдет и, не оценивая в должной мере создавшейся обстановки, логически должна привести страну к неизбежным переживаниям стихийной и даже анархической революции, когда уже не будет ни времени, ни места, ни оснований для осуществления кадетских вождедений и когда, по их убеждениям, и создастся почва для „превращения России в свободное от царизма государство, построенное на новых социальных основах“».

Перед 9 января начальник охранного отделения Глобачев докладывает о «настроениях революционного подполья» по партиям и приходит к следующему выводу: «Ряд ликвидаций последнего времени в значительной мере ослабил силы подполья, и ныне, по сведениям агентуры, к 9 января возможны лишь отдельные разрозненные стачки и попытки устроить митинги, но все это будет носить неорганизованный характер». Однако же здесь констатируется «общая распропагандированность пролетариата».

19 января вновь следует обширный «совершенно секретный» доклад охранного отделения. «Отсрочка Думы продолжает быть центром всех суждений... Рост дороговизны и повторные неудачи правительственных мероприятий по борьбе с исчезновением продуктов вызвали еще перед Рождеством резкую волну недовольства... Население открыто (на улицах, в трамваях, в театрах, магазинах) критикует в недопустимом по резкости тоне все Правительственные мероприятия».

Отмечаются: «успех крайне левых журналов и газет» («Летопись», «Дело», «День», «Русская воля» и появление «Луча»); оппозиционные речи «в самых умеренных по своим политическим симпатиям кругах»; доверчивость широких масс к Думе, которая еще

недавно считалась «черносотенной» и «буржуазной», разговоры о «мужестве Милюкова и Родзянки» после 1 ноября.

«Озлобленное дороговизной и продовольственной разрухой большинство обывателей — в тумане», питается «злостными сплетнями» о «Думской петиции», об «организации офицеров, постановившей убить ряд лиц, якобы мешающих обновлению России».

«Неспособные к органической работе и переполнившие Государственную Думу политиканы... способны своими речами разрухе тыла... Их пропаганда, не остановленная Правительством в самом начале, упала на почву усталости от войны; действительно возможно, что роспуск Государственной Думы послужит сигналом для вспышки революционного брожения и приведет к тому, что Правительству придется бороться не с ничтожной кучкой оторванных от большинства населения членов Думы, а со всей Россией».

«Резюмируя эти колеблющиеся настроения в нескольких словах, можно сказать, что ожидаемый массами в феврале месяце роспуск Государственной Думы не обязательно вызовет, но легко может вызвать всеобщую забастовку, которая объединит в себе всевозможные политические направления и которая, начавшись под флагом популярной сейчас «борьбы за Думу», окончится требованием окончания войны, всеобщей амнистии, всех свобод и пр.».

В действующей армии, согласно повторным и все усиливающимся слухам, террор широко развит в применении к нелюбимым начальникам, как солдатам, так и офицерам». «Поэтому, слухи о том, что за убийством Распутина — этой «первой ласточки» террора — начнутся другие «акты», — заслуживают самого глубокого внимания... Нет в Петрограде в настоящее время семьи так называемого «интеллигентного обывателя», где «шепотком» не говорилось бы о том, что «скоро, наверное, прикончат того или иного из представителей правящей власти» и что «теперь такому-то безусловно несдобровать». Характерный показатель того, что озлобленное настроение пострадавшего от дороговизны обывателя требует кровавых гекатомб из трупов министров, генералов... В семьях лиц, мало-мальски затронутых политикой, открыто и свободно раздаются речи

опасного характера, затрагивающие даже Священную Особу Государя Императора».

Далее сообщаются слухи о «национальной партии», образованной Пуришкевичем, о резко намечающемся авантюризме наших доморожденных «Юань-Шикаев», в лице Гучкова, Коновалова, князя Львова, стремящихся использовать могущие неожиданно вспыхнуть «события» в своих личных видах и целях и беззащитным провокационным образом муссирующих настрояние представителей авторитетных рабочих групп Военно-промышленных комитетов.

«Общий вывод из всего изложенного»: «если рабочие массы пришли к сознанию необходимости и осуществимости всеобщей забастовки и последующей революции, а круги интеллигенции — к вере в спасительность политических убийств и террора», то это указывает на «кажду общества найти выход из создавшегося политически-ненормального положения, которое с каждым днем становится все ненормальнее и напряженнее».

Следующий «совершенно секретный» доклад генерала Глобачева относится к 26 января.

«Передовые и руководящие круги либеральной оппозиции, — сообщается здесь, — уже думают о том, кому и какой именно из ответственных портфелей удастся захватить в свои руки». При этом, «в данный момент находятся в наличности две исключительно серьезные общественные группы», которые «самым коренным образом расходятся по вопросу о том, как разделить „шкуру медведя“».

«Первую из этих групп составляют руководящие «дельцы» парламентского прогрессивного блока, возглавляемые перешедшим в оппозицию и упорно стремящимся «к премьерству» председателем Государственной Думы — шталмейстером Родзянко». Они окончательно изверились в возможность принудить представителей правительства уйти со своих постов добровольно и передать всю полноту своей власти думскому большинству, долженствующему насадить в России начала «истинного парламентаризма по западноевропейскому образцу». Поэтому их задача состоит в том, чтобы «заручиться хотя бы дутыми директивами „народа“», для чего войти в сношение с «сохранившей свою революционную физиономию, но в то же самое

время явно отколовшейся от руководящих кругов социалистического старого «Интернационала» рабочей группой». «Дав время рабочей массе самостоятельно обсудить задуманное, представители рабочей группы лично и через созданную ею особую «пропагандистскую коллегию» должны организовать ряд массовых собраний по фабрикам и заводам столицы и, выступая на таковых, предложить рабочим прекратить работу в день открытия заседаний Государственной Думы — 14 февраля сего года — и, под видом мирно настроенной манифестации, проникнуть ко входу в Таврический Дворец. Здесь, вызвав на улицу председателя Государственной Думы и депутатов, рабочие, в лице своих представителей, должны громко и открыто огласить принятые на предварительных массовых собраниях резолюции с выражениями их категорической решимости поддержать Государственную Думу в ее борьбе с ныне существующим Правительством». При этом, опасения рабочей группы противодействия со стороны «инакомыслящих подпольных социалистических течений» отпали, потому что «социал-демократические группы большевиков, объединенцев и интернационалистов-ликвидаторов не склонны ни противодействовать, ни способствовать их затее», а «занять выжидательную позицию».

Во главе второй группы, «действующей пока за-конспирированно и стремящейся во что бы то ни стало «выхватить будущую добычу» из рук представителей думской оппозиции, стоят не менее жаждущие власти А. И. Гучков, князь Львов, С. Н. Третьяков, Коновалов, М. М. Федоров и некоторые другие». Эта группа рассчитывает на то, что думцы не учитывают «еще не подорванного в массах лойяльного населения обаяния Правительства» и — с другой стороны — «инертности» народных масс. Вся надежда этой группы — «неизбежный в самом ближайшем будущем дворцовый переворот, поддержанный всего-навсего одной, двумя сочувствующими воинскими частями». «Независимо от вышеизложенного, вторая группа, скрывая до поры до времени свои истинные замыслы, самым усердным образом идет навстречу первой», причем «заслуживает исключительного внимания возникшее по инициативе А. И. Гучкова предположение о созыве в начале февраля особого и чрезвычайного совещания руководя-

щих представителей Центрального Военно-Промышленного Комитета, «Земгора»,⁸ думских оппозиционных фракций, профессуры, общественных организаций и, по возможности, Государственного Совета»...

«Что будет и как все это произойдет, — заканчивает охранное отделение, — судить сейчас трудно, но, во всяком случае, воинствующая оппозиционная общественность безусловно не ошибается в одном: события чрезвычайной важности и чреватые исключительными последствиями для русской государственности „не за горами“».

По-видимому, непосредственным результатом этого доклада и был арест рабочей группы, состоявшийся 27 января. Об этой ликвидации охранное отделение составило секретный доклад. Здесь указывается, что представители группы «организовали и подготавливали демонстративные выступления рабочей массы столицы на 14 февраля», с тем; чтобы заявить депутатам Думы свое «требование незамедлительно вступить в открытую борьбу с ныне существующим правительством и Верховной властью и признать себя впредь, до установления нового государственного устройства, Временным правительством. Матерьял, взятый при обысках, вполне подтвердил изложенные сведения, вследствие чего переписка по этому делу, ввиду признаков преступления, предусмотренного 102 статьей Уголовного Уложения,⁹ передана Прокурору Петроградской Судебной Палаты».

Кроме того, были обысканы и арестованы четыре члена «пропагандистской коллегии Рабочей Группы», у которых «достаточного матерьяла для привлечения их к судебной ответственности не обнаружено»; тем не менее они признаны «лицами, безусловно вредными для государственного порядка и общественного спокойствия»; предложено выслать их из Петербурга под гласный надзор полиции.

А. И. Гучков, по его словам, был убежден, что департаменту полиции удастся проникнуть в среду тех человек пятнадцати рабочих, которые были в составе Центрального военно-промышленного комитета, о чем он не раз предупреждал председателя рабочей группы Гвоздева. Арест был предпринят, по-видимому, не департаментом, а министерством внутренних дел, «как акт

высокой политики». В этом сознался и Протопопов, который докладывал царю, что образование рабочих секций опасно и напоминает «организацию Хрусталева-Носаря 1905 года». Протопопов советовался об аресте с Хабаловым, который написал письмо Гучкову с указанием на революционность рабочей группы. Ответа на это письмо не было, и Протопопов решил произвести арест «по ордеру военного начальства», получив на это разрешение от царя.

После ареста Гучков и Коновалов предприняли три шага: во-первых, выступили с протестом в прессе; во-вторых, поехали к князю Голицыну, минуя Белецкого, Васильева и Протопопова; с последним Гучкову особенно тяжело было встречаться, как с бывшим товарищем по фракции.

«Если бы вам приходилось арестовывать людей за оппозиционное настроение, то вам всех нас пришлось бы арестовать», — сказал Гучков Голицыну. Последний «отнесся благосклонно», сослался на Протопопова и обещал пересмотреть дело. Протопопов рассказывает, что Голицын сказал ему, что он сделал ошибку, арестовав рабочую группу после того письма с призывом рабочих к спокойствию, которое было опубликовано в газетах и подписано членами рабочей группы (а сфабриковано — в департаменте полиции). Гучков доказывал Голицыну, что группа не замышляла ни вооруженного восстания, ни переворота, но занималась политикой в том смысле, что считала возможным решение вопросов обороны лишь при условии изменения политических условий работы.

Третьим шагом Гучкова и Коновалова было собрание представителей Центрального военно-промышленного комитета и Особого совещания по обороне. Об этом собрании обстоятельно повествует совершенно секретный доклад охранного отделения от 31 января.

Собрание состоялось 29 января в 11 часов утра «экстренно и с соблюдением ряда предосторожностей», при участии представителей Центрального военно-промышленного комитета (Гучков, Коновалов, Кутлер и др.), Московского военно-промышленного комитета (Переверзев и др.), Государственной думы (Керенский, Чхеидзе, Аджемов, Караулов, Милюков, Бубликов и др.), Государственного совета и Земского и Город-

ского союзов (фамилии охранному отделению неизвестны). Председательствовавший Гучков сообщил об аресте группы; все высказали полное сочувствие и готовность подать голос в защиту организации. Охранное отделение заканчивает свой доклад хвастливым выводом, основанным на наблюдении «настроений участников означенного совещания: имеются все данные для того, чтобы признать факт ликвидации рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета действительно исключительным по неожиданности и впечатлению ударом для оппозиционной и на боевой лад настроившейся общественности. Розовые перспективы хитро задуманных и через рабочую группу подготавливавшихся массовых рабочих выступлений в значительной степени поблекли; но, во всяком случае, если многие рабочие души и отчаялись в возможности осуществления вождеванных достижений, то более стойкие и упористо-настроенные «завоеватели власти» могли с досадой воскликнуть лишь одно: „срывалось, придется начинать сначала”».

В докладе подробно описано настроение собравшихся и содержание их речей. Между прочим, содержание речи некоего представителя рабочей группы, рабочего Обросимова, скромно излагается так: он «указал на ошибку тех, кто стремится видеть в аресте представителей группы лишь своего рода юридически интересный факт; здесь нужно признать наличность явления, имеющего крупное политическое значение и в той или иной мере задевающего русскую общественность».

А. И. Гучков рассказывает, что Обросимов, к удивлению его оказавшийся на свободе, произнес резкую речь о том, что группа только прикидывалась мирной, а на самом деле преследует революционные цели вплоть до вооруженного восстания и свержения власти, для чего и пошла в Комитет.

Обросимов как бы оправдывал действие власти. Гучков, всегда относившийся к нему с предубеждением, ответил, что его слова расходятся с тем, что ему, Гучкову, известно, и с тем, что говорили Гвоздев и его товарищи, сидящие под арестом. Обросимов замолчал и сел; однако его слова смутили присутствующих. Чхеидзе и другие левые промолчали, по-видимому, не слишком доверяя аудиторией.

Обросимов принадлежал вообще к самому левому флангу и науськивал группу на самые резкие выступления даже на съезде. Группа была арестована вся, кроме двух рабочих, которых не было в городе, и Обросимова, объяснившего, что его не было дома. Председатель группы Гвоздев не убедился подозрениями Гучкова и доверчиво считал, что Обросимов человек хороший. Гучкова же убеждало в том, что Обросимов не чист, еще и то обстоятельство, что ему было известно, что в департаменте полиции имеется подробный отчет о совещании, не могший пройти через канцелярию Военно-промышленного комитета. Протопопов рассказывает, что Обросимов согласился отбыть наказание и что он, Протопопов, испросил бы у царя помилование этому сотруднику и дал бы ему возможность бежать, как это делалось обычно. Обросимов, по словам Гучкова, человек «недалекий, неспособный, насвистанный».

Подробности совещаний группы Гучкову неизвестны; «к нам, — говорит он, — они приходили уже сговорившимися, застрельщиками»; они вошли в группу не столько из интереса к работе по обороне, сколько из-за того, что тут им представлялась единственная возможность организовать в легальной форме, для преследования своих интересов.

После ареста Обросимова Протопопов боялся, что департамент полиции не будет больше получать сведений о рабочей среде. Васильев успокоил его, что сведения будут «так же, как и прежде». «Очевидно, — говорит Протопопов, — постоянных сотрудников в рабочей среде департамент полиции имел достаточно».

Был проект арестовать Гучкова. Царь боялся его, а Протопопов доложил, что арест только «увеличил бы его популярность», которая «будет подорвана, когда обнаружатся злоупотребления в Военно-Промышленном Комитете». «Царь, — прибавляет он, — понимал, что я ему доложил правду». Г-жа Сухомлинова написала Протопопову, что «за арест секции в Царском Селе ему поставлен плюс».

Итак, министерство внутренних дел «нанесло удар оппозиции»; однако тревожное настроение росло. Глобачев доносит о забастовках и сходках на фабриках и заводах 31 января, 1, 3, 4 февраля. 5 февраля по-

является его обширнейший и совершенно секретный доклад о «положении продовольственного дела в столице», а 7 февраля — соображения по поводу «широкого распространения спиртовых суррогатов» — лаков и политуры.

В начале февраля Петербургский военный округ был выделен из Северного фронта в особую единицу, с подчинением его генерал-лейтенанту Хабалову, которому были даны очень широкие права. Вот что рассказывает об этом член Военного совета, генерал Фролов: «В одном из заседаний Военного совета в конце января или начале февраля в Совет был внесен доклад по Главному управлению Генерального штаба по отделу об устройстве и службе войск о выделении из района армий Северного фронта Петроградского военного округа и о подчинении командующего войсками военному министру. По чьему желанию это было сделано, я не знаю, но внесено было неожиданно по приказанию генерала Беляева и в экстренном порядке. Мотивировалось это особыми условиями, в которых находится Петроград с его окрестностями. При обсуждении в Военном совете этого проекта последний подвергся существенному изменению, в смысле изъятия его из подчинения военному министру... Генерал Беляев согласился на сделанные изменения. Меня очень поразило это желание в проекте подчинять командующего войсками военному министру, несмотря на широкие полномочия, которые проект предоставлял командующему войсками по сравнению с командующими войсками внутренних округов, каковые по закону по отношению к военному министру не ставятся в подчинение. Я лично объяснил себе предоставление таких больших полномочий командующему войсками целью более успешной борьбы с рабочими волнениями».

Протопопов описывает, как он был по этому поводу у императрицы, бранил Рузского и хвалил Хабалова, настаивая на выделении Петербургского округа. Хабалов являлся царю и императрице, после чего протопоповской план и был приведен в исполнение.

В докладе охранного отделения от 5 февраля говорится: «С каждым днем продовольственный вопрос становится острее, заставляет обывателя ругать всех лиц, так или иначе имеющих касательство к продоволь-

ствию, самыми нецензурными выражениями». Следствием нового повышения цен и исчезновения с рынка предметов первой необходимости явился «новый взрыв недовольства», охвативший «даже консервативные слои чиновничества». «Тщетно публицисты в газетах призывают к терпению... Никогда еще не было столько ругани, драк и скандалов, как в настоящее время, когда каждый считает себя обиженным и старается выместить свою обиду на соседе». «Обывателя стригут по несколько раз в день и он по своей беспечности лишь вопит к администрации: „Спасите, не дайте снять совершенно школу!“».

Вывод доклада: «если население еще не устраивает голодные бунты», то это еще не означает, что оно их не устроит в самом ближайшем будущем: озлобление растет, и конца его росту не видать... А что подобного рода стихийные выступления голодных масс явятся первым и последним этапом по пути к началу бессмысленных и беспощадных эксцессов самой ужасной из всех — анархической революции, — сомневаться не приходится».

7, 8, 9, 10, 13 февраля продолжают поступать доклады о забастовках на разных заводах, сопровождающихся иногда вмешательством полиции, в которую 8 февраля на Путиловском заводе «посыпался град железных обломков и шлака».

7 февраля охранное отделение доносит, что «предстоящее 14 февраля открытие Государственной Думы создаст повышенное настроение» в столице и что, несмотря на ликвидацию рабочей группы, «ныне следует считать неизбежными стачки 14 февраля и попытки устроить шествие к Таврическому Дворцу, не останавливаясь даже перед столкновениями с полицией и войсками». «Социал-демократы большевики, относясь к Рабочей Группе, как к организации политически-нечистой, и не признавая Государственной Думы, постановили решение группы не поддерживать, а создать движение пролетариата собственными силами, приурочив выступление к 10 февраля, то есть к годовщине суда над бывшими членами социал-демократической фракции большевиков Государственной Думы. В этот день предполагается всеобщая стачка... Социал-демократы объединенцы (Междурайонный Комитет) и социал-демократы меньшевики (Центральная Инициатив-

ная Группа) вынесли решения, вполне аналогичные с большевиками...»

Глобачев заключает свой доклад обещанием «со стороны вверенного ему отделения принять все возможные меры к предотвращению и ослаблению грядущих весьма серьезных событий».

9 февраля в газетах появилось объявление Хабалова петербургским рабочим, сопровождаемое воззванием Милюкова.

Кроме агентуры в рабочей, интеллигентской и обывательской среде, существовали осведомители и в светском обществе. На двух листках, от 28 января и от 10 февраля, сообщенных Васильевым Протопопову, содержатся интересные данные о графине И. И. Шереметевой, рожденной графине Воронцовой-Дашковой, которая считается «либеральной дамой»; «ее увлекла мысль создать у себя влиятельный либерально-аристократический политический салон». Сообщается, что «слухи о заговоре и чуть ли не декабристских кружках в среде офицеров гвардейской кавалерии подтверждения не встречают». «Политических дам» в Кавалергардском и Лейб-гусарском полках нет. «Нечто подобное» — салон жены бывшего кавалергарда г-жи Лазаревой, родной тетки причастного к убийству Распутина Сумарокова-Эльстона; дом ее посещают кавалергарды, а иногда Родзянко, который здесь делится своими думскими впечатлениями. Кавалергарды и лейб-гусары несколько будируют на разруху и на Царское Село. Они полагают, что убийством Распутина вредные влияния не исчерпаны. Тяжело отражается на них и отсутствие побед: они «закисли»; но данных о зреющем заговоре — нет (впрочем, в одной подобной же записке, без подписи, от 25 января, указано — что выясняются симптомы происходящей группировки офицеров гвардейских полков. Так, в настоящее время, по-видимому, «по определенному плану используется отпуск офицеров гвардейской кавалерии»; следуют подробности о лейб-гусарах, синих кирасирах и связях некоторых кругов с Родзянко).

Среди депутатов-националистов, сообщается далее, разнесся слух, что великий князь Дмитрий Павлович убит на фронте. Графиня Игнатьева опровергает этот слух, так же, как и другие «злостные вымыслы — об отречении Государя Императора от престола».

К предстоящей сессии Государственной думы графиня Игнатьева относится спокойно, не разделяя опасений правых о «грандиозном скандале». Относительно Протопопова, который посетил ее, графиня полагает, что «Россия, со времени исторических людей, не имела такого сильного, мужественного, православно-религиозного человека, преданного Царю и Родине», и находит, что он очень бодр, моложав и свеж на вид (интересно отметить, что Протопопов, по собственному признанию, посещал графиню Игнатьеву с тем, чтобы узнать, какие собрания у нее происходят).

Далее приводится интересное мнение графини Игнатьевой о том, что не следует увеличивать жалованья духовенству (тогда заседала комиссия под председательством Питирима) потому, что все ассигновки, кроме военных, должны быть сокращены, а священники очень хорошо обеспечены, и имели бы еще больше доходов, если бы не ленились посещать частные дома с молитвою в праздничные дни; предвыборной агитации священники тоже не умеют вести, а политическое влияние на крестьян имеют «велосипедисты», агитирующие среди крестьян «где-нибудь в поле» и раздающие им «листочки» с заманчивыми обещаниями.

О настроениях армии рассказывает тот же Протопопов, который, не доверяя сведениям контрразведки, хотел восстановить в войсках постоянную секретную агентуру, уничтоженную генералом Джунковским, о чем и докладывал царю. Несмотря на согласие царя, департамент полиции не успел завести постоянных сотрудников в армии; однако до Протопопова доходили сведения, что «настроение и там повышается». «Я знал, — пишет он, — что в войсках читаются газеты преимущественно левого направления, распространяются воззвания и прокламации; слышал, что служащие Земского и Городского союзов агитируют среди солдат; что генерал Алексеев сказал царю: «Войска уже не те стали», намекая на растущее в них оппозиционное настроение... Я думал, что настроение запасных батальонов и других войск, стоявших в Петрограде, мне более известно; считал благонадежными учебные команды и все войска, за исключением частей, пополняемых из рабочей и мастеровой среды; жизнь показала, что я и тут был не осведомлен... Я докладывал царю, что оп-

позиционно настроены высший командный состав и низший; что в прапорщики произведены многие из учащейся молодежи, но что остальные офицеры консервативны; что офицеры Генерального штаба полевели; наделав в войне столько ошибок, они должны были покраснеть и чувствовать, что после войны у них отнимутся привилегии по службе; что оппозиция не искала бы опоры в рабочем классе, если бы войско было бы революционно настроено. Царь, по-видимому, был доволен моим докладом; он слушал меня внимательно».

Лицом, заинтересованным в настроениях армии с другой стороны, был Гучков, который полагал, что в конце года никого не приходилось убеждать в том, что старый режим сгнил. Гучков надеялся, что армия, за малыми исключениями, встанет на сторону переворота, сопровождаемого террористическим актом (как лейб-кампанцы XVIII века¹⁰ или студент с бомбой), но не стихийного и не анархического, а переворота, подобного заговору декабристов. Существовал план захватить императорский поезд между Ставкой и Царским и вынудить у царя отречение; одновременно, при помощи войск, арестовать правительство и затем уже объявить о перевороте и о составе нового правительства. Среди офицеров были и социалистически настроенные, готовые идти на республиканский строй, но были также люди с принципиальными верованиями и симпатиями. «Отказа не было», но требовалась глубочайшая осторожность, ибо преждевременное раскрытие сделало бы невозможным дальнейшие шаги.

Так осторожно определяет настроение армии человек, с которым, по его словам, говорил откровенно простой солдат и генерал. Другой знаток армии, генерал Н. И. Иванов, просто отказывается судить о ней, говоря: «Состав офицеров и солдат, перебившийся в течение войны 4—6 раз, не дает возможности судить, что представляют из себя те части, которые в мирное время считались образцовыми».

Очень интересный документ представляет письмо какого-то раненого «офицера русской армии», посланное из Москвы 25 января Протопопову (копия Милюкову). Автор письма говорит, с одной стороны, что надо «обуздать печать» и послать Милюковых и Ма-

клаковых в окопы, чтобы они перестали работать на оборону и увидели, что такое война: легко им из кабинета предлагать воевать «до победного конца». С другой стороны, офицер считает, что нельзя продолжать войну и надо заключить мир, пока нет ни победителей, ни побежденных. «Если мир не будет заключен в самом ближайшем будущем, то можно с уверенностью сказать, что будут беспорядки... Люди, призванные в войска, впадают в отчаяние... не из малодушия и трусости, а потому, что никакой пользы от этой борьбы они не видят».

Таково было настроение разных слоев русского общества, когда Родзянко поехал в Царское Село 10 февраля со своим последним всеподданнейшим докладом (см. приложение VI в конце книги). Царь еще в декабре очень сердился на Родзянко; новогодний прием отличался особой сухостью. Последний же доклад, названный в газетах «высокомилостивым», был, по словам Родзянко, «самый тяжелый и бурный». Царь, после убийства Распутина, был заранее агрессивно настроен; императрица «пылала мстью», видя в каждом врага. В этот день у царя были великие князья Александр Михайлович и Михаил Александрович; после Родзянки Щегловитов окончательно испортил дело своим докладом.

Когда Родзянко прочел доклад, царь сказал: «Вы всё требуете удаления Протопопова?» — «Требую, ваше величество; прежде я просил, а теперь требую». — «То есть, как?» — «Ваше величество, спасайте себя. Мы накануне огромных событий, исхода которых предвидеть нельзя. То, что делает ваше правительство и вы сами, до такой степени раздражает население, что все возможно. Всякий проходимец всеми командует. Если проходимцу можно, почему же мне, порядочному человеку, нельзя? Вот суждение публики. От публики это перейдет в армию, и получится полная анархия. Вы изволили иногда меня слушаться, и выходило хорошо». — «Когда?» — спросил царь. — «Вспомните, в 1913 году вы уволили Маклакова». — «А теперь я о нем очень жалею», — сказал царь, посмотрев в упор, — «этот по крайней мере не сумасшедший». — «Совершенно естественно, ваше величество, потому что сходить не с чего». Царь засмеялся: «Ну, положим, это хорошо сказано».

«Ваше величество, нужно ли принять какие-нибудь меры? — продолжал Родзянко. — Я указываю здесь целый ряд мер, это искренно написано. Что же, вы хотите во время войны потрясти страну революцией?»

«Я сделаю то, что мне Бог на душу положит».

«Ваше величество, вам, во всяком случае, очень надо помолиться, усердно попросить Господа Бога, чтобы Он показал правый путь, потому что шаг, который вы теперь предпринимаете, может оказаться роковым».

Царь встал и сказал несколько двусмысленностей по адресу Родзянко.

«Ваше величество, — сказал Родзянко, — я ухожу в полном убеждении, что это мой последний доклад вам». — «Почему?» — «Я полтора часа вам докладываю и по всему вижу, что вас повели на самый опасный путь... Вы хотите распустить Думу, я уже тогда не председатель, и к вам больше не приеду. Что еще хуже, я вас предупреждаю, я убежден, что не пройдет трех недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать».

«Откуда вы это берете?»

«Из всех обстоятельств, как они складываются. Нельзя так шутить с народным самолюбием, с народной волей, с народным самосознанием, как шутят те лица, которых вы ставите. Нельзя ставить во главу угла всяких Распутиных. Вы, государь, пожнете то, что посеяли». — «Ну, Бог даст». — «Бог ничего не даст, вы и ваше правительство все испортили, революция неминуема».

На следующий день, или через день, у царя был Н. Маклаков, вызванный Протопоповым из деревни в начале февраля; Протопопов сказал Маклакову, что царь поручает ему написать проект манифеста на случай, если ему будет угодно остановиться не на перерыве, а на роспуске Думы. Маклаков составил проект, основная мысль которого заключалась в обвинении личного состава Думы: она не сделала первостепенного, с точки зрения царя, не увеличила содержания чиновничеству и духовенству; в то время, когда всем надо быть воедино, идет борьба с властью. Поэтому Государственная дума распускается и новые выборы назначаются на 15 ноября 1917 года. Манифест кончается призывом царя

ко всем верным — соединиться с ним и вместе послужить России.

Этот проект Маклаков и свез царю лично, вместе со следующим письмом, помеченным 9 февраля:

«Ваше Императорское Величество, Министр Внутренних Дел вчера вечером передал мне о повелении Вашего Величества написать проект манифеста о роспуске Государственной Думы. Дозвольте принести мне Вам, Государь, мою горячую верноподданнейшую благодарность за то, что Вам угодно было вспомнить обо мне. Быть Вам полезным — всегда такая радость для меня; быть Вам нужным именно в этом деле — поистине великое счастье. Да поможет мне Господь найти надлежащие слова для выражения этого благословляемого мною взмаха Царской воли, который, как удар соборного колокола, заставит перекреститься всю верную Россию и собраться на молитву службы Родины со страхом Божиим, с верою в нее и с благоговением перед Царским призывом. Мы обсудим внимательно, со всех сторон проект манифеста с Протопоповым, и тогда позвольте мне испросить у Вашего Величества счастье лично представить его на Ваше милостивое благовоззрение. Но я теперь же дерзаю высказать свое глубокое убеждение в том, что надо, не теряя ни минуты, крепко обдумать весь план дальнейших действий правительственной власти для того, чтобы встретить все временные осложнения, на которые Дума и союзы несомненно толкнут часть населения в связи с роспуском Государственной Думы, подготовленным, уверенным в себе, спокойным и не колеблющимся. Это должно быть делом всего Совета Министров, и Министра Внутренних Дел нельзя оставить одного в одиночестве со всей той Россией, которая сбита с толку. Власть более, чем когда-либо, должна быть сосредоточена, убеждена, скована единой целью восстановить государственный порядок, чего бы то ни стоило, и быть уверенной в победе над внутренним врагом; который давно становится и опаснее, и ожесточеннее, и наглее врага внешнего. «Смелым Бог владеет», Государь. Да благословит Господь Вашу решимость и да направит Он Ваши шаги на счастье России и Вашей славе. Вашего Императорского Величества, верноподданный Н. Маклаков». Царь, торопившийся куда-то, велел Маклакову оставить письмо и сказал, что посмотрит.

Между тем у Голицына, по обычаю, укоренившемуся с горемыкинских времен, были уже заранее заготовлены и подписаны царем указы сенату, как о перерыве, так и о роспуске Думы. Текст указа о роспуске был следующий:

«На основании статьи 105 Основных Государственных Законов повелеваем: Государственную Думу распустить с назначением времени созыва вновь избранной Думы на (пропуск числа, месяца и года).

О времени производства новых выборов в Государственную Думу последуют от нас особые указания.

Правительствующий Сенат не оставит учинить к исполнению сего надлежащее распоряжение. *Николай*».

Этот указ был испрошен еще Штюрмером перед 1 ноября; потом он был в руках у Трепова и, наконец, перешел к Голицыну, которому царь сказал: «Держите у себя, а когда нужно будет, используйте». Голицын перед 14 февраля показывал бланк Ладыженскому, который, по его словам, убедил Голицына, что это будет нарушением основных законов, с чем Голицын согласился.

14 февраля открылись заседания Государственной думы. Родзянко указал накануне, в беседе с журналистами, на вред уличных выступлений и на «патриотическое» настроение рабочих. В заседании, где присутствовали Голицын, Риттих, Шаховской, Кригер-Войновский и союзные послы, обширное разъяснение дал Риттих, рассмотрение его разъяснений было отложено; большие речи по общей политике произнесли Чхеидзе, Пуришкевич и Ефремов. Газеты констатировали, что первый день Думы кажется бледным, сравнительно с общим настроением страны.

Открытие Государственного совета ознаменовалось инцидентом: Щегловитов не дал Д. Д. Гримму сделать внеочередное заявление, после чего зал заседания покинула вся левая группа, часть группы центра и некоторые беспартийные.

Обыватели несколько опасались с утра выходить на улицу, но в центре города день прошел спокойно. По донесению охранного отделения, бастовало 58 предприятий — с 89 576 рабочими, были отдельные выступления (на Петергофском шоссе — с красными флагами), попытки собраться у Таврического дворца, по-

давленные полицией, и сходки в университете и политехникуме.

15 февраля в заседании Государственной думы произнесли по общей политике речи Милюков и Керенский. «Кто-то из министров или служащих канцелярии» доложил кн. Голицыну, что речь Керенского чуть ли не призывала к цареубийству. Голицын попросил у Родзянки нецензурованную стенограмму речи, в чем Родзянко ему отказал. Председатель Совета министров, по его словам, не настаивал, и «был очень рад», что Керенский не произнес слова о цареубийстве, ибо «в противном случае он счел бы своим долгом передать депутата судебной власти».

В этот день бастовало только 20 предприятий с 24 840 рабочими, на Московском шоссе появлялся красный флаг, и в университет, где была сходка, вводили полицию. В следующие дни забастовки пошли на убыль, и до 23 февраля были только отдельные невыходы на работу и предъявление требований со стороны рабочих.

III ПЕРЕВОРОТ

Последовательный ход событий с начала революции (23 февраля) до отречения Михаила Александровича (3 марта) — в Петербурге, Царском Селе, Могилеве (Ставке), Москве, по пути следования императорского поезда из Могилева в Псков и поезда с отрядом генерала Иванова из Могилева в Царское Село и обратно, и в Пскове.

22 февраля в среду царь выехал из Царского Села в Ставку, в Могилев. «Этот отъезд, — пишет Дубенский, — был неожиданный; многие думали, что государь не оставит императрицу в эти тревожные дни. Вчера прибывший из Ялты генерал Спиридович говорил, что слухи идут о намерении убить Вырубову и даже Александру Федоровну, что ничего не делается, дабы изменить настроение в царской семье, и эти слова верны».

Разговоры об ответственном министерстве уже были; Дубенский предполагает, что произошло нечто, и царь вызвал Алексеева. Царь уехал с тем, чтобы вернуться 1 марта.

В четверг, 23 февраля, в Петербурге начались волнения. В разных частях города народ собирался с криками «хлеба». Появились красные знамена с революционными надписями. Бастовало от 43 до 50 предприятий, то есть от 78 500 до 87 500 рабочих. За порядком следила еще полиция, но вызывались уже и воинские наряды.

Протопопов просил Хабалова выпустить воззвание к населению о том, что хлеба хватит.

Хабалов пригласил пекарей и сказал им, что волнения вызваны не столько недостатком хлеба, сколько провокацией; последний вывод он сделал из донесения охранного отделения об аресте рабочей группы.

Запасы города и уполномоченного достигали 500 000 пудов ржаной и пшеничной муки, чего, при желательном отпуске в 40 000 пудов, хватило бы дней на 10—12. Хабалов потребовал от Вейса, чтобы он увеличил отпуск муки. Вейс возражал, что надо быть осторожным, и доложил, что лично видел достаточные запасы муки в пяти лавках на Сампсониевском проспекте. Генерал для поручений Перцов, посланный Хабаловым, доложил, что и в лавках на Гороховой мука есть.

В заседании Государственной думы из членов правительства присутствовали Риттих и Рейн. Впервые появился депутат Марков 2-й. Происходили прения по продовольственному вопросу. Председатель огласил письмо Рейна о снятии им законопроекта об образовании ведомства государственного здравоохранения. Социал-демократы и трудовики внесли запрос о расчете рабочих на некоторых заводах.

День в Могилеве прошел спокойно.

В пятницу, 24 февраля, появилось объявление Хабалова: «За последние дни отпуск муки в пекарни для выпечки хлеба в Петрограде производится в том же количестве, как и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если же в некоторых лавках хлеба иным не хватило, то потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, покупали его в запас на сухари. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве. Подвоз этой муки идет непрерывно».

По словам Балка, с 11 часов дня все распорядительные функции по подавлению беспорядков перешли к Хабалову и начальникам районов, которым подчинялась вся полиция.

К Хабалову явилась депутация от мелких пекарен с жалобами на то, что, из-за объявления, на них валят, будто они прячут муку; у них же мало муки, и рабочие забраны на военную службу. Хабалов приказал немедленно переслать их прошение о 1500 рабочих в Отдел главного управления Генерального штаба по отсрочкам.

После этого к Хабалову явилась депутация от общества фабрикантов; они просили увеличить отпуск муки для фабрик и дать муку от интендантства. Окружной интендант на запрос Хабалова сказал, что у него на довольствии 180 000 нижних чинов, но уделил для фабрик до 3000 пудов.

В городе бастовало уже от 158 500 до 197 000 рабочих. Толпы народа, в течение всего дня, усиленно разгонялись полицией, пехотными и кавалерийскими частями. На мостах стояли заставы, толпа с Выборгской стороны шла по льду. Беляев посоветовал Хабалову стрелять по переходящим Неву, но так, чтобы пули ложились впереди них. Хабалов не отдал такого приказа, считая его бесцельным.

Однако были отдельные случаи стрельбы. Между прочим, в 3 часа дня на Знаменскую площадь прорвалась толпа, впереди которой ехало до полусотни казаков рассыпным строем. 15 конных городских были прогнаны визгом, свистом, поленьями, камнями и осколками льда; начался митинг у памятника Александру III. Среди криков «да здравствует республика», «долой полицию» раздавалось «ура» по адресу присутствующих казаков, которые отвечали: народу поклонямы.

Родзянко объехал утром город вместе с Риттихом, посетил Голицына и Беляева, которого просил организовать совещание для передачи продовольствия городу.

В заседании Государственной думы, где продолжались прения о продовольствии, настроение было тревожное. В перерыве происходило совещание совета старейшин.

Хабалов созвал у себя в квартире совещание, на котором присутствовали городской голова Лелянов, его товарищ Демкин, уполномоченный по Петербургу Вейс, градоначальник Балк, командующий войсками полковник Павленков, начальник охранного отделения Глобачев и жандармского отделения Клыков, а также, кажется, Протопопов и Васильев. Обсуждали вопрос о мерах к прекращению беспорядков. Решили, во-первых, следить за более правильным распределением муки по пекарням, причем Хабалов предложил Лелянову возложить эту обязанность на городские попечительства о бедных и на торговые и санитарные попечительства; во-вторых, решили в ночь на 25-е произвести обыски и арестовать уже намеченных охранным отделением революционеров, причем Глобачев указал, что назначено собрание в бывшем помещении рабочей группы; в-третьих, решили вызвать запасную кавалерийскую часть в помощь казакам Первого Донского

полка, которые вяло разгоняли толпу; у них не оказывалось нагаяк; несмотря на то, что 23-го и 24-го было избито уже 28 полицейских, Хабалов не хотел прибегать к стрельбе.

В 1 час дня Голицын выехал в заседание Совета министров, как обыкновенно, по Караванной, и ничего не заметил на улицах. Заседание было деловое, о беспорядках никто не говорил. В 6 часов вечера возвратиться на Моховую тем же путем было уже нельзя, и Голицын поехал кругом.

В экстренном совещании в Мариинском дворце, при участии председателей Государственной думы, Государственного совета и Совета министров, решено передать продовольственное дело городскому управлению.

Председатель военно-цензурной комиссии генерал Адабаш написал доклад Беляеву о том, что, по приказанию Хабалова, им сделано распоряжение не допускать в газеты речей Родичева, Чхеидзе и Керенского, произнесенных в Государственной думе 24 февраля. Беляев положил на доклад резолюцию: «Печатать в газетах речи депутатов Родичева, Чхеидзе и Керенского завтра нельзя. Но прошу не допускать белых мест в газетах, а равно и каких-либо заметок по поводу этих речей».

Дубенский записывал в Ставке: «Тихая жизнь началась здесь. Все будет по-старому. От Него (от царя) ничего не будет. Могут быть только случайные, внешние причины, кои заставят что-либо измениться... В Петрограде были голодные беспорядки, рабочие Патронного завода вышли на Литейный и двинулись к Невскому, но были разогнаны казаками».

Далее записано, что получены сведения о том, что Алексей, Ольга и Татьяна болели корью и что царя беспокоит доставка продовольствия на фронт: «В некоторых местах продовольствия получено на три дня. К тому же, получились заносы у Казатина и продвигнуть поезда сейчас невозможно».

В Царском Селе заболели корью царские дети и Вырубова. Тем не менее императрица принимала во дворце послов и посланников.

В субботу, 25 февраля, Хабалов объявил, что, если со вторника, 28 февраля, рабочие не приступят к работам, то все новобранцы досрочных призывов 1917, 1918 и 1919 годов, пользующиеся отсрочками, будут

призваны в войска; утренние газеты вышли не все, вечерние вовсе не вышли.

Был убит пристав; ранены полицмейстер и несколько других полицейских чинов. В жандармов бросали ручные гранаты, петарды и бутылки. Войска проявляли пассивность, а иногда и нетерпимость в отношении действий полиции. Бастовало до 240 000 рабочих. В высших учебных заведениях были сходки и забастовки.

В девятом часу вечера у часовни Гостиного двора стреляли из револьвера в кавалерийский отряд, который спешился и открыл огонь по толпе, причем оказались убитые и раненые. В этот день военный министр все еще рекомендовал Хабалову избегать, где можно, открытия огня, говоря: «Ужасное впечатление произведет на наших союзников, когда разойдется толпа и на Невском будут трупы».

Хабалов и Павленков провели весь день в квартире градоначальника. В 4 часа 40 минут Хабалов послал в Ставку Наштаверху секретную зашифрованную телеграмму (№ 2813—486): «Доношу, что 23 и 24 февраля вследствие недостатка хлеба на многих заводах возникла забастовка. 24 февраля бастовало около 200 тысяч рабочих, которые насильственно снимали работавших. Движение трамвая рабочими было прекращено. В середине дня 23 и 24 февраля часть рабочих прорвалась к Невскому, откуда была разогнана. Насильственные действия выразились разбитием стекол в нескольких лавках и трамваях. Оружие войсками не употреблялось, четыре чина полиции получили неопасные ранения. Сегодня, 25 февраля, попытки рабочих проникнуть на Невский успешно парализуются, прорвавшаяся часть разгоняется казаками, утром полицмейстеру Выборгского района сломали руку и нанесли в голову рану тупым орудием. Около трех часов дня на Знаменской площади убит при рассеянии толпы пристав Крылов. Толпа рассеяна. В подавлении беспорядков, кроме петроградского гарнизона, принимают участие пять эскадронов 9 запасного кавалерийского полка из Красного Села, сотня лейб-гвардии сводно-казацкого полка из Павловска и вызвано в Петроград пять эскадронов гвардейского запасного кавалерийского полка. Хабалов».

Протопопов, со своей стороны, телеграфировал Воейкову: «Внезапно распространившиеся в Петрограде

слухи о предстоящем якобы ограничении суточного отпуска выпекаемого хлеба взрослым по фунту, малолетним половинном размере, вызвали усиленную закупку публикой хлеба, очевидно в запас, почему части населения хлеба не хватило. На этой почве двадцать третьего февраля вспыхнула в столице забастовка, сопровождающаяся уличными беспорядками. Первый день бастовало около 90 тысяч рабочих, второй — до 160 тысяч, сегодня около 200 тысяч. Уличные беспорядки выражаются в демонстративных шествиях частью с красными флагами, разгроме некоторых пунктах лавок, частичным прекращением забастовщиками трамвайного движения, столкновениях полицией. 23 февраля ранены 2 помощника пристава, сегодня утром на Выборгской стороне толпой снят с лошади и избит полицеймейстер полковник Шалфеев, ввиду чего полицией произведено несколько выстрелов в направлении толпы, откуда последовали ответные выстрелы. Сегодня днем более серьезные беспорядки происходили около памятника Императору Александру III, на Знаменской площади, где убит пристав Крылов. Движение носит неорганизованный стихийный характер, наряду с эксцессами противоправительственного свойства буйствующие местами приветствуют войска. Прекращению дальнейших беспорядков принимаются энергичные меры военным начальством. Москве спокойно. Министр Внутренних Дел *Протопопов*».

Около 9 часов вечера Хабалов получил напечатанную на юзе и переданную по прямому проводу в Генеральный штаб телеграмму: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. *Николай*».

Часов в 10 собрались начальники участков, командиры запасных частей, которым Хабалов прочел телеграмму и сказал, что должно быть применено последнее средство: если толпа агрессивна, действовать по уставу, то есть открывать огонь после троекратного сигнала; в остальных случаях — продолжать действовать кавалерией.

Хабалова царская телеграмма «хватила обухом». Он так расстроился, что когда вечером к нему позвонил Лелянов, он сказал ему: «Вы выдумали какой-то незаконный проект, совершенно несогласный с городским положением, я не могу на это согласиться». Дело в том,

что заезжавший днем Протопопов сообщил, что «город выдумал какой-то революционный проект с продовольствием».

Весь день происходили заседания думских фракций, комиссий, бюро блока, Центрального бюро Военно-промышленного комитета.

Вечернее заседание Городской думы, где рассматривался вопрос о введении хлебных карточек, по докладу охранного отделения, «вскоре приняло характер памятных по 1905 году революционных митингов». На собрании говорили сенатор Иванов, члены Государственной думы Шингарев и Керенский, представители рабочих; ждали Родзянко, но он не мог приехать, будучи занят в Государственной думе, где разбирался законопроект о расширении прав городских самоуправлений в области продовольствия.

В ночь на 26 февраля «было арестовано около 100 членов революционных организаций, в том числе 5 членов Петроградского Комитета Российской Социал-Демократической Партии». На собрании в помещении Центрального военно-промышленного комитета «были арестованы два члена Рабочей Группы, избегнувшие задержания во время ликвидации в минувшем январе месяце этой преступной группы».

Родзянко был у Голицына и просил его выйти в отставку. Голицын в ответ указал папку на столе, в которой лежал указ о роспуске Думы, и просил устроить совещание лидеров фракций, чтобы столковаться.

В 12 часов ночи началось совещание министров в квартире Голицына. Речь шла о том, что в понедельник в Государственной думе предполагается ряд выступлений, которые могут заставить правительство закрыть Думу. Риттих говорил о том, что Кабинет не может поладить с Думой, потому что Дума не хочет ладить с ним. Покровский говорил, что с Думой работать нужно, и ее требования должны быть приняты. Оба министра, а также Кригер-Войновский, в разных выражениях говорили о том, что Кабинету придется уйти. Все, кроме Протопопова, Добровольского и Раева, были против роспуска Думы. Протопопов рассказывал об уличных событиях и находил, что беспорядки следует прекратить вооруженной силой. Приглашенный на совещание Хабалов доложил о событиях дня, о принятых им мерах, о плане охраны города и о полученной

им от царя телеграмме. Беляев, Добровольский и Риттих высказались, что беспорядкам должна быть противопоставлена сила. Тут же, по телефону из Городской думы, узнали, что отдано распоряжение об аресте рабочей группы, причем все удивились, почему Протопопов в такую минуту не справился с мнением Совета министров. Вызванные Васильев и Глобачев объяснили, что полиция застала публичное собрание человек в 50, задержала всех для выяснения личности и арестовала только двух, уже привлеченных к следствию по 102 статье.

В этом совещании уже поднимался вопрос о введении осадного положения. Хабалов протестовал на том основании, что по последнему положению командующий войсками округа пользовался правами командующего армией, равными правам командира осажденной крепости. Некоторые из министров настаивали на введении осадного положения потому, что, с объявлением его, прекращаются все собрания, в том числе и заседания Государственной думы, и даже ее комиссий. Покровский возражал, что это — вопрос спорный.

Решено было просить председателя и членов Думы употребить свой престиж для успокоения толпы; решено, что Родзянко поедет к Голицыну, а Покровский и Риттих войдут в переговоры с некоторыми лидерами партий (называли Милюкова и Савича).

Голицын указал, что в стремлениях на пути к соглашению не следует забывать того, что некоторые министры должны будут собой пожертвовать; он намекал на Протопопова. Хабалов произвел на Голицына впечатление «очень не энергичного и мало сведущего тягелодума», а доклад его показался Голицыну «сумбуrom». В этот вечер он просил у Хабалова охраны и впоследствии жаловался на то, что не видел ее, хотя Хабалов послал роту, которая «закупорила Моховую».

Министры разошлись в 4 часа ночи, решив опять сойтись в воскресенье в 8^{1/2} часов. Журналов совещаний в эти дни не велось, хотя на всех совещаниях присутствовал Лодыженский.

Жизнь Ставки текла по-прежнему однообразно: в 9^{1/2} часов царь выходил в штаб, до 12^{1/2} проводил время с Алексеевым, после этого час продолжался завтрак, потом была прогулка на моторах, в 5 часов пили

чай и приходила петербургская почта, которой царь занимался до обеда в 7¹/₂ часов.

Вероятно, в этот день, между 5 и 7 часами, ввиду тревожных слухов от приезжающих из Петербурга («Астория занята» и т. д.) к царю «прибежал» Алексеев. Кроме того, царь получил две телеграммы от Александры Федоровны. В одной говорилось, что в «городе пока спокойно», а в вечерней уже, что «совсем нехорошо в городе».

После обеда с 8¹/₂ часов царь занимался у себя в кабинете, а в 11¹/₂ пили вечерний чай, и царь с лицами ближайшей свиты уходил к себе.

Дубенский записал в дневнике 25-го: «Из Петрограда — тревожные сведения; голодные рабочие требуют хлеба, их разгоняют казаки; забастовали фабрики и заводы; Государственная Дума заседает очень шумно; социал-демократы Керенский и Скобелев призывают к ниспровержению самодержавной власти, а власти нет. Вопрос о продовольствии стоит очень плохо... оттого и являются голодные бунты. Плохо очень с топливом... поэтому становятся заводы, даже те, которые работают на оборону. Государь, как будто, встревожен, хотя сегодня по виду был весел. Эти дни он ходит в казацкой кавказской форме, вечером был у всенощной и шел туда и обратно без пальто».

В воскресенье, 26 февраля, войска, как обыкновенно, заняли все посты, положенные по расписанию; Хабалов объявил, что для водворения порядка войска прибегнут к оружию (все министры накануне согласились на такое объявление).

В этот день войскам пришлось стрелять в народ в разных местах, и холостыми, и боевыми патронами.

В донесениях за день отмечено: «Промышленные предприятия сего числа, по случаю праздничного дня, были закрыты». «Во время беспорядков наблюдалось, как общее явление, крайне вызывающее отношение буйствовавших скопищ к воинским нарядам, в которые толпа, в ответ на предложение разойтись, бросала камнями и комями сколотого с улиц льда. При предварительной стрельбе войсками вверх, толпа не только не рассеивалась, но подобные залпы встречала смехом. Лишь по применении стрельбы боевыми патронами в гущу толпы оказывалось возможным рассеивать скопища, участники коих, однако, в большинстве прятая

лись во дворы ближайших домов и, по прекращении стрельбы, вновь выходили на улицу».

Вечером охранное отделение предполагало арестовать собрание, которое должно было быть в доме Елисеева на Невском «с участием членов Государственной думы Керенского и присяжного поверенного Соколова, для обсуждения вопроса о наилучшем использовании в революционных целях возникших беспорядков и дальнейшем планомерном руководительстве таковыми».

Родзянко утром поехал к Риттиху, вытащил его из кровати и повез к Беляеву. Он видел, как рабочие шли лавой по льду через Неву, так как на мосты их не пускали.

Родзянко обратился по телефону к Хабалову, который сидел в здании градоначальства, уже не делая никаких распоряжений о раздаче хлеба; Родзянко спрашивал его, «зачем кровь», и убеждал, что гранату на Невском бросил городской. Хабалов сказал, что войска не могут быть мишенью и должны отвечать на нападение, но на высочайшую телеграмму не сослался.

Родзянко звонил также к Беляеву, советуя ему рассредоточивать толпу при помощи пожарных. Беляев снесся с Хабаловым, который ответил, что существует распоряжение ни в каком случае не вызывать пожарные части для прекращения беспорядков, и что обливание водой только возбуждает, то есть приводит к обратному действию.

Родзянко телеграфировал царю: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

Копии этой телеграммы были разосланы командующим с просьбой поддержать перед царем обращение председателя Думы. Ответили Брусилов: «Вашу телеграмму получил. Свой долг перед родиной и царем исполнил» — и Рузский: «Телеграмму получил. Поручение исполнено».

Царь, по рассказу Фредерикса, получив эту телеграмму, или следующую за ней (от 27 февраля), сказал Фредериксу: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать».

Хабалов телеграфировал Наштаверху в Ставку (№ 2899 — 2713): «Доношу, что в течение второй половины 25 февраля толпы рабочих, собиравшиеся на Знаменской площади и у Казанского Собора, были неоднократно разгоняемы полицией и воинскими чинами. Около 17 часов у Гостиного Двора демонстранты запели революционные песни и выкинули красные флаги с надписями долой войну, на предупреждение, что против них будет применено оружие, из толпы раздались несколько револьверных выстрелов, одним из коих был ранен в голову рядовой 9 запасного кавалерийского полка. Взвод драгун спешился и открыл огонь по толпе, причем убито трое и ранено десять человек. Толпа мгновенно рассеялась. Около 18 часов в наряд конных жандармов была брошена граната, которой ранен один жандарм и лошадь. Вечер прошел относительно спокойно. 25 февраля бастовало двести сорок тысяч рабочих. Мною выпущено объявление, воспреещающее скопление народа на улицах и подтверждающее населению, что всякое проявление беспорядка будет подавляться силою оружия. Сегодня 26 февраля с утра в городе спокойно. Хабалов».

Около 4-х часов дня Хабалову доложили, что четвертая рота запасного батальона Павловского полка, расквартированная в зданиях конюшенного ведомства, выбежала с криками на площадь, стреляя в воздух около храма Воскресения, и при ней находятся только два офицера; рота требовала увода в казармы остальных и прекращения стрельбы, а сама стреляла по взводу конно-полицейской стражи.

Хабалов приказал командиру батальона и полковому священнику принять меры к увещанию, устыдить роту, привести ее к присяге на верность и водворить в казармы, отобрав оружие. После увещаний батальонного командира солдаты действительно помаленьку сдали винтовки, но 21 человека с винтовками недосчитались.

Беляев потребовал немедленно военно-полевого суда, но прокурор военно-окружного суда Мендель посоветовал Хабалову сначала произвести дознание. Хаба-

лов приказал, чтобы сам батальон выдал зачинщиков, и назначил следственную комиссию из пяти членов с генералом Хлебниковым во главе. Батальонное начальство выдало 19 главных виновников, которых и препроводили в крепость, как подлежащих суду, так как комендант крепости Николаев сообщил, что арестных помещений для всей роты (1500 человек) у него нет.

Среди этого «котла» событий, по выражению Хабалова, он несколько раз доносил в Ставку, что беспорядки продолжают и приказаний его величества он выполнить не может. Ночью стали поступать тревожные сведения о восстаниях в других войсковых частях, но они пока не оправдывались.

Протопопов телеграфировал Воейкову: «Сегодня порядок в городе не нарушался до четырех часов дня, когда на Невском проспекте стала накапливаться толпа, не подчинявшаяся требованию разойтись. Ввиду сего возле Городской Думы войсками были произведены три залпа холостыми патронами, после чего образовавшееся там сборище рассеялось. Одновременно значительные скопища образовались на Лиговской улице, Знаменской площади, также на пересечениях Невского Владимирским проспектом и Садовой улицей, причем во всех этих пунктах толпа вела себя вызывающе, бросая в войска камнями, комьями сколотого на улицах льда. Поэтому, когда стрельба вверх не оказала воздействия на толпу, вызвав лишь насмешки над войсками, последние вынуждены были для прекращения буйства прибегнуть к стрельбе боевыми патронами по толпе, в результате чего оказались убитые, раненые, большую часть коих толпа, рассеиваясь, уносила с собой. Начале пятого часа Невский был очищен, но отдельные участники беспорядков, укрываясь за угловыми домами, продолжали обстреливать воинские разъезды. Войска действовали ревностно, исключение составляет самостоятельный выход четвертой эвакуированной роты Павловского полка. Охранным отделением арестованы запрещенном собрании 30 посторонних лиц в помещении Группы Центрального Военного Комитета и 136 человек партийных деятелей, а также революционный руководящий коллектив из пяти лиц. Моему соглашению командующим войсками контроль распределением выпечкою хлеба также учетом использования муки

возлагается на заведующего продовольствием Империи Ковалевского. Надеюсь будет польза. Поступили сведения, что 27 февраля часть рабочих намеревается приступить к работам. Москве спокойно. Министр внутренних дел *Протопопов*».

Эта телеграмма была послана 27 февраля в 4 часа 20 минут утра.

Вечером на частном совещании у Голицына были приняты две меры: перерыв заседаний Государственной думы и введение осадного положения в Петербурге (форма последнего распоряжения не обсуждалась).

Родзянко вечером нашел у себя в квартире следующий указ, уже отпечатанный: «На основании статьи 99 Основных Государственных Законов повелеваем: занятия Государственной Думы прервать с 26-го февраля сего года и назначить срок их возобновления не позднее апреля 1917 года, в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее распоряжение». Таким же указом были прерваны и занятия Государственного совета.

Александра Федоровна заканчивала свою телеграмму, посланную царю в 11 часов 50 минут дня, словами: «Очень беспокоюсь относительно города».

В Могилеве свита была в тревоге, за завтраком было мало приглашенных, и царь, всегда любезный, видимо, сдерживался и мало говорил. Воейков, однако спокойно дал коменданту императорского поезда, полковнику Герарди, отпуск на несколько дней в Царское Село. Дубенский записал в своем дневнике 26 февраля: «Волнения в Петрограде очень большие, бастуют двести тысяч рабочих, не ходят трамваи, убит пристав на Знаменской площади. Собралось экстренное заседание в Мариинском дворце... Государственная Дума волнуется, требуя передачи продовольственного дела во всей России городскому самоуправлению и земству. Князь Голицын и все министры согласны. Таким образом, вся Россия узнает, что голодный народ будет накормлен распоряжением не царской власти, не царского правительства, а общественными организациями, то есть правительство совершенно расписалось в своем бессилии. Как не может понять государь, что он должен проявить свою волю, свою власть?.. Какая это

поддержка нашим врагам — Вильгельму — беспорядки в Петрограде! Какая радость теперь в Берлине! А при государе все то же, многие понимают ужас положения, но не «тревожат» царя».

В понедельник 27 февраля утром Родзянко послал царю телеграмму: «Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии».

Часов в 7 утра командир запасного батальона Волынского полка передал Хабалову по телефону, что учебная команда отказалась выходить, а начальник ее или убит, или сам застрелился перед фронтом.

Хабалов, предписав обезоружить и вернуть команду в казармы, сообщил об этом Беляеву и поехал в дом градоначальства. В течение двух часов полковник Московского полка Михайличенко заменял полковника Павленкова, больного грудной жабой. В это утро в канцелярию градоначальника являлся капитан броневой роты, который предлагал Хабалову составить 1—2 автомобиля из нескольких, находящихся в починке на Путиловском заводе. Хабалов послал его к заведующему броневиками генералу Секретеву и велел прислать автомобиль, если найдутся надежные офицеры, которых можно туда посадить.

Поступили донесения, что Волынцы не сдают винтовок, к ним присоединяется рота Преображенского полка и часть Литовцев, и эта вооруженная толпа, соединившись с рабочими, идет по Кировой, разгромила казармы жандармского дивизиона и громит помещение школы прапорщиков инженерных войск.

Хабалов сформировал отряд из 6 рот, 15 пулеметов и 1½ эскадронов, всего около 1000 человек, и отправил его против восставших под начальством георгиевского кавалера полковника Кутепова с требованием, чтобы они сложили оружие; в противном случае, было предложено принять решительные меры.

Отряд двинут, а результатов нет: если он действует, он должен уже гнать толпу в угол за Таврический сад, к Неве. «А тут — ни да, ни нет», — говорит Хабалов.

Казачьи разъезды донесли, что Кутепов не может продвинуться по Кировой и Спасской и требует подкреплений.

Брандмайор Литвинов донес по телефону, что толпа

не дает пожарным тушить здание Окружного суда. Около полудня из Московского полка донесли, что четвертая рота, запиравшая пулеметами Литейный мост с Выборгской стороны, подавлена, остальные роты стоят во дворе казарм, из офицеров — кто убит, а кто — ранен, и огромные толпы запружают Сампсониевский проспект.

Запасных войск у Хабалова не было, а наряду с донесениями поступали требования охраны от Голицына, с телефонной станции, из Литовского замка, из Мариинского дворца. Заезжал Протопопов и приставал к Хабалову с разными предложениями, по обыкновению ни на чем реальном не основанными.

Часа в 2—3 Хабалов был у Голицына. Последний был уже оповещен с утра Беляевым, который в это утро приказал начальнику Генерального штаба генералу Занкевичу доложить, что нужно для объявления осадного положения, и, получив ответ, что для этого требуется высочайшее повеление, сказал: «Считайте, что оно уже последовало». Беляев предлагал Голицыну сейчас же обсудить дальнейшие меры, но прошло довольно много времени, как приехал Хабалов, министры были в сборе; он произвел на всех тяжелое впечатление: «руки трясутся, равновесие, необходимое для управления в такую серьезную минуту, он утратил», — говорит Беляев.

В сущности, министры только знакомились с событиями, взглядов же никаких не высказывали. Все были особенно нервны. Докладывали Хабалов и кое-что Протопопов. Около 4—5 часов решили сойтись в Мариинском дворце.

Когда определилось, что пока только Выборгская и Литейная части захвачены восстанием, Хабалов решил стянуть возможный резерв на Дворцовой площади, под начальством полковника Преображенского полка князя Аргутинского-Долгорукова. Часть предполагалось послать в подкрепление Кутепову, а другую часть — на Петербургскую сторону. Хабалов, опасаясь за Пороховые заводы, хотел оттеснить восставших к северу, к морю.

Выяснилось, что резерв собрать трудно, некоторые части можно только удерживать от присоединения к восставшим, а у других нет патронов; не найдя патронов в городе, Хабалов просил по телефону прислать

из Кронштадта, но комендант ответил, что сам опасается за крепость. Хабалов не знал, что и в окрестностях города вспыхнуло восстание: часов около 3-х дня царскосельский гарнизон грабил трактирные заведения, встречая маршевые эскадроны, подошедшие из Новгородской губернии, с корзинами яств и питей. Впрочем, сводный гвардейский полк нес службу и продолжал охранять Александровский дворец.

Голицын поручил Беляеву съездить в градоначальство. Тут были всё «неопытные полковники», и Беляев, который, по словам Балка, был «вдумчив, спокоен и говорил мало», позвал всех на совещание и увидел «полное отсутствие идеи и недостаточность инициативы в распоряжениях». Настроение офицеров, в частности, Измайловского полка, было «ненадежное», они находили нужным вступить в переговоры с Родзянко, о чем Хабалов доложил Беляеву, которому во все не был подчинен, но которого в растерянности своей стал слушаться. В ответ на это военный министр рассердился и приказал находившемуся тут же генералу Занкевичу вступить в командование всеми гвардейскими запасными частями (это было около 7 часов вечера). Хабалов понял это так, что он устранен. Между тем, Занкевич был дан ему в помощь и устранял собою только Чебыкина, Павленкова и Михайличенко, так же, как Иванов впоследствии не сменил Хабалова, а был поставлен над ним.

Приехавший в градоначальство великий князь Кирилл Владимирович рекомендовал Беляеву принять энергичные меры и, прежде всего, сменить Протопопова; выражал неудовольствие, что ему не сообщают о событиях, и спрашивал, что ему делать с Гвардейским экипажем, на что Хабалов доложил, что Гвардейский экипаж ему не подчинен. Кирилл Владимирович прислал к вечеру две «наиболее надежные» роты учебной команды Гвардейского экипажа.

Приехав в Мариинский дворец, где все члены Совета министров «ходили растерянные, ожидая ареста», Беляев доложил о Занкевиче, а затем попросил Голицына поговорить с ним наедине о замене Протопопова; так как сменять министра никто, кроме императора, не имел права, решили предложить Протопопову сказатьсь больным; Беляев предложил заменить его главным военным прокурором Макаренко, но предло-

жение это было отвергнуто, и генерал Тяжелников; по приказанию Беляева, отпечатал приказ Голицына: «Вследствие болезни министра внутренних дел действительного статского советника Протопопова, во временное исполнение его должности вступит его товарищ по принадлежности». Тогда же, по приказанию Беляева, было напечатано «объявление Командующего Войсками Петроградского Военного Округа» за подписью Хабалова: «По Высочайшему повелению город Петроград с 27 сего февраля объявляется на осадном положении». Объявление было напечатано в количестве около 1000 экземпляров, подлинник был написан карандашом. Печаталось оно в Адмиралтействе, так как типография градоначальства уже не была в распоряжении старого правительства, о чем доложил Балк.

Голицын рассказывает, что он получил от Беляева письмо, начинавшееся словами: «Имею честь сообщить Вашему Сиятельству, что по Высочайшему Повелению введено осадное положение», но письмо это он потерял.

Голицын обратился к Протопопову и просил его официально заявить, что он болен и уходит. Протопопов встал, сконфуженно произнес: «Ну, что же, я подчиняюсь», и ушел, говоря: «Мне теперь остается только застрелиться». Белецкий рассказывает, что, когда перед этим стало известно, что Щегловитов, арестованный на кухне и прикрытый солдатской шинелью, увезен в Думу, Протопопов так растерялся, что требовал моментально «схватить Родзянко».

В 6 часов вечера Лодыженский передал в экспедицию канцелярии Совета министров составленную Покровским и Балком и подписанную Голицыным телеграмму, в которой говорилось, между прочим: «Совет министров... дерзает представить Вашему Величеству о безотложной необходимости принятия следующих... мер... с объявлением столицы на осадном положении, каковое распоряжение уже сделано Военным Министром по уполномочию Совета Министров собственной властью. Совет Министров всеподданнейше ходатайствует о поставлении во главе оставшихся верными войск одного из военачальников действующих армий с популярным для населения именем...»

Далее указывается, что Совет министров не может справиться с создавшимся положением, предлагает се-

бя распустить, назначить председателем Совета министров лицо, пользующееся общим доверием, и составить ответственное министерство.

Царь ответил того же числа князю Голицыну: «О главном начальнике для Петрограда мною дано повеление начальнику моего штаба с указанием немедленно прибыть в столицу. То же и относительно войск. Лично Вам предоставляю все необходимые права по гражданскому управлению. Относительно перемены в личном составе при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми. *Николай*».

После 8-ми часов вечера Голицын, Родзянко, великий князь Михаил Александрович, Крыжановский и Беляев обсуждали в кабинете председателя Совета министров текст телеграммы, которую Михаил Александрович хотел послать царю, после чего великий князь и Беляев поехали в дом военного министра, чтобы передать эту телеграмму начальнику штаба верховного главнокомандующего. Михаил Александрович сообщил о «серьезности положения», о необходимости назначить председателя Совета министров, который сам подобрал бы себе кабинет; он спрашивал, не уполномочит ли его царь сейчас же об этом объявить, называя, со своей стороны, князя Г. Е. Львова, и предлагал принять на себя регентство.

Через полчаса или через час Алексеев передал ответ, что его величество благодарит за внимание, выедет завтра и сам примет решение.

В этот день Беляев послал в Ставку Наштаверху следующие четыре телеграммы.

13 час. 15 мин. № 196. Указывается, что начавшиеся с утра в некоторых частях волнения подавляются. Выражается уверенность «в скором наступлении спокойствия».

19 час. 22 мин. № 197 (копия Главкосеву). Указывается на «серьезность положения»; просьба прислать на помощь «действительно надежные части».

19 час. 33 мин. № 198. «Совет Министров признал необходимым объявить Петроград на осадном положении. Ввиду проявленной генералом Хабаловым растерянности назначил на помощь ему генерала Занкевича, так как генерал Чебыкин отсутствует».

23 час. 53 мин. № 199. Говорится, что из Царского Села вызваны небольшие части запасных полков, бата-

рея из Петрограда грузить в поезд на Петроград отказалась, батарея училищ не имеет снарядов.

Около полуночи Беляев приказал своему секретарю позвонить в Мариинский дворец и вызвать по телефону Кригер-Войновского. Секретарь услышал в телефон неясный разговор нескольких голосов, увещания соблюдать тишину и предупреждение, что у телефона военный министр. Вслед за тем к телефону подошел кто-то, назвавший себя министром путей сообщения, но по голосу непохожий на Кригер-Войновского. Секретарь предупредил об этом Беляева и передал ему трубку. Военный министр молча слушал у телефона минут пять, услышал слова: «...эту пачку уже пересмотрел, возьми вот те бумаги», повесил трубку и запретил всем сношения по телефону с Мариинским дворцом.

Около 2 часов ночи секретарь Беляева был вызван по телефону из Мариинского дворца помощником управляющего делами Совета министров Путиловым, который объяснил, что действительно в помещении канцелярии Совета министров «хозяйничают посторонние лица», важнейшие бумаги удалось унести, а министры путей сообщения и иностранных дел скрываются в другой части дворца. Путилов просил освободить их, но секретарь военного министра объяснил, что в их распоряжении нет войск.

Между тем, у генерала Занкевича, которому Беляев передал командование, были в распоряжении уже немногие части, и то колеблющиеся и тающие с часу на час.

Вопрос об атаке стоял безнадежно, можно было думать только об обороне отряда на Дворцовой площади.

Генерал Занкевич, надев мундир Лейб-гвардии Павловского полка, выехал к солдатам и, поговорив с ними, вынес убеждение, что на них рассчитывать нельзя. Удержаться на площади было невозможно; Занкевич считал, что верным слугам царя надо умереть в Зимнем дворце; около 9 часов вечера войска были переведены в Адмиралтейство, а около 11 часов — во дворец; при этом оказалось, что матросы и часть пехоты уже разошлись; осталось всего-навсего 1500—2000 человек.

Около часу ночи во дворце получили известие о назначении генерала Иванова. Управляющий дворцом генерал Комаров просил Хабалова не занимать дворца,

Занкевич спорил, и вопрос остался бы открытым, если бы заехавший в ту минуту с Беляевым великий князь Михаил Александрович, которому не удалось уехать в Гатчину, не согласился с Комаровым. На совещании великий князь, Хабалов и Занкевич наметили Петропавловскую крепость, но помощник коменданта барон Сталь, вызванный к телефону, сообщил, что на Троицкой площади стоят броневые автомобили и орудия, а на Троицком мосту — баррикады. Хабалов предложил пробиться, но Занкевич указал на колебания офицеров Измайловского полка; тогда, на рассвете, решили перейти опять в Адмиралтейство.

Листки с объявлением осадного положения были напечатаны, но расклеить их по городу не удалось: у Балка не было ни клея, ни кистей. По приказу Хабалова, отданному вялым тоном, два околоточных развесили несколько листков на решетке Александровского сада. Утром эти листки валялись на Адмиралтейской площади перед градоначальством.

Третье объявление, переданное Беляевым для публикации, — о запрещении жителям столицы выходить на улицу после 9 часов вечера — Хабалов счел окончательно бесцельным и оставил его без исполнения.

Императрица в этот день телеграфировала царю трижды: в 11 часов 12 минут дня: «Революция вчера приняла ужасающие размеры. Знаю, что присоединились и другие части. Известия хуже, чем когда бы то ни было. *Алис*»; в 1 час 3 минуты: «Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции. *Алис*»; в 9 часов 50 минут вечера: «Лили провела у нас день и ночь — не было ни колясок, ни моторов. Окружной Суд горит. *Алис*».

Дубенский записывал 27 февраля: «Из Петрограда вести не лучше. Была, говорят, сильная стрельба у Казанского собора, много убитых со стороны полиции и среди народа. Говорят, по городу ходят броневые автомобили. Слухи стали столь тревожны, что решено завтра, 28-го, отбыть в Петроград... Помощник начальника штаба Трегубов передал мне, что на его вопрос, что делается в Петрограде, Алексеев ответил: «Петроград в восстании». Трегубов дополнил, что была стрельба по улицам, стреляли пулеметы. Первое, что надо сделать, — это убить Протопопова, он ничего не делает,

шарлатан. Перед обедом я с Федоровым был в вагоне у генерал-адъютанта Иванова. Долго беседовали на тему петроградских событий и стали убеждать его сказать государю, что необходимо послать в Петроград несколько хороших полков, внушить действовать решительно, и дело можно еще потушить. Иванов начал говорить, что он не вправе сказать государю, что надо вызвать хорошие полки, например 23-ю дивизию и т. д., но в конце концов согласился и обещал говорить с царем. Перед обедом Алексеев приходил к государю в кабинет докладывать срочное сообщение из Петрограда о том, что некоторые части, кажется, Лейб-Гвардии Павловский полк, отказались действовать против толпы. На вопрос графа Фредерикса Алексееву — что нового из Петрограда, начальник штаба ответил: «Плохие вести, есть новое явление», намекал на войска. За обедом, который прошел тихо, и государь был молчалив, Иванов все-таки успел сказать государю о войсках.

После обеда государь позвал к себе Иванова в кабинет, и около 9 часов стало известно, что Иванов экстренным поездом едет в Петроград. Нарышкин мне сказал, что павловцев окружили преображенцы и, кажется, стало тише. Все настроение Ставки сразу изменилось. Все говорят, волнуются, спрашивают: что нового из Петрограда.

В вечерних телеграммах стало известно, что именным высочайшим указом распущены Дума и Государственный Совет, но это уже поздно, уже определилось временное правительство, заседающее в Думе, под охраной войск, перешедших на сторону революционеров. Войск, верных государю, осталось меньше, чем против него. Гвардейский Литовский полк убил командира. Преображенцы убили батальонного командира Богдановича. Председатель Государственной Думы прислал в Ставку государю телеграмму, в которой просил его прибыть немедленно в Царское Село спасать Россию. Все эти страшные сведения идут из Петрограда от графа Бенкендорфа полковнику Ратькову. Про министра внутренних дел граф Фредерикс выразился по-французски так: «А о министре внутренних дел нет слухов, как будто он мертвый». Граф Фредерикс держит себя спокойно, хорошо и говорит: «Не надо волноваться».

После вечернего чая, в 12 часов ночи, государь простился со всеми и ушел к себе. Вслед за ним к нему пошел Фредерикс и Воейков, пробыли у царя недолго и вышли, причем Воейков объявил, что отъезд в Царское Село его величества назначен безотлагательно в эту ночь. Все стали собираться и уже к 2 часам ночи были в поезде. Государь любезен, ласков, тих и, видимо, волнуется, хотя, как всегда, все скрывает. Всю ночь шли у нас с Цабелем, Штакельбергом и Суловым такие разговоры. Свитский поезд отошел в Царское в 4 часа ночи... Назначен Иванов диктатором).

В Ставке до сего дня полагали, что происходит «голландный бунт», в революцию не верили и к слухам относились пассивно, чему способствовал крайний «фатализм» царя, как выражается генерал Дубенский. Алексеев умолял царя в эти дни пойти на уступки, но из этого вышло только то, что уехали немного раньше, чем предполагали.

Во всяком случае, настроение Ставки резко изменилось к вечеру 27 февраля. Воейков, который балаганил, устраивал свою квартиру и до 5 часов дня «прибивал шторы и привешивал картинки», вдруг понял трагичность положения и «стал ходить красный, тараща глаза». Генерал Иванов, придя к обеду, узнал от Алексеева, что он назначен в Петербург главнокомандующим «для водворения полного порядка в столице и ее окрестностях», причем «командующий войсками округа переходит в его подчинение» (на бланке начальника Штаба верховного главнокомандующего, Управление дежурного генерала, № 3716, подписали генерал Алексеев и дежурный генерал Кондзеровский). Назначение это последовало вследствие указания бывшего председателя Совета министров князя Голицына на необходимость командировать в столицу пользующегося популярностью в войсках боевого генерала.

Иванов, слывший за «поклонника мягких действий», за обедом рассказал царю, как ему удалось успокоить волнения в Харбине при помощи двух полков без одного выстрела. После обеда царь сказал Иванову: «Я вас назначаю главнокомандующим Петроградским округом, там в запасных батальонах беспорядки и заводы бастуют, отправляйтесь». Иванов доложил, что он уже год стоит в стороне от армии, но полагает, что «далеко не все части останутся верны в случае на-

родного волнения», и что потому лучше не вводить войска в город, пока положение не выяснится, чтобы избежать «междоусобицы и кровопролития».

Царь ответил: «Да, конечно».

После этого разговора Иванов просидел в Штабе часа два, частью — с Алексеевым, которого вызывал царь, а потом — по прямому проводу — Родзянко. Алексеев сказал ему, что с Северного фронта и Западного посылаются по два полка, но еще сомневаются, какие посылать; посоветовал отправиться с батальоном и ротой сводного полка и показал телеграмму от Родзянки и телеграмму об объявлении осадного положения.

Иванов знал, что распущена Дума, введено осадное положение, не хватает продовольствия и многие заводы не работают на оборону из-за недостатка топлива. Решив утром пойти к царю, а около полудня ехать, он пошел спать.

В это время Воейкова вызвал по телеграфу из Царского Бенкендорф и спрашивал, не желает ли его величество, чтобы императрица с детьми выехала навстречу; царь поручил передать, чтобы ни в каком случае не выезжали, и что он сам приедет в Царское.

Воейков, по совету Бенкендорфа, вызвал Беляева, который дал ему «хаотический ответ», что «идет военный мятеж и нельзя определить, какая часть восстала и какая нет». Воейков считал, что должен иметь все эти сведения от Протопопова, но не получал их. В 8 часов 15 минут он послал Протопопову следующую шифрованную телеграмму (№ 35): «Его Величество изволит отбыть из Ставки через Оршу — Лихославль — Тосно вторник 28 февраля 2 часа 30 мин. дня и прибыть Царское Село среду 1 марта 3 час. 30 мин. дня».

Дубенский рассказывает в своем дневнике (от 3 марта), что «27 февраля вечером было экстренное заседание под председательством государя, Алексева, Фредерикса и Воейкова. Алексеев, ввиду полученных известий из Петрограда, умолял государя согласиться на требование Родзянко дать конституцию, Фредерикс молчал, а Воейков настоял на непринятии этого предложения и убеждал государя немедленно выехать в Царское Село».

Около 2 часов ночи адъютант разбудил Иванова и сообщил, что царь сейчас уезжает. Царь принял Иванова около 3 часов ночи. Иванов доложил о продо-

вольствии и просил содействия, памятуя сентябрь 1914 года, когда жалобы его на отсутствие снарядов вызвали неудовольствие даже в Ставке. Несмотря на то, что Иванов просил полномочий относительно только 4 министров (внутренних дел, земледелия, промышленности и путей сообщения), царь сказал: «Пожалуйста, передайте генералу Алексееву, чтобы он телеграфировал председателю Совета Министров, чтобы все требования генерала Иванова всеми министрами исполнялись беспрекословно». (Однако полномочия эти Иванов считал впоследствии отпавшими, так как от Алексеева он не получил подтверждения подобного приказа царя.) «До свиданья, — сказал царь, — вероятно, в Царском Селе увидимся». — «Ваше величество, — сказал Иванов, — позвольте напомнить относительно реформ». — «Да, да, — ответил царь, — мне только что напоминал об этом генерал Алексеев».

При этом царь произнес слова «ответственное министерство» и «министерство доверия», так что Иванов считал дело решенным и конфиденциально говорил об этом своему адъютанту, полковнику Кринскому и Ладыженскому (начальнику канцелярии по гражданскому управлению Штаба верховного главнокомандующего). Иванов решил, что высадится утром 1 марта в Царском. Он послал коменданту Царского Села две телеграммы, одна из которых (№ 4) гласила: «Прошу вас сделать распоряжение о подготовке помещения для расквартирования в городе Царское Село и его окрестностях 13 батальонов, 16 эскадронов и 4 батарей. О последовавшем распоряжении прошу меня уведомить завтра, 1 марта, на станции Царское Село».

Эшелон Георгиевского батальона, полурота Железнодорожного полка и рота Собственного его величества полка были отправлены из Могилева около 11 часов утра. Вагон Иванова, выехавший несколько позже, был прицеплен к эшелону в Орше.

С Северного фронта утром 28 были отправлены 3 эшелона 67-го пехотного Тарутинского полка; предполагалось отправить 68 Бородинский полк и кавалерию.

С Западного фронта предполагалось отправить два кавалерийских полка 2-й дивизии, два пехотных и пулеметную команду Кольта.

Иванов передал Алексееву следующий документ (на бланке генерал-адъютанта Иванова): 28 февраля 1917

года, № 1. «Начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего. При представлении моем сего числа около 3 часов утра Государю Императору, Его Императорскому Величеству было благоугодно повелеть доложить Вам, для поставления в известность председателя совета министров, следующее повеление Его Императорского Величества:

«Все министры должны исполнять все требования главнокомандующего Петроградским военным округом генерал-адъютанта Иванова беспрекословно. Генерал-адъютант *Иванов*».

Права генерала Иванова определялись следующим документом от 28 февраля (на бланке начальника Штаба верховного главнокомандующего, № 507).

«На основании 12 статьи Правил о местностях, объявленных на военном положении, мною предоставляется Вашему Высокопревосходительству принадлежащее мне на основании 29 статьи Положения о полевом управлении войск право предания гражданских лиц военно-полевому суду по всем делам, направляемым в военный суд, по коим еще не состоялось предания обвиняемых суду. Распоряжения Вашего Высокопревосходительства о суждении гражданских лиц в военно-полевом суде могут быть делаемы, как по отношению к отдельным делам, так и по отношению к целым категориям дел, с предварительным, в последнем случае, объявлением о сем во всеобщее сведение. Подписали: Генерал-адъютант *Алексеев*. Генерал-лейтенант *Кондзеровский*».

Командир Георгиевского батальона, генерал Пожарский, собрав 27 февраля своих офицеров, объявил им, что в Петербурге приказания стрелять в народ он не даст, хотя бы этого потребовал генерал Иванов.

В то время, как в Могилеве происходили сборы, и литературные (свитский и императорский) поезда в 4 и в 5 часов утра двинулись по направлению Смоленск — Вязьма — Ржев — Лихославль, — генералы Хабалов, Занкевич и Беляев (расставшийся с великим князем Михаилом Александровичем после 2 часов ночи) с кучкой верных им офицеров и солдат перешли из Зимнего дворца в здание Адмиралтейства, заняли фасады, обращенные к Невскому, артиллерию поставили на дворе, во втором этаже разместили пехоту, а на углах, подходящих для обстрела, расставили пулеметы. Снарядов

у них было мало, патронов не было вовсе, а есть было нечего; с большим трудом достали немного хлеба для солдат. У казачьей сотни, расквартированной в казармах Конного полка, лошади были непоены и нескормлены. По Адмиралтейству постреливали, но оттуда не отвечали. Тут и происходил ночной разговор с Ивановым по прямому проводу. Ночью от Хабалова ответили, что он не знает, где переговорить с Ивановым, и не может выйти на улицу без риска быть арестованным. Иванов вызвал его к прямому проводу к 8 часам утра, и они обменялись следующим: Иванов передал десять вопросных пунктов (записаны на трех желтых листочках).

«1) Какие части в порядке и какие безобразят? 2) Какие вокзалы охраняются? 3) В каких частях города поддерживается порядок? 4) Какие власти правят этими частями города? 5) Все ли министерства правильно функционируют? 6) Какие полицейские власти находятся в данное время в вашем распоряжении? 7) Какие технические и хозяйственные учреждения военного ведомства ныне в вашем распоряжении? 8) Какое количество продовольствия в вашем распоряжении? 9) Много ли оружия, артиллерии и боевых припасов попало в руки бунтующих? 10) Какие военные власти и штабы в вашем распоряжении? — Я сейчас иду к генералу Алексееву и приду через полчаса».

Хабалов ответил телеграммой по пунктам:

«1) Моем распоряжении здание главного Адмиралтейства, четыре гвардейских роты, пять эскадронов и сотен, и две батареи, прочие войска перешли на сторону революционеров или остаются по соглашению с ними нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, стреляя прохожих, обезоруживая офицеров. 2) Все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются. 3) Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет. 4) Ответить не могу. 5) Министры арестованы революционерами. 6) Не находятся вовсе. 7) Не имею. 8) Продовольствия в моем распоряжении нет, в городе к 25 февраля было 5 600 000 пудов запаса муки. 9) Все артиллерийские заведения во власти революционеров. 10) Моем распоряжении лично начальник штаба округа; с прочими окружными управлениями связи не имею».

Эту телеграмму Хабалов подтвердил в последовавшем разговоре с Ивановым.

В то же утро генералы Тяжелников и Михайличенко, сидя в Адмиралтействе, с удивлением слушали, как Беляев в соседней комнате диктовал телеграмму, которая начиналась словами очень умеренными: «Положение по-прежнему продолжает оставаться тревожным». Далее сообщалось, однако, что «мятежники» овладели во всех частях города учреждениями, войска переходят на их сторону или становятся нейтральными, на улицах идет пальба, движение прекращено, офицеров разоружают и скорейшее прибытие войск крайне желательно (послана в 11 час. 32 мин. в Ставку Наштаверху, копия — Орша, вслед дворцовому коменданту, № 201).

Около полудня, 28 февраля, в Адмиралтейство явился адъютант морского министра, который потребовал очистки здания, так как, в противном случае, восставшие угрожали открыть по нему артиллерийский огонь из Петропавловской крепости. На совещании было решено, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Артиллерия отправилась обратно в Стрельну, оставив замки от орудий; пулеметы и ружья спрятали в здании, и вся пехота была распущена без оружия. Хабалов был арестован солдатами, осматривавшими здание Адмиралтейства, в тот же день, около 4 часов. Беляев прошел в Генеральный штаб, откуда в 2 часа 20 минут послал следующую секретную телеграмму Наштаверху (№ 9157):

«Около 12 часов дня 28 февраля остатки оставшихся еще верными частей в числе 4 рот, 1 сотни, 2 батарей и пулеметной роты, по требованию Морского Министра, были выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергнуть разгрому здание. Перевод этих войск в другое место не признал соответственным, ввиду неполной их надежности. Части разведены по казармам, причем во избежание отнятия оружия замки орудий сданы Морскому Министерству».

После 3-х часов Беляев прошел в дом военного министра на Мойку, где и ночевал.

Иванов выехал из Могилева около 1 часу дня. Ему вдогонку была послана копия телеграммы Наштаверха на имя начальника военно-походной канцелярии (№ 1820): «Всепоподданнейше доношу: военный министр

сообщает, что около 12 часов 28 сего февраля остатки оставшихся еще верными частей в числе 4 рот, 1 сотни, 2 батарей и пулеметной роты по требованию морского министра были выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергнуть разгрому здание. Перевод всех этих войск в другое место не признал соответственным, ввиду неполной их надежности. Части разведены по казармам, причем, во избежание отнятия оружия, по пути следования, ружья и пулеметы, а также замки орудий сданы морскому министерству».

После отъезда Иванова в Ставке была получена следующая телеграмма и. о. начальника морского Генерального штаба адмирала Капниста на имя адмирала Русина (№ 2704):

«Положение к вечеру таково: мятежные войска овладели Выборгской стороной, всей частью города от Литейного до Смольного и оттуда по Суворовскому и Спасской. Сейчас сообщают о стрельбе на Петроградской стороне. Сеньорен-Конвент Государственной Думы, по просьбе делегатов от мятежников, избрал комитет для водворения порядка в столице и для сношения с учреждениями и лицами. Сомнительно, однако, чтобы бушующую толпу можно было бы успокоить. Войска переходят легко на сторону мятежников. На улицах офицеров обезоруживают. Автомобили толпа отбирает. У нас отобрано три автомобиля, в том числе Вашего Превосходительства, который вооруженные солдаты заставили выехать со двора моей квартиры, держат с Хижняком, которого заставили править машиной. Командование принял Беляев, но, судя по тому, что происходит, едва ли он справится. В городе отсутствие охраны и хулиганы начали грабить. Семафоры порваны, поезда не ходят. Морской Министр болен инфлюэнцией, большая температура — 38, лежит, теперь ему лучше. Чувствуется полная анархия. Есть признаки, что у мятежников плана нет, но заметна некоторая организация, например, кварталы от Литейного по Сергиевской и Таврической обставлены их часовыми. Я живу в Штабе, считаю, что выезжать в Ставку до нового Вашего распоряжения не могу».

Иванов прибыл из Могилева в Витебск с маленьким опозданием, часов в 6—7 вечера, и проехал дальше. В этот день и на следующий обменивались телеграммами о формировании и отправке воинских частей гене-

рал Иванов (28 февраля, спешно, секретно, № 1 Главкозапу и № 2 Главкосеву), Данилов (28 февраля, № 1165-Б и 1166-Б), Рузский (28 февраля, № 1168-Б), Гулевич (1 марта, № 535), Тихменев (генералу Иванову, 1 марта, № 278), подполковник Кринский (генералу Тихменеву, №3), генерал князь Трубецкой (генералу Иванову, 1 марта, № 154). 28 же февраля была разослана «по всей сети на имя всех начальствующих» известная телеграмма члена Государственной думы Бубликова, № 6932.

Императорский поезд следовал без происшествий, встречаемый урядниками и губернаторами. Непосредственные известия из Петербурга перестали поступать; питались только вздорными слухами о том, что грабят Зимний дворец, убит градоначальник Балк и его помощник Вендорф.

В 3 часа дня царь послал императрице из Вязьмы следующую телеграмму (по-английски): «Выехали сегодня утром в 5. Мыслями всегда вместе. Великолепная погода. Надеюсь, чувствуете себя хорошо и спокойно. Много войск послано с фронта. Любящий нежно Ники».

В Лихославле Воейков получил шифрованную телеграмму от Беляева. Здесь были сведения, что в Петербурге Временное правительство с Родзянко во главе. Читали и телеграмму Бубликова с распоряжением по всем дорогам. В 10 часов вечера Дубенский писал Федорову: «Дорогой Сергей Петрович, дальше Тосны поезда не пойдут. По моему глубокому убеждению, надо Его Величеству из Бологого повернуть на Псков (320 верст) и там, опираясь на фронт г.-а. Рузского, начать действовать против Петрограда. Там, во Пскове, скорей можно сделать распоряжение о составе отряда для отправки в Петроград. Псков — старый губернский город, население его не взволновано. Оттуда скорей и лучше можно помочь Царской Семье. В Тосне Его Величество может подвергнуться опасности. Пишу Вам все это, считая невозможным скрыть, мне кажется, эту мысль, которая в эту страшную минуту может помочь делу спасения Государя, Его семьи. Если мою мысль не одобрите, разорвите записку».

В Бологом в свитском поезде стало известно, что в Любани стоят войска, которые могут не пропустить дальше. Однако поезд продолжал следовать по линии

Николаевской железной дороги, по направлению к Петербургу. В Малой Вишере офицер 1-го железнодорожного полка, без оружия, предупредил свиту, что в Любани находятся две роты с орудиями и пулеметами. Было решено ждать прибытия императорского поезда. Так как из ряда сведений определилось, что Временное правительство направляет литерные поезда не на Царское Село, а на Петербург, где, как полагали, царю будут поставлены условия о дальнейшем управлении, — общий голос был за то, чтобы ехать в Псков: там — генерал Рузский, человек умный и спокойный; если в Петербурге восстание, — он послал войска, если переворот — он вошел в сношение с новым правительством. Немногие говорили, что надо вернуться в Ставку.

В третьем часу ночи дождались поезда. Генерал Саблин пошел туда. Все, кроме Нарышкина, спали; Воейкова пришлось разбудить.

Воейков отправился к царю, разбудил его и сообщил, что на Тосну ехать рискованно, так как она занята революционными войсками.

Царь встал с кровати, надел халат и сказал: «Ну, тогда поедемте до ближайшего юза».

Воейков вышел веселый, со словами: «Мы едем в Псков, теперь вы довольны?» — Поезда повернули назад.

Дубенский записывает в дневнике: «Все признают что этот ночной поворот в Вишере есть историческая ночь в дни нашей революции. Государь по-прежнему спокоен и мало говорит о событиях. Для меня совершенно ясно, что вопрос о конституции окончен, она будет введена наверное. Царь и не думает спорить и протестовать. Все его приближенные за это: граф Фредерикс, Нилов, граф Граббе, Федоров, Долгорукий, Лейхтенбергский, все говорят, что надо только торговаться с ними, с членами Временного Правительства».

Генерал Иванов, проснувшись 1 марта часов в 6—7 утра, узнал, что его поезд находится на станции Дно, то есть, вместо 500 верст, прошел только 200. Комендант станции доложил, что в поездах, вышедших накануне из Петербурга, едет масса солдат в военной и штатской форме, что они насильно отбирают у офицеров оружие, и что выехавший начальник жандармского управления ничего сделать не может и просит содействия. Полков-

ник Лебедев, заведующий передвижением войск, телеграфировал Иванову: «Доношу, что получены мною сведения о поезде № 3, в котором едут пьяные солдаты, одетые в штатское и вооруженные шашками, ружьями, обезоруживающие офицеров и жандармов. Прошу ваших распоряжений».

Иванов приказал командиру батальона осматривать встречные поезда, особенно, ввиду того, что, по полученному известию, императорский поезд вышел из Бологого и к вечеру ожидался в Дне.

Иванов лично видел несколько прибывших из Петербурга поездов. Они были набиты солдатами, некоторые были пьяны. Из разговоров женщин и старого чиновника, который рассказывал о провокаторах, Иванов убедился, что «безобразия большие». Ему удалось арестовать человек 30—40, в том числе переодетых городских, бежавших из Петербурга (все они, кроме 2-х, были отпущены в Царском Селе, а двое — на обратном пути в Могилев), и отобрать у солдат 75—100 штук шашек и прочего офицерского оружия. Генерал Иванов, как установлено им самим и показаниями солдат Георгиевского батальона, применял раза три-четыре особого рода «отеческое воздействие» с целью добиться покорности: ставил на колени пьяных или дерзивших ему нижних чинов. При этом им руководили, очевидно, гуманные побуждения, то есть он избегал предания этих лиц военно-полевому суду.

Поезд Иванова прибыл в Вырицу около 6 часов вечера.

В это время императорский поезд, без всяких задержек, двигался к станции Дно. По словам Воейкова, когда все проснулись, «о событиях старались не говорить, потому что это не особенно приятно было. Общее настроение было — испуг и надежда, что приедем в Псков, и все выяснится». Во время завтрака и обеда говорили обо всем, только не о делах, потому что тут была прислуга (а по-французски царь говорил очень редко) и потому, что царь избегал вступать в политические разговоры со свитой (вся атмосфера была — «манекен»); по словам Дубенского, царь, человек мужественный и поклонник какого-то «рока», «спал, кушал и занимал даже разговорами ближайших лиц свиты».

Около 6 часов вечера поезд пришел в Дно.

С утра 1 марта против дома военного министра в Петербурге стали собираться толпы народа. Беляева искали еще накануне в его частной квартире на Николаевской, а 1 марта стали громить эту квартиру.

Опасаясь разгрома служебного кабинета на Мойке, Беляев с помощью своего секретаря Шильдера, его помощника Огурцова, швейцара и денщика стал жечь в печах и камине еще накануне приготовленные для сожжения документы.

В числе сожженных документов были: некоторые дела Совета министров, дела особого совещания по объединению мероприятий, по снабжению армии и флота и по организации тыла (так называемое совещание пяти министров), много материалов, касающихся снабжения армии и имеющих секретный характер, секретные шифры, маленький секретный журнал для записи секретных бумаг, возвращаемых министром после доклада, ленты и подлинные телеграммы о положении в Петербурге, отправленные военным министром начальнику штаба верховного главнокомандующего по прямому проводу.

В числе бумаг, по-видимому уничтоженных и не возвращенных из дома военного министра в Главный штаб и в Главное управление Генерального штаба, были некоторые и секретные и несекретные документы, документы, часть которых имела важное значение и не имела копий; восстановить их возможно только по памяти или совсем невозможно.

В своих объяснениях генерал Беляев сослался на то, что он руководился опасением, чтобы тайные бумаги не попали в руки громившей толпы, среди которой могли быть злонамеренные лица. Остался только один подлинный документ, касающийся данных союзной конференции, который Беляев положил в ящик стола.

В два часа дня Беляев, узнав, что громят его частную квартиру на Николаевской, по совету морского министра, сидевшего у себя в штабе, перешел в Генеральный штаб, где его искали ночью, чтобы арестовать. Беляев позвонил в Государственную думу; подошедший к телефону Н. В. Некрасов посоветовал ему ехать в Петропавловскую крепость, Беляев поехал в Думу; предлагал дать подписку о невыезде и просил, чтобы ему «дали возможность превратиться в частного обыва-

теля поскорее». Ему предложили отправиться в министерский павильон, откуда вечером перевезли в крепость.

Генерал Мрозовский послал в этот день царю в Царское Село из Москвы следующую телеграмму: «Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу: большинство войск с артиллерией передалось революционерам, во власти которых поэтому находится весь город; градоначальник с помощником выбыли из градоначальства; получил от Родзянки предложение признать временную власть Комитета Государственной Думы, положение крайне серьезное, при нынешних условиях не могу влиять на ход событий, опасаясь утверждения власти крайних левых, образовавших исполнительный комитет, промедление каждого часа увеличивает опасность; получаю от более благомыслящей части населения заявления, что призвание нового министерства восстановит порядок и власть. Срочно испрашиваю повеления Вашего Величества. Генерал Мрозовский».

Генерал Иванов, узнав в Вырице, что министры арестованы, что в Царском 27-го был бунт, и что на станции Александровской высаживается Тарутинский полк, пришедший с фронта, решил идти в Царское, вызвал туда начальствующих и выехал сам, приказав к концу поезда прицепить второй паровоз. Прибыли вечером 1 марта.

В Царском в этот день после полудня появились броневики и автомобили с пулеметами, которые обыкновенно доезжали только до вокзала и уезжали обратно. Полковник Дротен доложил, что гвардейская рота ушла в Петербург. Генерал Осипов отдал приказ о впуске и выпуске из Царского Села, так как гарнизон спавивал прибывающие части. После этих докладов прибыли выборные представители от города и войска. Генерал Пожарский вновь заявил, что его солдаты стрелять не будут, а георгиевцы объяснили, в ответ на предложение присоединиться, что их батальон «нейтрален» и имеет целью охрану личности Николая II.

Иванов получил от Алексеева следующую зашифрованную телеграмму:

«Частные сведения говорят, что в Петрограде наступило полное спокойствие: войска, примкнувшие к временному правительству, в полном составе приво-

дятся в порядок. Временное правительство под председательством Родзянки, заседаая в Государственной Думе, пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное временным правительством, говорит о незыблемости монархического начала России, о необходимости новых оснований для выбора и назначения правительства. Ждут с нетерпением приезда его величества, чтобы представить Ему все изложенное и просьбу принять это пожелание народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших действий, переговоры приведут к умиротворению, дабы избежать ненужной междоусобицы, столь желательной нашему врагу, дабы сохранить учреждения, заводы, пустить в ход работы. Воззвание нового министра путей, опубликованное железнодорожникам, мною полученное кружным путем, зовет к усиленной работе всех, дабы наладить расстроенный транспорт его. Доложите его величеству это убеждение, что дело можно привести мирно — хорошему концу, который укрепит миссию».

Получив эту телеграмму (единственную из девяти посланных), Иванов прочел ее не сразу, так как его вызвала к себе (около двух часов ночи) императрица, которая с полудня 28 февраля охранялась уже революционными войсками. К тому времени Иванов уже знал (с Вырицы), что царский поезд вышел из Дна на Псков.

Императрица сообщила, что, не получая ответа на свою телеграмму, она хотела послать аэроплан, но погода не позволила. На просьбу ее переслать письмо, Иванов доложил, что у него нет человека. Императрица много говорила о деятельности своей и своих дочерей на пользу больных и раненых и недоумевала по поводу неудовольствий. В дальнейшем разговоре она упоминала ответственное министерство, а Иванов указывал, что думское большинство удовлетворялось Треповым, и вопрос был только о министре внутренних дел. В эту минуту, по рассказу Иванова, кто-то кашлянул в соседней комнате, императрица вышла, и за дверью начался неслышимый и непонятный Иванову английский разговор.

Когда Иванов уезжал, в Царском было тихо. Пришла телеграмма: «Псков, час пять минут ночи. Наде-

юсь, благополучно доехали. Прошу до моего приезда никаких решений не принимать. *Николай*». Иванов ответил, что 2 марта получил телеграмму и ждет дальнейших указаний (№ 7), и телеграфировал о том же Алексееву (№ 6).

В эту ночь в Царское Село приехал командированный начальником Генерального штаба (генералом Занкевичем) полковник Доманевский — для исполнения должности начальника Штаба Иванова. Он сделал доклад Иванову о том, что «в распоряжении законных военных властей не осталось ни одной части» и «с этой минуты (то есть с 12 часов дня, 28 февраля) прекратилась борьба с восставшей частью населения». Офицеры и нижние чины явились в Государственную думу, полиция частью снята, частью попряталась, часть министров арестована, министерства могут продолжать работу, только «как бы признав» Временное правительство. При таких условиях вооруженная борьба трудна, и выход представляется не в ней, а в соглашении с Временным правительством, путем «узаконения наиболее умеренной его части». Среди восставших обнаруживались «два совершенно определенных течения»: «одни примкнули к Думским выборным» и, оставаясь верными монархическому принципу, желали лишь некоторых реформ и скорейшей ликвидации беспорядков; «другие поддерживали совет рабочих», «искали крайних результатов и конца войны». До 1 марта Временное правительство было хозяином положения в столице, но с каждым днем положение его становилось труднее и власть могла перейти к крайним левым. Поэтому в настоящее время «вооруженная борьба только осложнит положение».

Прибывший начальник станции сообщил, что на вокзал двигаются тяжелый дивизион и батальон Первого гвардейского запасного стрелкового полка (в эту ночь А. И. Гучков, в качестве председателя военной комиссии, ездил на Варшавский и Балтийский вокзалы, чтобы навести порядок на случай прибытия карательной экспедиции, причем его автомобиль был обстрелян, и спутник его, князь Вяземский, был убит). Иванов, зная, что Хабалов арестован, и в городе «хозяйничают» Родзянко и Гучков, считая, что охрана дворца не входит в его задачу, и понимая, что, «если пойдет толпа, тысячи „уложишь“», решил уходить. Таким образом,

после каких-то затруднений с переводной стрелкой и сломанным крюком в хвостовых вагонах, оказавшихся передовыми, весь поезд с георгиевским батальоном был уведен в ночь с 1 на 2 марта обратно, на Вырицу.

Через 15 минут после ухода их на вокзале в Царском уже появились народные войска с пулеметами; говорили: «Если они перейдут на нашу сторону, побра-таемся».

Когда императорский поезд пришел в Дно, Алексеев сам передал Родзянке телеграмму о согласии царя принять его. Последовал ответ, что Родзянко едет на станцию Дно. Воейкову по телеграфу сообщили, что поезд готов, но из Думы сообщили по телефону, что Родзянко еще не выезжал (в тот день Гучков настаивал в Исполнительном комитете, чтобы миссию — склонить царя к отречению — взял на себя Родзянко, но эта миссия была возложена на него и на В. В. Шульгина). Царь решил не ждать в Дне, и Воейков послал Родзянке телеграмму, что его будут ждать в Пскове.

Дубенский записывал:

«Уже 1 марта едет к Государю Родзянко в Псков для переговоров. Кажется, он выехал экстренным поездом из Петрограда в 3 часа дня; сегодня Царское окружено, но вчера императрица телеграфировала по-английски, что в Царском все спокойно. Старый Псков опять занесет на страницы своей истории великие дни, когда пребывал здесь последний самодержец России, Николай II, и лишился своей власти, как самодержец».

С прибытием царского поезда в Псков, в девятом часу вечера, начались, по словам Дубенского, «все более грустные и великие события».

По прибытии, в вагон государя вошли генерал Рузский и начальник его штаба генерал Данилов. По мнению Рузского, надо было идти на все уступки, сдаваться на милость победителя и давать полную конституцию, иначе анархия будет расти, и Россия погибнет.

Воейков получил телеграмму от Бубликова о том, что Родзянко не приедет. Царь решил послать телеграмму к Родзянке, смысл ее был такой: «Ради спасения родины и счастья народа предлагаю вам составить новое министерство во главе с вами, но министр иностранных дел, военный и морской будут назначаться

мной». Царь сказал Воейкову: «Пошлите ее по юзу и покажите Рузскому».

Рузский, по словам Воейкова, вырвал телеграмму у него из рук и сказал, что здесь он сам посылает телеграммы. На доклад Воейкова об этом, царь сказал: «Ну, пускай он сам пошлет». — Весь вечер шел вызов Петербурга, и Рузский, иногда возвращаясь к царю, говорил по прямому проводу (юз был в городе) всю ночь, до 6 часов утра. Таким образом, все дальнейшие переговоры происходили через Рузского, которому было поручено говорить об условиях конституции.

Между тем, придворные беспокоились о своих домашних. Дубенский отрядил в Петербург своего человека, которого переодели в штатское («хулиганом»). Фредерикс, Дрентельн и Воейков дали ему письма, и он вернулся с ответами.

В четверг, 2 марта, утром ответы Родзянко Рузскому оказались, по словам Дубенского, «неутешительными». На вопрос Воейкова о результате телеграммы к Родзянко Рузский ответил: «Того, что ему послано, теперь недостаточно, придется идти дальше». «Родзянко, — пишет Дубенский, — сказал, что он не может быть уверенным ни за один час; ехать для переговоров не может, о чем он телеграфирует, намекая на изменившиеся обстоятельства. Обстоятельство это только что предположено, а может быть, и осуществлено — избрать регентом Михаила Александровича, то есть совершенно упразднить императора Николая II. Рузский находит, что войска посылать в Петроград нельзя, так как только ухудшат положение, ибо перейдут к мятежникам. Трудно представить весь ужас слухов... В Петрограде анархия, господство черни, жидов, оскорбление офицеров, аресты министров и других видных деятелей правительства. Разграблены ружейные магазины...»

В это время генерал Иванов, сидевший в Вырице, собрался переговорить с командирами запасных батальонов и повидать Тарутинский полк (все остальные были задержаны в пути), чтобы узнать части, с которыми придется иметь дело. Сведения об этих частях также были неблагоприятны.

Собираясь проехать несколько станций на автомобиле, Иванов получил записку от Гучкова, который около 1 часа дня выехал с Шульгиным в Псков и те-

леграфировал Рузскому, что «едет по важному делу», и Иванову, которого хотел отговорить в пути, зная только, что какие-то эшелоны идут на Петербург. Гучков писал:

«Еду в Псков, примите все меры повидать меня либо в Пскове, либо на обратном пути из Пскова в Петроград. Распоряжение дано о пропуске Вас этом направлении».

Иванов телеграфировал Гучкову в Псков: «Рад буду повидать вас, но на станции Вырица. Если то для вас возможно, телеграфируйте о времени проезда».

Гучков ответил: «На обратном пути из Пскова постараюсь быть Вырице, желательнее встретить вас Гатчине Варшавской».

Тогда Иванов решил проехать по соединительной ветке через станцию Владимирскую (между Гатчиной и Царским) на Варшавскую дорогу, надеясь посмотреть на станции Александровской Тарутинский полк и повидаться с Гучковым, после его возвращения из Пскова. На станции Сусанино поезд Иванова, со всем батальоном, поставили в тупик. Первая телеграмма от Бубликова гласила: «Мне стало известно, что вы арестовываете и терроризируете служащих железных дорог, находящихся в моем ведении. По поручению Временного Комитета Государственной Думы предупреждаю вас, что вы навлекаете на себя этим тяжелую ответственность. Советую вам не двигаться из Вырицы, ибо, по имеющимся у меня сведениям, народными войсками ваш полк будет обстрелян артиллерийским огнем». Вторая: «Ваше настойчивое желание ехать дальше ставит непреодолимое препятствие для выполнения желания Его Величества немедленно следовать Царское Село. Убедительнейше прошу остаться в Сусанино или вернуться Вырицу».

Иванов вернулся на Вырицу и послал Алексееву шифрованную телеграмму № 9 (копия Тихменеву): «До сих пор не имею никаких сведений о движении частей, назначенных мое распоряжение. Имею негласные сведения о приостановке движения моего поезда. Прошу принятия экстренных мер для восстановления порядка среди железнодорожной администрации, которая несомненно получает директивы временного правительства».

Для посылки телеграммы Иванов дал один из своих паровозов подполковнику Генерального штаба Тилли; он должен был передать ее по прямому проводу из Царского Села в Ставку. Тилли доложил по телефону, что он задержан в Царском Селе. Вместе с тем, Иванов получил от Тихменева следующую телеграмму: «Докладываю для сведения депешу Наштасева командирам 5, Наштаверху, Начвосеву: „Ввиду невозможности продвигать эшелоны далее Луги, нежелательности скопления их на линии, особенно Пскове, и разрешения государя императора вступить Главкосеву сношения Председателем Государственной Думы, последовало высочайшее соизволение вернуть войска, направляющиеся станцию Александровскую, обратно Двинский район, где расположить их распоряжением командарма 5. № 1216-В, 1 час, 2 марта, *Данилов*“».

Тем временем, придворные в Пскове суетились, «толкаясь из вагона в вагон». События развивались для них «все страшнее и неожиданнее».

Рузский после завтрака второй раз пришел к царю и доложил ему семь телеграмм: от великого князя Николая Николаевича, который коленопреклоненно молил царя отречься от престола и передать его наследнику при регентстве великого князя Михаила Александровича, от Алексеева, Сахарова, Брусилова, Эверта, Непенина — и заявление Рузского — о том же; в телеграмме Алексеева (из Могилева) была изложена форма отречения, которую он считал для царя желательной.

После разговора с Рузским царь решил послать ответ телеграммой с согласием отречься от престола; по словам Дубенского, это решение было принято, «дабы не делать отказа от престола под давлением Гучкова и Шульгина», приезда которых ждали и которых царь собирался принять. Следующий эпизод, записанный в дневнике Дубенского, Воейков опровергает категорически:

«Когда Воейков узнал это от Фредерикса, пославшего эту телеграмму, он попросил у государя разрешения вернуть телеграмму. Государь согласился. Воейков быстро вошел в вагон свиты и заявил Нарышкину, чтобы он побежал скорее на телеграф и приостановил телеграмму. Нарышкин пошел на телеграф, но телеграмма ушла, и начальник телеграфа сказал, что он попытается ее остановить. Когда Нарышкин вернулся

и сообщил это, то все стоящие здесь почти в один голос сказали: «Все кончено». Затем выражали сожаление, что государь поспешил, все были расстроены, поскольку могут быть расстроены эти пустые, эгоистичные в большинстве люди».

Царь долго гулял между поездами, спокойный на вид. Через полчаса после отречения Дубенский стоял у окна и плакал. Мимо вагона прошел царь с Лейхтенбергским, весело посмотрел на Дубенского, кивнул и отдал честь. «Тут, — говорит Дубенский, — возможна выдержка или холодное равнодушие ко всему». После отречения «у него одеревенело лицо, он всем кланялся, он протянул мне руку, и я эту руку поцеловал. Я все-таки удивился — Господи, откуда у него берутся такие силы, он ведь мог к нам не выходить». Однако, «когда он говорил с Фредериксом об Алексее Николаевиче, один на один, я знаю, он все-таки заплакал. Когда с С. П. Федоровым говорил, ведь он наивно думал, что может отказаться от престола и остаться простым обывателем в России: «Неужели вы думаете, что я буду интриговать. Я буду жить около Алексея и его воспитывать».

После отречения царь сказал только: «Мне стыдно будет увидеть иностранных агентов в Ставке, и им неловко будет видеть меня». «Слабый, безвольный, но хороший и чистый человек, — замечает Дубенский, — он погиб из-за императрицы, ее безумного увлечения Григорием, — Россия не могла простить этого».

Придворные долго разговаривали, и Воейков, по настоянию Дубенского, пошел убеждать царя, что он не имеет права отказываться от престола таким «кустарным образом», только по желанию Временного правительства и командующих фронтами. Он, замечает Дубенский, отрекся от престола, «как сдал эскадрон».

В 9 часов вечера в Псков приехали Гучков и Шульгин, уполномоченные Временным комитетом Государственной думы, в котором еще колебались между добровольным сохранением монархии с другим лицом, на новых началах, и свержением царя и избранием новых политических форм. Предполагалось рекомендовать царю назначить только председателя Совета министров и отречься в пользу сына, с регентством Михаила Александровича.

В эту ночь, по возвращении с объезда вокзалов, Гучков участвовал в совещаниях Временного комитета Государственной думы и Исполнительного Комитета Совета Солдатских и Рабочих Депутатов.

По приезде в Псков Гучков хотел видеть Рузского, чтобы ознакомиться с настроениями; но встречавший на вокзале полковник сразу пригласил их в вагон царя, где Гучков и Шульгин встретили Фредерикса и Нарышкина; потом пришел и Рузский.

Вошедший через несколько минут царь сел за маленький столик и сделал жест, приглашающий сесть рядом. Остальные сели вдоль стен. Царь не обнаружил никаких признаков своего давнего неблаговоления к Гучкову, но также и никакой теплоты. Он говорил спокойным, корректным и деловым тоном. Нарышкин вынул записную книжку и стал записывать.

Гучков сказал, что он приехал от имени Временного комитета Государственной думы, чтобы дать нужные советы, как вывести страну из тяжелого положения; Петербург уже всецело в руках движения, попытки фронта не приведут ни к чему, и всякая воинская часть перейдет на сторону движения, как только подышит петербургским воздухом.

Рузский поддержал, сказав, что совершенно согласен с А. И. и никаких запасных частей послать в Петроград не мог бы.

«Поэтому, — продолжал Гучков, — всякая борьба для вас бесполезна. Совет наш заключается в том, что вы должны отречься от престола».

Рассказав, как представители царскосельских воинских частей пришли в Думу и всецело присоединились к новой власти, Гучков продолжал: «Я знаю, ваше величество, что я вам предлагаю решение громадной важности, и я не жду, чтобы вы приняли его тотчас. Если вы хотите несколько обдумать этот шаг, я готов уйти из вагона и подождать, пока вы примете решение, но, во всяком случае, все это должно совершиться сегодня вечером».

Царь, выслушав все очень спокойно, ответил: «Я этот вопрос уже обдумал и решил отречься».

Гучков сказал, что царю, конечно, придется расстаться с сыном, потому что «никто не решится доверить судьбу и воспитание будущего государя тем, кто довел страну до настоящего положения».

На это царь сказал, что он не может расстаться с сыном и передает престол своему брату Михаилу Александровичу.

Гучков, предупредив, что он остается в Пскове час или полтора, просил сейчас же составить акт об отречении, так как завтра он должен быть в Петербурге с актом в руках. Текст был накануне набросан Шульгиным, некоторые поправки внесены Гучковым. Этот текст, не навязывая его дословно, в качестве матерьяла, передал царю: царь взял его и вышел.

Гучков, которому все предшествовавшие события не были известны, поразился тем, что отречение далось так легко. Сцена произвела на него тяжелое впечатление своей обыденностью, и ему пришло в голову, что он имеет дело с человеком ненормальным, с пониженной сознательностью и чувствительностью. Царь, по впечатлению Гучкова, был совершенно лишен трагического понимания события: при самом железном самообладании можно было не выдержать, но голос у царя как будто дрогнул только когда он говорил о разлуке с сыном.

В вагоне ждали час или полтора. Рузский, как и начальник его штаба генерал Данилов, были, по-видимому, сторонниками отречения; с Нарышкиным разговоров не было, больной Фредерикс едва ли отдавал себе отчет в происходящем и был взволнован известием, что его дом сожжен, беспокоясь о больной жене; к собеседникам присоединился Воейков, который также беспокоился о семье и о своей жене (дочери Фредерикса).

Царь вернулся и передал Гучкову переписанный на машинке акт с подписью «Николай». Гучков прочел его присутствующим вслух. Шульгин внес две-три незначительных поправки. В одном месте царь сказал: «Не лучше ли так выразить?» и вставил какое-то слово. Все поправки были тотчас внесены и оговорены.

Гучков сказал, что, ввиду могущих произойти в дороге случайностей, следует составить второй акт — не копию, а дубликат — и оставить его в штабе главнокомандующего. Царь нашел это правильным и сказал, что так и будет сделано.

Царь сказал, что он назначает верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича; Гучков ничего не возражал, а может быть, и подтвер-

дил. Была составлена телеграмма Николаю Николаевичу.

Гучков сказал, что думский комитет ставит во главе правительства князя Львова. Царь сказал, что он знает его и согласен, сел и написал указ Сенату о назначении князя Львова председателем Совета министров. Царь согласился со словами Гучкова о том, что остальных министров председатель приглашает по своему усмотрению.

Таким образом, царь назначил верховного главнокомандующего и председателя Совета министров уже после того, как скрепил акт; но на следующее утро, когда Гучков и Шульгин вернулись в Петербург, на улицах уже были плакаты с перечислением членов правительства.

Царь спросил о судьбе императрицы и детей, от которых два дня не имел известий. Гучков ответил, что все благополучно, больным детям оказывается помощь. Царь заговорил о своих планах, ехать ли ему в Царское или в Ставку; Гучков не знал, что посоветовать. Они простились.

Гучков и Шульгин пришли в вагон Рузского, где ждали, когда будет готов акт отречения. Присутствовал главный начальник снабжения Савич, Данилова не было, он зашифровывал акт.

В тот же вечер Гучков и Шульгин выехали в Петербург, а бывший император — в Могилев; со станции Сиротино он послал следующую телеграмму: «Его императорскому величеству Михаилу. Петроград. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом. Возвращаюсь в Ставку и оттуда через несколько дней надеюсь приехать в Царское Село. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей родине. *Ника*».

В пятницу, 3 марта, утром, генерал Иванов получил телеграммы от Родзянко и Гучкова. Родзянко телеграфировал: «№ 185. Генерал-адъютант Алексеев телеграммой от сего числа № 1892 уведомляет назначении главнокомандующим войсками Петроградского округа генерал-лейтенанта Корнилова. Просит передать вашему высокопревосходительству приказание о возвращении вашем в Могилев».

Гучков телеграфировал: «Тороплюсь Петроград, очень сожалею, не могу заехать. Свидание окончилось благополучно».

Проверив переданное Родзянкой распоряжение Алексеева по телеграфу, Иванов решил вернуться в Ставку. Долго не могли достать второго паровоза и ожидали, что по дороге «устроят бенефис». Наконец выехали и благополучно доехали до станции Дно, где Иванов, в полночь с 3 на 4 марта, узнал от коменданта станции, что Шульгин объявил 3-го манифест, что царь отрекся в пользу наследника, и регентом будет великий князь Михаил Александрович.

4 марта Иванов подтвердил телеграммой коменданту станции Дно свое приказание отправить вслед за ним в Могилев задержанную в Дне искровую станцию. 5-го в 9 часов утра, по приезде в Псков, Иванов получил известия от 3 марта о действиях Исполнительного комитета Государственной думы. Между Новосокольниками и Витебском Иванов встретился с Корниловым. В Орше, из приложения к Витебской газете, Иванов узнал об отказе Михаила Александровича. Часа в 3—4 дня 5 марта Иванов приехал в Ставку, где получил печатный приказ об отречении царя и Михаила Александровича и узнал, что «царь назначил князя Львова». Иванов, который во все время путешествия ни разу не сообщал батальону никаких сведений о положении, что возбуждало неудовольствие среди солдат, «наставлял солдат служить верно и честно новому Правительству, благодарил их за службу и, прощаясь, обнял и поцеловал в каждой роте одного солдата за всю роту».

Бывший император 4 марта виделся в Могилеве со своею матерью. В этот день, после разговора с Алексеевым, он удалил от себя Воейкова, а на следующий день просил уехать и Фредерикса.

6 марта в 14 часов 31 минута пополудни в Царское Село была передана следующая телеграмма командира одного из конных корпусов со служебной отметкой: «Для разрешения дальнейшей передачи предъявить начальнику конторы».

«Царское Село, Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу.

С чувством удовлетворения узнали мы, что Вашему величеству благоугодно было переменить образ управления нашим отечеством и дать России ответственное

министерство, чем сняли с себя тяжелый, непосильный для самого сильного человека труд. С великой радостью узнали мы о возвращении к нам по приказу Вашего императорского величества нашего старого Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, но с тяжелым чувством ужаса и отчаяния выслушали чины конного корпуса Манифест Вашего величества об отречении от Всероссийского престола и с негодованием и презрением отнеслись все чины корпуса к тем изменникам из войск, забывшим свой долг перед Царем, забывшим присягу, данную Богу, и присоединившимся к бунтовщикам. По приказанию и завету Вашего императорского величества конный корпус, бывший всегда с начала войны в первой линии и сражавшийся в продолжение двух с половиною лет с полным самоотвержением, будет вновь также стоять за родину и будет впредь также биться с внешним врагом до последней капли своей крови и до полной победы над ним. Но, Ваше величество, простите нас, если мы прибегаем с горячей мольбой к нашему Богом данному нам Царю, не покидайте нас, Ваше величество, не отнимайте у нас законного наследника престола русского. Только с Вами во главе возможно то единение русского народа, о котором Ваше величество изволите писать в манифесте. Только со своим Богом данным Царем Россия может быть велика, сильна и крепка и достигнуть мира, благоденствия и счастья».

8 марта бывший император выехал из Ставки и был заключен в царскосельском Александровском дворце.

Август 1917 — 3 апреля 1918

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ

1. СООБРАЖЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ СТЕНОГРАФИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ

〈ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ〉

Чрезвычайные обстоятельства вызвали к жизни необычные формы допроса членов бывшего русского правительства. Несмотря на то, что Комиссия стоит на правовой почве, постоянно подчеркивая свою строго юридическую точку зрения, как бы отстраняя подробности, могущие понизить уровень допроса, — материал, добываемый путем допросов, оказывается неожиданно ярким с точки зрения бытовой, психологической, литературной, даже — с точки зрения языка. Можно сказать даже, что в иных допросах целиком, в других — частями этот материал явно преобладает над юридическим; кажется, ни в одной стране допрос представителей высшей власти не дал бы картины столь блестящей в чисто литературном отношении; только старое русское правительство могло, за немногими исключениями, отличаться такой бедностью аргументации, такой уязвимостью со стороны формальной, такой слабостью воли, такой нерасчлененностью суждений, свидетельствующей иногда — о низком уровне культуры, а иногда — о зачатках какой-то другой культуры, не развившейся и зачахнувшей. Эта умственная бедность восполняется зато богатством бытовых подробностей; на месте волевого упора стоят свойства души, которая кажется иногда *непронутой*, несмотря на всю свою «испорченность».

Если мы видим, что бывший председатель совета министров¹ ссылается на свою «подневольность» в вопросах права, что старые полицейские чиновники могут быть приведены, путем логики и умеренного воздействия на волю, к простому покаянью, что у большинства нет признака убежденности в правоте идей и действий, которые они исповедовали и предпринимали три месяца тому назад, — то нельзя забывать, что это было *русское* правительство; если оно и не опиралось на общество, то по крайней мере поддерживалось им, кормилось от него; свойства, проявляемые этими людьми, жили и до сих пор живут в народе; той же психологией обладают многие слои нации; те же качества проникают в толщу народа гораздо глубже, чем может представляться отвлеченному взгляду. Любя Россию, можно

различно относиться к этим свойствам: можно, негодуя, любить; можно, презирая, прощать. Но прежде всего необходимо *показать* эти свойства во всей их неукрашенности, осветить их носителей ярким светом перед народом.

Мне кажется, такой яркий свет проливает на них стенографическая запись их собственных слов, ничем не украшенная; может быть, она может оказаться доступнее и, значит, убедительнее, чем многие страницы Толстого и Достоевского.

Опираясь на сказанное, я позволяю себе думать, что, ввиду необычности положения, Комиссия могла бы, кроме полного издания своих трудов, предпринять издание стенографических отчетов, предназначенное для широкой публики. Такое издание не должно спускаться к массам, но оно должно обладать свойствами, способными поднять массы до себя; для этого требуется внутренняя и внешняя компактность, устранение подробностей, разбивающих внимание, а может быть, и некоторые уступки профессиональной тонкости, юридической отчетливости. Такое издание, давая верную картину деятельности и падения старой власти, разрушило бы многие сложившиеся вокруг нее легенды, установило бы более простое к ней отношение, показав ее, так сказать, лицом к лицу, вплотную; оно могло бы, может быть, иметь значение для суда присяжных или для оценки этого суда в будущем.

План издания, разумеется, должен быть подробно обсужден Комиссией, если она считает издание принципиально возможным; я думал бы, что стенографические отчеты надо издать в сокращенном виде: во-первых — по внешней причине — их обширности; во-вторых — потому, что есть вопросы, на которых Комиссия по специальным причинам останавливалась подробно; следовательно, они представлены в несоответствующем с другими масштабе; иными словами, внимание рядового читателя следовало бы останавливать на том материале, где юридический интерес не представляется преобладающим. Я разумею (из известных мне материалов) некоторые подробности дел провокаторских — Шорниковой, Малиновского; дело Бейлиса. — В-третьих, отчет требует сокращения в смысле «цензурном»: пока я имею в виду одно только место разъяснений Н. С. Чхеидзе, когда он упомянул имя Родзянко в связи с делом Малиновского;² может быть, страх недопустим, но лично мне это место показалось очень опасным, так как все не вполне проверенное легко может представиться в глазах посторонних — доказанным.

Все сокращения, какими бы причинами они ни вызывались, должны быть тщательно взвешены, ибо книга не должна носить на себе печать дешевой популярности, приспособления, но должна стоять на уровне, проверенном и санкционированном Комиссией.

Издание отчетов, которое скажет читателю больше, чем тома от-

влеченных рассуждений, может быть снабжено сжатым, обобщающим предисловием и деловыми примечаниями.

Предисловием мог бы служить очерк русской власти последних лет и условий, приведших к ее падению. Мне кажется, что для такого очерка можно было бы найти не чересчур громоздкую форму, именно ввиду бедности идей, ограниченности кругозора, робости (или, напротив, слишком элементарной смелости) и немногочисленности предполагавшихся реформ.

Примечания желательно не загромождать специальными ссылками. Здесь должны быть даны сухие сведения, вроде исторических справок, дат, «послужных списков», иногда — комбинаций взаимных отношений. Может быть приложена хронологическая канва главнейших этапов деятельности бывшего правительства за последние годы. Исходным пунктом можно считать 9 января 1905 года или, если материал окажется необозримым, 20 июля 1914 года.³ Желательно, чтобы все издание уместилось в одном, хотя бы и большом, томе.

Использовать следует, насколько представится нужным, такое и тот материал, который не входит в стенограммы: допросы следователей, переписка, записки членов бывшего правительства и т. д.

Необходимо вообще дать характеристику власти: 1) в ее целом, включая и безответственную власть со всеми влиявшими на нее силами; 2) на основании документов неизвестных и 3) руководствуясь исключительно данными неоспоримыми, что способствовало бы лучшему пониманию происшедшего, могло бы опрокинуть как идеальные, так и чудовищные представления, прочно укоренившиеся в обществе.

1 июня 1917 года

2. (ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ)

(1. А. Д. ПРОТОПОПОВ)

Протопопов — фигурка оригинальная, стоящая совершенно одиноко среди остальных представителей власти. Все они инстинктивно (скорее — по традиции бюрократической) знали, что власть требует самоотречения, и каждый из них более или менее грубо и неумело все-таки носил маску «объективности», ходил в броне долголетнего трудового, или — просто чиновничьего, опыта; эта броня многим из окружающих казалась прочной. Протопопов был среди них *parvenu*,* он даже не пытался забронироваться и скрыть свою личность. Он принес к самому подножию трона всего себя, всю свою юркость, весь ис-

* Выскочка (фр.). — Ред.

терический клубок своих мыслей и чувств. Недаром есть намеки на то, что он готовился заменить Распутина. На него тоже *«накатывало»*. Этот зоркий в мелочах, близорукий в общем, талантливый, но не-устроенный *вольнo-любивый раб* был действительно «роковым» человеком в том смысле, что судьба бросила его в последнюю минуту, как мячик, под ноги истуканам самодержавия и бюрократии. И этот беспорядочно отскакивающий мячик, ошеломив всех, обнаружил комическую кукольность окружающего, способствовал падению власти, очень ускорил его. Распутин швырнул Протопопова, как мяч, под ноги растерянным истуканам.

⟨2. А. А. ВYРУБОВА⟩

В показаниях Вырубовой нет ни одного слова правды, хотя она сама даже, перед собой, убеждена, что она сказала много правды, что она лгала только там, где нельзя узнать (Распутина нет на свете), или там, где это может быть нужно для ее любимого знакомого семейства.¹ Как ужасно самое существование таких женщин: они столь же отвратительны, сколь очаровательны; но, переведя это на язык будущего, на честный язык демократии, опоясанной бурей, надо сказать: как же очаровательность может соединяться с отвратительностью? Вырубова была только отвратительна.

⟨3. В. Н. ВОЕЙКОВ⟩

Генерал-майор Воейков убог умом и безличен, как и его язык, приправленный иногда лишь хвастливыми и пошловатыми гвардейскими словечками. Он так ничтожен, что совсем не способен возвыситься до понимания того, о чем его спрашивают и что интересует спрашивающих. Он может сообщить ряд анекдотов и фактов, интересных в бытовом отношении, но обобщить что бы то ни было не способен. Спортивный генерал.

При всем том допрос его представляет исключительный интерес. Сам того не понимая, он рассыпает перлы, которые через 100—150 лет (а может быть, и раньше) будут драгоценны для исследователя.

1917

* Рядом с этой фразой на полях рукописи помета Блока: «Когда я это писал, еще была революция». — Ред.

〈ОТВЕТ НА АНКЕТУ О НЕКРАСОВЕ〉

1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова? *Да.*
2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими? *«Еду ли ночью по улице темной». «Умолкни, Муза». «Рыцарь на час». И многие другие. «Внимая ужасам».*
3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова? *Не занимался ей. Люблю.*
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова? *Нет.*
5. Как относились Вы к Некрасову в детстве? *Очень большую роль он играл.*
6. Как относились Вы к Некрасову в юности? *Безразличнее, чем в детстве и «старости».*
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество? *Кажется, да.*
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, что в стихах Некрасова «поэзия и не ночевала»?¹ *Тургенев относился к стихам, как иногда относились старые тетушки. А сам, однако, сочинил «Утро туманное».*

9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?

Оно было неподдельное и настоящее, т. е. двойственное (любовь — вражда). Эпоха заставляла иногда быть сентиментальнее, чем был Некрасов на самом деле.

10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?

Он был страстный человек и «барин», этим все и сказано.

27 июня 1919 г.

Ал. Блок

ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания к разделам «Лирическая проза» и «Последние дни императорской власти» составлены И. В. Исакович. Примечания к разделам «Автобиография» и «Из дневников и записных книжек» принадлежат В. Н. Орлову (см.: Александр Блок. Собрание сочинений в 8-ми т., т. 7. М. — Л., «Художественная литература», 1963, и Александр Блок. Записные книжки. М., «Художественная литература», 1965). Для настоящего издания они просмотрены и дополнены И. В. Исакович.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

БВС — Александр Блок в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1980.

ЗК — Александр Блок. Записные книжки. 1901 — 1920. М., «Художественная литература», 1965.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.

ЛН — Литературное наследство, т. 92, в 4-х книгах. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980 — 1983.

«Переписка» — Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Ред. В. Н. Орлова. М., 1940 (Летописи Государственного литературного музея, кн. 7).

«Письма к родным», 1 — Письма Александра Блока к родным. Ред. М. А. Бекетовой. Л., «Academia», 1927.

«Письма к родным», 2 — Письма Александра Блока к родным. Ред. М. А. Бекетовой. М. — Л., «Academia», 1932.

СС — Александр Блок. Собрание сочинений в 8-ми т. М. — Л., «Художественная литература», 1960 — 1963.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва) (фонд А. А. Блока).

ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ДЕВУШКА РОЗОВОЙ КАЛИТКИ И МУРАВЬИНЫЙ ЦАРЬ

Впервые — «Золотое руно», 1907, № 2. Первоначальный набросок статьи (1903) под заглавием «Девушка розовой двери (Из Германии)» — ЗК, с. 48. См. также письмо к Л. Д. Менделеевой от 24 июня 1903 г. (СС, т. 8, с. 58).

1. Из Евангелия от Матфея, V, 13. Слова Иисуса, обращенные к ученикам.

2. Речь идет о г. Фридберге (возле Бад Наугейма). Далее описываются старинный герцогский замок и парк во Фридберге.

3. Имеются в виду скульптурные изображения фантастических чудовищ на Notre Dame — Соборе Парижской богородицы.

4. Елена — героиня древнегреческого эпоса, жена спартанского царя Менелая, славившаяся необыкновенной красотой. Похищение Елены троянским царевичем Парисом вызвало Троянскую войну.

5. Из песни Франца («Жил на свете рыцарь бедный...») в пьесе Пушкина «Сцены из рыцарских времен».

6. Русское собрание — черносотенная организация монархистов, созданная в 1901 г. для борьбы с русским освободительным движением; действовала особенно активно в годы реакции, после поражения революции 1905 г. Блок без достаточных оснований связывает творчество А. К. Толстого с идеологией этой организации.

7. См. статью Блока «Поэзия заговоров и заклинаний» (СС, т. 5, с. 41—42).

8. Имеется в виду широко разработанное в литературе средневековья и нового времени кельтское сказание о любви Тристана к жене корнуоллского короля Изольде. В 1919 г. Блок собирался написать драматическое произведение о Тристане для серии «Исторических картин» (см.: СС, т. 4, с. 545—547).

9. Источник цитаты не установлен.

10. Имеется в виду «Легенда о прекрасном Пекопене и о прекрасной Больдур» В. Гюго. См. позднейшее предисловие Блока (1918) к изданию легенды (Пб., «Алконост», 1919) в переводе матери поэта (СС, т. 6, с. 455).

11. Ср. заключительную строфу в стих. Блока «Так окрыленно, так напевно...» (октябрь 1906).

12. К моменту напечатания «Девушки розовой калитки» стих. Г. Чулкова «Гагара» еще не было опубликовано. В письме к Чулкову от 11 ноября 1906 г. Блок просил у него разрешения процитировать в своей статье «стих. с гагарой на шесте» («Письма Александра Бло-

ка». Л., 1925, с. 136). О полемической выходке в печати А. Белого по поводу упомянутого в статье Блока «светловзора» и ответном письме к нему Блока от 6 августа 1907 г. см.: СС, т. 6, с. 719–720, примеч. 9.

СКАЗКА О ТОЙ, КОТОРАЯ НЕ ПОЙМЕТ ЕЕ

Впервые – «Луч», 1907, № 1 (октябрь). «Сказка» навеяна образом Н. Н. Волоховой.

МОЛНИИ ИСКУССТВА

При жизни Блока из этой незавершенной книги были напечатаны всего два очерка – «Маски на улице» и «Призрак Рима и Монте Луса». Весь цикл статей впервые – А. Блок. Собр. соч., т. 7. Берлин, 1923. Подзаголовок в настоящем издании взят из составленного Блоком «Списка моих работ» (ИРЛИ). На обороте рукописи «Предисловия» – набросок предположительного плана задуманной книги, озаглавленный «Список итальянских тем». В отступление от этого списка очерк «Wirballen», стоящий там на предпоследнем месте, переставлен по смыслу в конец цикла. На отдельном листке в папке с рукописью «Молнии искусства» (ИРЛИ) написаны стихи Лермонтова:

Тяжелый, низкий потолок
Расписывал, как знал, как мог,
Усердный инок... Жалкий труд,
Отнявший множество минут
У Бога, дум святых и дел:
Искусства горестный удел!..

Лерм. Боярин Орша

На том же листке внизу: «Гоголь „Портрет“». По-видимому, в этой записи отразились размышления Блока об эпиграфе, подходящем к будущей книге. Заглавие цикла заимствовано из стих. Бальмонта «Просвет» («Альманах Гриф». М., 1904). Впечатления от путешествия в Италию (апрель – июнь 1909), составляющие содержание «Молнии искусства», нашли также отражение в записях этого периода в ЗК (частично приведенных в наст. томе), «Итальянских стихах» (т. 2 наст. изд.), письмах к матери из Италии и к В. Я. Брюсову от 2 октября 1909 г. (т. 6 наст. изд.).

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ⟩

Заглавие, отсутствующее у Блока, взято с оборота четвертой страницы рукописи. В текст включен набросок 1909 г. «В картинных

галереях» (заглавие на странице третьей в черновой рукописи зачеркнуто).

1. Общее заглавие обширной серии романов Бальзака.
2. Имеется в виду книга И. Шерра «Человеческая трагикомедия» (М., 1877).
3. См.: Д. Рескин. Искусство и действительность (избранные страницы). Изд. 2-е. М., 1900, с. 256.
4. Там же, с. 268.
5. Из письма Г. Флобера к Жорж Санд (сентябрь 1868).

МАСКИ НА УЛИЦЕ

Впервые — «Маски», 1913, № 4. Первоначальный вариант носил заглавие «Misericordia». На рукописи помета Блока: «Переписано и переделано для журнала «Маски» ок. Рожд. 1912».

1. *Баттистерий* — помещение для обряда крещения.
2. *Кашины* — парк во Флоренции.

НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Строки, исключенные Блоком из этого очерка, см.: СС, т. 5, с. 688 — 689. Заглавие статьи навеяно словами Фета «Свидетели немые» в стих. «Старые письма».

1. Имеется в виду возлюбленная Данте Беатриче (см.: «Божественная комедия», «Ад», песнь I).
2. *Сивиллы* — см. примеч. 164 в т. 2 наст. изд., с. 385.
3. Из стих. А. Белого «Отчаянье» (1908).
4. *Харон* (греч. миф.) — перевозчик, переправляющий за плату души умерших через реки подземного царства.
5. Правильное чтение приведенной Блоком надписи: «P. Volumnius, A. F. violens. Safatia patris», то есть: «Публий Волюмний, сын Авла, мощный, из рода Кафатиев» (см.: Corpus inscriptionum Latinarum. Vol. I. Berolini, 1863. N 1392).
6. *Медузы* (греч. миф.) — сестры-чудовища, демоны подземного мира. Изображения их голов с высунутыми языками, оскаленными зубами и волосами-змеями иногда помещались как талисман, ограждающий от опасности.
7. «*Августа Перузия*» — название, данное римским императором Августом Перузии (древнее название Перуджини) после отстройки города, разрушенного во время Перузийской войны (I в. до н. э.).

8. *Лукомон* (правильно: лукумон) — звание этрусских правителей общин.

ВЕЧЕР В СИЕНЕ

1. *Гвельфы* — партия в средневековой Италии, выступавшая в поддержку светской власти папы. Ее противником была партия *гибеллинов*, сторонников императорской власти.

ВЗГЛЯД ЕГИПТЯНКИ

1. См. примеч. к стих. «Клеопатра» (т. 2 наст. изд., с. 382).

2. При мысе Акиум на западном берегу Греции в 31 г. до н. э. войска триумвира Антония, возлюбленного Клеопатры, были разгромлены Августом, после чего Антоний покончил с собой.

3. Неточные цитаты из стих. Пушкина «Калмычке».

ПРИЗРАК РИМА И MONTE LUCA

Впервые — «Записки мечтателей», 1921, № 2—3.

1. *Доминиканец* — член нищенствующего монашеского ордена доминиканцев (по имени основателя — испанского проповедника XIII в. Доминика).

〈WIRBALLEN〉

Заглавие взято из «Списка итальянских тем».

1. *Wirballen* — немецкое название пограничной станции Вержболово на Варшавской железной дороге.

2. Неточная цитата из пьесы Чехова «Три сестры» (слова подполковника Вершинина; д. III).

3. Из стих. Пушкина «Зимняя дорога».

ПАМЯТИ К. В. БРАВИЧА

Впервые — «Театр», 1912, 15 ноября.

1. Из стих. Пушкина «Ответ анониму».

ИСПОВЕДЬ ЯЗЫЧНИКА

Впервые — А. Блок. Собр. соч., т. 4. Берлин, 1923. Работая над «Исповедью», оставшейся незавершенной, Блок колебался в определении ее жанра: «Продолж. «Моя (?) исповедь». Рассказ? Предисловие к чему-то?» (запись от 14 апреля 1918 г. — ЗК, с. 400).

1. Имеются в виду 1880—1890-е годы, отмеченные в области народного образования крайне реакционным курсом министра народного просвещения И. Д. Делянова.

2. С начала 1870-х годов по распоряжению министра народного просвещения Д. А. Толстого в программах гимназий главное место было отведено изучению латинского и греческого языков.

3. *Лидийский Дионис*. Культ бога растительности, виноградарства и виноделия Диониса проник в Грецию из Лидии (древнего государства в Малой Азии). Описание Диониса в виде красивого изнеженного юноши содержится в трагедии Еврипида «Вакханки» (см.: Еврипид. Трагедии, т. 2. М., 1969, с. 437).

4. Ср. описание этого эпизода в набросках продолжения второй главы «Возмездия» (т. 2 наст. изд., с. 374—375).

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

Впервые — «Записки мечтателей», 1922, № 5. Написано по инициативе А. М. Горького для сборника воспоминаний «Книга о Леониде Андрееве» (изд-во З. И. Гржебина, Пб. — Берлин, 1922). Здесь статья появилась в несколько сокращенном виде. В архиве Блока хранится корректура статьи для «Записок мечтателей». Отзывы Блока о Л. Андрееве и его творчестве см. в статьях: «Сборник товарищества «Знание» за 1904 год», «О реалистах», «О драме» (СС, т. 5), «Безвременье», «О театре» (т. 4 наст. изд.), «Противоречия» (СС, т. 5); в письмах: к В. П. Веригиной от 27 февраля 1907 г., к матери — от 28 сентября 1907 г. и 16 ноября 1908 г. (СС, т. 8); в дневниковых записях 7 ноября 1911 г. (с. 150 наст. тома) и 7 ноября 1912 г. (СС, т. 7, с. 174).

1. В январе 1905 г. Блок писал С. М. Соловьеву: «Читая «Красный смех» Андреева, захотел пойти к нему и спросить, *когда* всех нас перережут» (СС, т. 8, с. 117).

2. Отзыв о рассказе «Вор» см. в рецензии Блока «Сборник товарищества «Знание» за 1904 год».

3. См. статью Блока «О драме» и статью А. Белого «Смерть или возрождение?» (о «Жизни Человека» Л. Андреева) в газете «Лите-

ратурно-художественная неделя», 1907, 17 сентября (перепечатана в сб. А. Белого «Арабески». М., 1911).

4. Из указанной выше статьи А. Белого. В более распространенном виде эту цитату Блок приводит в статье «О реалистах».

5. Анализ повести «Иуда Искарriot и другие» см. в статье «О реалистах».

6. Из письма от 3 апреля 1908 г. (см.: «Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева». М., 1930, с. 85–86).

7. В письме от 2 марта 1909 г. Л. Андреев приглашал Блока приехать к нему для обсуждения вопроса о постановке «Песни Судьбы» в Новом драматическом театре. Отвечая ему 4 марта 1909 г., Блок писал, что считает постановку пьесы на сцене преждевременной и намерен пока лишь печатать ее (см.: СС, т. 8). Последовавшее за отказом Блока письмо к нему Л. Андреева см. в сб. «Реквием», с. 86–87.

8. Стих. «Поздней осенью из гавани...». См. письмо Л. Андреева от 26 января 1911 г. (сб. «Реквием», с. 87) и ответное письмо Блока от 3 февраля 1911 г. (т. 6 наст. изд.).

9. См. письмо Л. Андреева от 6 октября 1916 г. (сб. «Реквием», с. 87–88) и ответное письмо Блока от 29 октября 1916 г. (т. 6 наст. изд.).

НИ СНЫ, НИ ЯВЬ

Впервые – «Записки мечтателей», 1921, № 4. На наборной рукописи, подготовленной матерью поэта, рукой Блока после даты «19 марта 1921» помечено: «(1907, 1909 и новое)».

АВТОБИОГРАФИЯ

Впервые – «Русская литература XIX века (1890–1910)», под ред. С. А. Венгерова, т. 2. М., 1915, под заглавием: «Автобиографическая справка». В основной части была написана в октябре 1909 г. и опубликована Ф. Ф. Фидлером в сб. «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей». М., 1911. В июне 1915 г. по просьбе С. А. Венгерова Блок значительно дополнил этот текст, исключив вместе с тем из него несколько абзацев (см.: СС, т. 7, с. 433–434). Дополнительные автобиографические материалы см.: СС, т. 7. Приложения, с. 429–436.

1. *Литературный фонд*, или Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым, был основан в 1859 г. в Петербурге по инициативе крупнейших писателей и ученых.

2. *Борелевские обеды*. Имеются в виду традиционные обеды, устраивавшиеся писателями в конце 1870-х годов в фешенебельном ресторане Бореля в Петербурге.

3. Произведения из сб. «Пестрые рассказы» (СПб., 1886).

4. Письмо от 1 февраля 1899 г. (А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. 18. М., 1949, с. 55).

5. Ошибка: повесть была напечатана под инициалами Е. А. в «Отечественных записках», 1881, № 4.

6. Из справки Мекленбургского архива от 23 июля 1930 г. (ИРЛИ) выясняется, что Йоганн-Фридрих Блок (в России – Иван Леонтьевич), родом из Демитца на Эльбе, был сыном фельдшера Людвиг Блока, женатого на Сусанне-Катерине Зиль (дочери булочника) и скончавшегося в Демитце в январе 1752 г. Таким образом, версия о враче царя Алексея Михайловича – легенда. Подробнее о родословной отца поэта см.: Вл. Орлов. Гамаюн. Л., 1978, с. 34–35; Н. Ильин, С. Небольсин. Предки Блока. Семейные предания и документы (Изв. ОЛЯ АН СССР, 1975, т. 34, № 5, с. 450–455); В. Енисерлов. Александр Блок. Штрихи судьбы. М., 1980, и в его же статье «Судьба отца» («Вопросы литературы», 1980, № 10, с. 233).

7. Имеется в виду программное стих. П. Верлена «Искусство поэзии».

8. Из стих. Полонского «Качка в бурю».

9. Об этой случайной встрече (в феврале 1900 г.) Блок упоминает в статье «Рыцарь-монах» (т. 4 наст. изд., с. 160); см. также письмо к Г. И. Чулкову от 23 июня 1905 г. (т. 6 наст. изд.).

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Дневник 1901–1902 гг. впервые – ЛН, т. 27–28. М., 1937 (публикация В. Н. Орлова). Дневники 1911–1913 и 1917–1921 гг. (с некоторыми сокращениями) впервые – «Дневник Ал. Блока. 1911–1913» и «Дневник Ал. Блока. 1917–1921», под ред. П. Н. Медведева. Изд-во писателей в Ленинграде, 1928. Выдержки из этой публикации печатались предварительно в журнале «Звезда» и ленинградских газетах. Записные книжки (в незначительных по объему извлечениях) впервые – «Записные книжки Ал. Блока», под ред. П. Н. Медведева. Л., «Прибой», 1930. Дополнительно отдельные записи – А. Блок. Сочинения, в 2-х томах. Под ред. Вл. Орлова. Т. 2. М., 1955.

Записи из дневников печ. по тексту СС, т. 7, из записных книжек – по изд. ЗК, с проверкой по рукописям. Источник каждой записи (дневник или записная книжка) указывается в тексте под датой.

Записи приводятся в общей хронологической последовательности. Даты, проставленные не самим Блоком, даются в угловых скобках, а установленные предположительно — сопровождаются вопросительным знаком.

Линейки в тексте отделяют друг от друга записи, сделанные под одной датой (как правило, они взяты из рукописи), а *звездочки* обозначают разделы записей, относящихся к разным датам, не поддающимся точному определению.

Купюры в тексте обозначаются многоточием в угловых скобках. Многоточие в угловых скобках поставлено также перед записью, если текст приводится не с начала фразы, и в конце, если опущено окончание предложения. В угловых скобках даны необходимые редакторские дополнения или (особо оговариваемое) предположительное прочтение тех или иных слов, неясных в рукописи. Многочисленные сокращения, недописанные слова и нераскрытые инициалы дополнены и раскрыты без каких-либо условных обозначений.

В квадратные скобки заключен текст, зачеркнутый Блоком. (Из зачеркнутого отобрано наиболее существенное.) Квадратные скобки, поставленные в рукописи, оговариваются в подстрочных примечаниях. В большинстве случаев в квадратные скобки в рукописи заключены варианты или незаконченные, черновые наброски развиваемой далее мысли.

Слова и фразы, подчеркнутые Блоком в рукописи, выделены *курсивом*; подчеркнутые дважды, трижды и более — **ПРОПИСНЫМ КУРСИВОМ**.

1901

1. Из стих. Вл. Соловьева «Памяти А. А. Фета».
2. Краткий план публикуемого ниже наброска статьи о русской поэзии.

1902

1. Эпиграф принадлежит Блоку.
2. Из стих. Фета «Чем тоске, и не знаю, помочь...».
3. Ср. в письме к отцу от 5 августа 1902 г.: «... все еще мне мечтается о крутом (не внезапном ли?) дорожном повороте, долженствующем вывести из «потемок» (хотя бы и «вселенских») на „свет божий“» (т. 6 наст. изд.).
4. Неточная цитата из письма Татьяны к Онегину (Пушкин. Евгений Онегин; гл. III, строфа XXXI).
5. См. стих. Фета «Ф. И. Тютчеву»:

...Пришли в письме мне твой портрет,
Что нарисован Аполлоном.

Этот портрет был приложен к Сочинениям Тютчева, изд. 1900 г..

6. Из стих. Блока «Смотри — я отступаю в тень...».

7. См. то же стих. Блока.

8. Из стих. Фета «Чем безнадежнее и строже...».

9. См. стих. Тютчева «Еще земли печален вид...».

10. Зимой 1901—1902 гг. Блок был увлечен лекциями проф. Ф. Ф. Зелинского по истории греческой литературы; в письме к отцу от 16 октября 1901 г. он охарактеризовал Зелинского как «истинно интеллигентного и художественного» человека, понимающего «всю суть классической древности» («Письма к родным», 1, с. 68).

11. Из Библии (Псалтирь, XIII, 1, и LII, 2).

12. Из неопубликованного стих. С. Соловьева (февраль 1901), переписанного им в тетрадь стихов Блока за 1901—1902 гг.:

Силы последние мрак собирает.

Тщетны они.

В дымном тумане уже возникают

Новые дни.

13. См. стих. Вл. Соловьева «В тумане утреннем неверными шагами...».

14. Источник образа — роман Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. I, кн. 3, гл. V). Ср. у Вл. Соловьева: «Всё, кружась, исчезает во мгле» (стих. «Бедный друг! Истомил тебя путь...»), у А. Белого: «Тут поскользнулся пьяный Мусатов и полетел вверх пятами, пародируя европейскую цивилизацию» («Симфония (2-я, драматическая)»). М., 1902, с. 198) и у Блока: «Но предо мной кружится мгла» (стих. «Смотри — я отступаю в тень...»).

15. Из поэмы Вл. Соловьева «Три свидания» (Вступление).

16. Имеется в виду заметка VII из литературно-философской работы В. Брюсова «Истины», напечатанной в 1-м вып. альм. «Северные цветы на 1901 год». В своем экземпляре альманаха Блок отметил у Брюсова эту и заметку IV (см. запись в дневнике 29 декабря 1901 г. — СС, т. 7, с. 19 и примеч. 2 — там же, с. 463).

17. Блок имеет в виду свои стихи 1900 — первой половины 1901 г., написанные до знакомства с поэзией Вл. Соловьева.

18. Из стих. Блока «Твой образ чудится невольно...».

19. Контаминация образов из двух стих. Блока: «Я вышел. Медленно сходили...» и «Ветер принес издалёка...».

20. Контаминация образов из двух стих. Блока: «Тихо вечерние тени...» и «Я понял смысл твоих стремлений...».

21. Четверостишие Блока.

22. Из стих. Полонского «Недавно ты из мрака вышел...».

23. Из стих. Вл. Гиппиуса («Северные цветы на 1901 год», с. 96).

24. Из стих. Полонского «Тень ангела прошла с величием царицы...».

25. Первая ссылка сделана, очевидно, на «Романсы без слов» Верлена в переводе В. Брюсова (М., 1894); здесь на с. 11 помещен перевод стих. «Вот видите: кой-что нам надобно прощать...». Вторая ссылка — на книгу Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (СПб., 1893).

26. См. стих. Пушкина «Возрождение».

27. Слова Вл. Соловьева в статье «Поэзия Я. П. Полонского» («Нива», 1896, №№ 2 и 6). Статья вошла в первое посмертное Собр. соч. Вл. Соловьева, т. 6 (СПб., Изд-во «Общественная польза», с. 619—642).

28. Из стих. Вл. Соловьева «Мы сошлись с тобой недаром...».

29. Апостол Петр, по преданию, был распят в Риме, при Нероне, вниз головой.

30. См. стих. Тютчева «Видение».

31. См. выше, примеч. 15.

32. Из трагедии А. Майкова «Два мира» (ч. 3).

33. Из стих. А. В. Гиппиуса «Как за волной волна — сливаясь, вновь рождаясь...», опубликованного лишь в 1915 г. за подписью «Александр Надеждин» в журнале «Любовь к трем апельсинам» (№ 1/3, с. 11), где Блок редактировал стихотворный отдел.

34. Ср. письмо Блока к З. Н. Гиппиус от 8 сентября 1902 г. (т. 6 наст. изд.).

35. *Две бездны* — мистифицированный термин Д. Мережковского.

36. Из стих. Н. Минского «Как сон, пройдут дела и помыслы людей...».

37. Из стих. Пушкина «Возрождение».

38. Из стих. Вл. Соловьева «L'onda dal mar' divisa».

39. См. стих. Вл. Соловьева «Хоть мы навек незримыми цепями...».

40. Из Евангелия от Матфея, VII, 27.

41. Из стих. А. К. Толстого «Слеза дрожит в твоем ревнивном взоре...».

42. Из стих. Тютчева, начинающегося этой строкой.

43. См. стих. Вл. Соловьева «Имману-Эль». *Иммануэль* (Емменунил) означает: «С нами бог» (кн. пророка Исаии, VII, 14, и Евангелие от Матфея, I, 23).

44. Неточная цитата из стих. Пушкина «Свободы сеятель пустынный...».

45. Из стих. Тютчева «Ночное небо так угрюмо...»; отсюда же и след. цитата.

46. Стихотворения Тютчева.

47. Из стих. Тютчева «Н. Ф. Щербине».

48. Из стих. Тютчева «К Н.» («Твой милый взор, невинной страсти полный...»).
49. Из панихидной молитвы.
50. Из стих. Вл. Соловьева «Неопалимая купина».
51. Оттуда же. *Купина* — см. т. 1 наст. изд., с. 478, примеч. 352.
52. Из стих. Вл. Соловьева «День прошел с суетой беспощадною...».
53. Из стих. Тютчева «День вечереет, ночь близка...».
54. Оттуда же.
55. «И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою...» (Евангелие от Матфея, XVI, 18).
56. См. выше, примеч. 13.
57. Из стих. Тютчева «Я помню время золотое...».
58. Из стих. Тютчева «По равнине вод лазурной...».
59. Из стих. Тютчева «В душном воздуха молчанье...».
60. Из стих. Тютчева «Люблю глаза твои, мой друг...».
61. Из стих. Брюсова «Осенний день был тускл и скуден...».
62. См. стих. Вл. Соловьева «А. А. Фету, 19 октября 1884 года».
63. Из стих. Вл. Соловьева «С Новым годом».
64. См. стих. Баратынского «На смерть Гёте».
65. См. выше, примеч. 47.
66. Из стих. Вл. Соловьева «В землю обетованную». *Харран*, *Ур* — упоминаемые в Библии области Передней Азии.
67. Из стих. Баратынского «Уверение».
68. Из этих стихов Блок в 1919 г. заимствовал заглавие сборника своей юношеской лирики «За гранью прошлых дней» (см. т. 1 наст. изд., с. 469).
69. См. то же стих. Фета.
70. Одно из основных понятий в философии и поэзии Вл. Соловьева, заимствованное из второй части «Фауста» Гете (перевод Фета, 1883; 2-е изд. — 1889; обе части — 1889, 1899 и 1901 гг.).
71. См. выше, примеч. 27.
72. *Астарта* — финикийское божество плодородия, богиня брака и любви; в греческой мифологии отождествлялась с *Афродитой*. На языке Вл. Соловьева Астарта и Афродита (Пандемос, Площадная) — олицетворение плотского, чувственного начала.
73. Из стих. Вл. Соловьева «А. А. Фету».
74. Имеются в виду заключительные слова Фета из «Объяснения второй части», приложенного им к переводу второй части «Фауста» Гете (СПб., 1899, с. XXIX; акт 5-й).
75. Заключительные стихи второй части «Фауста» («*Chorus mysticus*») в переводе Фета.
76. См. стих. Тютчева «*Silentium!*».
77. Из стих. Фета «Глубь небес опять ясна...».

78. Из стих. Фета «О, не зови! Страстей твоих так звонок...».

79. Оттуда же. Ср. стих. Блока «В день холодный, в день осенний...».

80. См. стих. Фета «Я пришел к тебе с приветом...».

81. Из стих. Фета «Узник».

82. См. стих. Полонского «В день пятидесятилетнего юбилея А. А. Фета».

83. *Геракл* — герой греческих мифов, получивший за свои подвиги бессмертие и взятый в жилище богов — на гору Олимп.

84. Из незавершенного стих. Блока «День вечерел. Знакомые туманы...», набросанного 26 декабря 1901 г. (см.: Александр Блок. Собр. соч. в 12-ти т., т. 4. Л., 1932, с. 244).

85. См. стих. Блока «Мы в храме с тобою — одни, смущены...» (СС, т. 1, с. 494). На этом набросок статьи обрывается. К неосуществленному продолжению относятся идущие вслед в дневнике заметки о стихах Полонского (см.: СС, т. 7, с. 37–38).

86. Драматические курсы М. М. Читау зимой 1901–1902 гг. посещала Л. Д. Менделеева.

87. Имеются в виду университетские занятия греческой и римской историей и филологией.

88. Неточная цитата из стих. Брюсова «Когда опускается шторм...».

89. Источник цитаты не установлен.

90. Из стих. Вл. Соловьева «Прощанье с морем».

91. Слова капитана Лебядкина из романа Достоевского «Бесы» (ч. I, гл. 4 и 5).

92. Неточная цитата из стих. Полонского «Вечерний звон» (первый вариант).

93. Намек на роман Г. Сенкевича «Без догмата», герой которого, не чувствуя «жизненных основ», кончает самоубийством.

94. Источник цитаты не установлен.

95. Автохарактеристика капитана Лебядкина в романе Достоевского «Бесы» (ч. I, гл. 4).

96. До этого личного знакомства З. Н. Гиппиус-Мережковская и Д. С. Мережковский знали о Блоке от О. М. Соловьевой и А. Белого (см.: М. Бекетова. Александр Блок. Изд. 2-е, Л., 1930, с. 72). В апреле 1902 г. Блок вступил в переписку с З. Гиппиус. 4 июня 1902 г. он сообщал отцу: «В современном мне миру я приобрел большой плюс в виде знакомства с Мережковскими, которые меня очень интересуют с точек зрения религии и эстетики» («Письма к родным», 1, с. 75).

97. Имеется в виду рукопись статьи А. Белого (Б. Н. Бугасва) по поводу книги Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». Следующие далее в дневнике выписки из статьи А. Белого и критические за-

мечания Блока см.: СС, т. 7, с. 42–43. См. там же, с. 469, примеч. 108.

98. Переписка Блока с А. Белым завязалась только в январе 1903 г., когда они почти одновременно написали друг другу (первое письмо Блока датировано 3 января 1903 г., письмо А. Белого – 4 января 1903 г.).

99. Из стих. Блока «Всё бесконечней, всё хрустальной...», написанного 21 августа 1901 г. (СС, т. 1, с. 476).

100. См. стих. Полонского «Вечерний звон».

101. Имеется в виду набросок статьи о новейшей русской поэзии (с. 80–95 наст. тома).

102. *Михаил Крамер* – герой одноименной драмы Г. Гауптмана (1900).

103. Источник цитаты не установлен.

104. См. статью «Ни сны, ни явь» (с. 61–64 наст. тома).

105. Вероятно, речь идет о книге Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский».

106. Ср. строки из письма к отцу от 5 августа 1902 г. (см. выше, примеч. 3).

107. См. выше, примеч. 86. Ср. стих. Блока: «Я долго ждал – ты вышла поздно...», «Высоко с темнотой сливается стена...», «Там – в улице стоял какой-то дом...».

108. М. М. Читау.

109. Из стих. Вл. Соловьева «Вижу очи твои изумрудные...».

110. Ср. стих. Блока «Мы преклонились у завета...», датированное: «18 января 1902. Исаакиевский собор».

111. Свидригайлов (персонаж из романа Достоевского «Преступление и наказание») встретился с Раскольниковым на б. Забалканском (ныне – Московском) пр., возле Сенной площади (см. ч. VI, гл. III).

112. Палата Мер и Весов (на б. Забалканском пр., в здании которой находилась казенная квартира Д. И. Менделеева).

113. Книжный магазин Глазунова.

114. 29 января 1902 г. Л. Д. Менделеева при случайной встрече с Блоком объявила ему, что решила «порвать отношения».

115. Парфюмерный магазин Р. Келера.

116. Здание Политехнического института в Сосновке (пригород Петербурга) было только что построено.

117. Очевидно, имеются в виду строки из стих. Брюсова «Звезда морей» (сб. «Tertia vigilia», 1900):

Но в миг, как свершались пути роковые
Судьбы моей,
В сияньи предстала мне Дева Мария,
Звезда морей.

118. Из стих. Брюсова «Возвращение» (сб. «Tertia vigilia»).

119. Возможно, имеется в виду следующее место из статьи В. Г. Белинского «О жизни и сочинениях Кольцова»: «Для верной оценки всякого поэта нужно время, и не раз случалось, что даже великие гении в области искусства были признаваемы только потомством. Теперь этого уже не бывает, потому что теперь пустому, но блестящему таланту легче попасть в гении, нежели гению не быть признанным; но и теперь это признание целою массою общества тоже требует времени и обходится не без борьбы. То же самое можно отнести ко всякому замечательному таланту, выходящему из-под уровня обыкновенности» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 9. М., 1955, с. 498). Более подробно о «таланте» и «гении» Белинский говорит в той же статье на с. 526 – 531.

1904

1. Сборник стихотворений Брюсова (М., 1903).

1906

1. Намек на заглавия стихотворных сборников Э. Верхарна: «Города-спруты» и «Призрачные деревни» (1895).

2. См. стих. Вяч. Иванова «Вызывание Вакха» (вошло в его сб. «Эрос». СПб., 1907).

3. Ср. в письме Блока к матери от 21 декабря 1906 г.: «Городецкий прислал «Ярь» (м. б., величайшая из современных книг) с милыми письмом и надписью» («Письма к родным», 1, с. 161). На книге (ИРЛИ) – дарственная надпись: «Александру Александровичу Блоку, навсегда любимому, Сергей Городецкий». Письмо Городецкого к Блоку от 19 декабря 1906 г. – в ЦГАЛИ.

4. «Страна» – на языке Блока: определенное душевное состояние или особая область понятий и представлений. По свидетельству М. А. Бекетовой, Блок заимствовал это выражение у А. Белого («Письма к родным», 2, с. 442). См. также письмо к П. П. Перцову от 31 января 1906 г. (т. 6 наст. изд.).

5. Рассказ А. Ремизова «Чертик» получил первую премию на объявленном в 1906 г. журналом «Золотое руно» конкурсе литературных и живописных произведений на тему «Дьявол». Блок входил в состав жюри конкурса и 2–4 декабря 1906 г. участвовал в присуждении премий (в Москве).

6. Из стих. Фета «Одним толчком согнать ладью живую...».

7. «Король на площади» и «Незнакомка».

8. После «Незнакомки» и «Ночной фиалки», с конца мая по конец декабря 1906 г., Блок написал около сорока стихотворений.

9. Впечатления от одной из предгенеральных репетиций «Балатанчика» в театре Коммиссаржевской Блок изложил в письме к В. Э. Мейерхольду от 22 декабря 1906 г. (т. 6 наст. изд.).

10. Проект этот был осуществлен через год в статье «О театре» (т. 4 наст. изд.).

11. Фрагменты чернового наброска пьесы, уничтоженного Блоком (см. помету в «Списке моих работ» — *ИРЛИ*).

12. *Ектисия* — раздел православного богослужения.

13. Из стих. Пушкина «Поэту».

1907

1. Намек на альманах «Цветник Ор» («Кошница первая». СПб., 1907), в котором приняли участие все виднейшие поэты-символисты.

2. См. стих. Брюсова «И ночи и дни примелькались...».

3. Имеется в виду «Вечная сказка» — драма С. Шишмашевского, шедшая в постановке Мейерхольда и в декорациях В. И. Денисова в театре Коммиссаржевской (в сезоне 1906–1907 гг.).

4. По поводу сб. Б. Зайцева «Рассказы» (СПб., 1906), оцененного в критике как явление «нового», «мистического» реализма. О произведениях Б. Зайцева Блок упоминает в статьях «О реалистах» и «Литературные итоги 1907 года» (СС, т. 5).

5. Ср. стих. Блока «Осенняя воля».

6. Н. Н. Волоховой.

7. Замысел этот не был осуществлен.

8. Записи от 1 августа (и далее — от 20 августа 1907 г.) связаны с полемикой вокруг теорий «мистического анархизма» и «соборности», выдвинутых Г. Чулковым и Вяч. Ивановым. Вопрос этот стоял в центре переписки Блока с А. Белым в августе 1907 г.

9. См. стих. Вл. Соловьева «В тумане утреннем неверными шагами...».

10. Та же оценка журнала повторена в письме Блока к Г. И. Чулкову от 26 августа 1907 г. (СС, т. 8).

11. См. письмо А. Белого от 10–11 августа 1907 г. («Переписка», с. 197).

12. С. Городецкий. На светлом пути. (Поэзия Ф. Сологуба с точки зрения мистического анархизма). — Альм. «Факелы», кн. 2. СПб., 1907.

13. Статья начинается словами: «Три имени исчерпывают значение для поэзий *вчерашнего* дня: Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов и Бальмонт».

14. А. А. Мейер был участником альб. «Факелы», издававшегося Г. И. Чулковым. В кн. второй альманаха за 1907 г. он поместил статью «Бакунин и Маркс».

15. Это письмо и примеч. к нему см.: *СС*, т. 5, с. 675–676; 789–790. Послав письмо в редакцию «Весов», Блок в тот же день сообщил его текст Г. Чулкову (см. письмо от 26 августа 1907 г. — *СС*, т. 8).

16. В статье «Социализм и анархизм».

17. С апреля 1907 по ноябрь 1908 г. Блок вел в журнале «Золотое руно» критическое обозрение текущей литературы. Здесь были помещены статьи: «О реалистах», «О лирике», «О драме», «Литературные итоги 1907 года», «О театре», «Письма о поэзии», «Вопросы, вопросы и вопросы».

18. О Скитальце Блок говорил в статье «О реалистах» (*СС*, т. 5, с. 110–111). Ср. отзыв о Скитальце в письме Блока к А. Белому от 15–17 августа 1907 г. (т. 6 наст. изд.).

19. Замысел этой статьи не был осуществлен.

1908

1. Эти слова Блок вспомнил в письме к М. Ф. Андреевой от 10 августа 1919 г.: «Однажды девица в кинематографе сделала кокетливое замечание: „Мужчины всегда дерутся“» (*СС*, т. 8, с. 525).

2. Имеется в виду Н. Н. Волохова (прообраз Фаины в драме «Песня Судьбы»).

3. См. статью «Памяти Врубеля» (т. 4 наст. изд.).

4. Лекция, прочитанная 18 марта 1908 г. в петербургском Театральном клубе (см. статью «О театре» — т. 4 наст. изд.).

5. Сборник статей (издан не был).

6. Вероятно, записано под впечатлением фельетона Мережковского «Асфодели и ромашка» («Речь», 1908, 23 марта), в котором Блок был грубо задет в связи с его выступлениями на темы народа и интеллигенции (в частности — в связи со статьей «О реалистах»).

7. Ср. со словами: «Все ползет, быстро гниют нити швов изнутри...» в дневниковой записи от 14 ноября 1911 г. (с. 152 наст. тома).

8. См. письмо к матери от 3 мая 1908 г. (*СС*, т. 8) и воспоминания В. А. Зоргенфрея (*БВС*, т. 2, с. 20).

9. Это письмо не выявлено. Ср. в письме к матери от 3 мая 1908 г.: «Это — первая моя вещь, в которой я нащупываю не шаткую и не только лирическую почву» (*СС*, т. 8, с. 240).

10. Ср. в указанном выше письме к матери: «...люблю ее (пьесу) больше всего, что написал» (там же).

11. Автор «Коробейников» – Н. А. Некрасов. Авторство анонимной песни «Солнце всходит и заходит...», известной с 1880-х гг., приписывалось А. М. Горькому, включившему ее в пьесу «На дне». См. об этих песнях в статье Блока «О лирике» (СС, т. 5, с. 132).

12. См. напечатанную не в газете «Слово», а в журнале «Золотое руно» статью «Солнце над Россией» (т. 4 наст. изд.).

13. Имеется в виду статья для предполагавшегося сборника или газеты писательского кружка «одиноких», организованного М. Либерзон. См. письмо Блока к Е. П. Иванову от 13 сентября 1908 г. (т. 6 наст. изд.).

14. Поздравление В. Ф. Комиссаржевской к ее именинам.

15. См. роман Тургенева «Дворянское гнездо», гл. XVIII.

16. Вероятно, имеется в виду статья Н. А. Добролюбова «О степени участия народности в развитии русской литературы».

17. То есть образ трудового народа в романе Л. Толстого «Воскресение». Французское выражение – цитата из романа (см.: «Воскресение», конец второй части).

18. Мистико-апокалиптическая идея «двух бездн» принадлежала Мережковскому. «Два пути добра» – центральный тезис религиозно-философских построений Н. Минского. «Две нити вместе свиты» – из стих. З. Гиппиус «Электричество».

19. См. стих. Брюсова «Неколебимой истине...».

20. Роман английского писателя Брэма Стокера. О впечатлении от этого романа см. письмо к Е. П. Иванову от 3 сентября 1908 г. (СС, т. 8).

21. Имеются в виду заметки Вяч. Иванова «Спорады»: 1. О гении, 2. О художнике, 3. О лирике (вошли в его сб. «По звездам». СПб., 1909).

22. См. роман Тургенева «Дворянское гнездо», гл. XXV.

23. Ср. концовку статьи «Судьба Аполлона Григорьева» (т. 4 наст. изд.).

24. Эта оборванная на полуслове запись, непосредственно примыкающая к черновику стих. «Я пригвожден к трактирной стойке...», представляет собой, очевидно, первоначальный набросок 5-й главки («Тройка») в статье «Вопросы, вопросы и вопросы» (СС, т. 5, с. 343), написанной в ноябре 1908 г. Те же мысли и образы развернуты позднее в статье «Дитя Гоголя» (т. 4 наст. изд.).

25. Вероятно, проект выступления в Религиозно-философском обществе. Развитие этой записи – в статьях: «Вопросы, вопросы и вопросы» (гл. 1 – «Обновление религиозно-философских собраний в Петербурге». – СС, т. 5) и «Народ и интеллигенция» (т. 4 наст. изд.). Ср. письмо к матери от 5–6 ноября 1908 г. (т. 6 наст. изд.).

26. Речь идет о статье «Народ и интеллигенция» (см. т. 4 наст.

изд.). О полемике вокруг доклада см.: СС, т. 5, с. 742–744. Письмо Е. Д. Кусковой среди бумаг Блока не обнаружено.

27. Повесть Л. Н. Толстого. Ср. в статье «Стихия и культура» (т. 4 наст. изд., с. 118).

28. В статье «О хихикающих» («Речь», 1908, № 313) К. Чуковский отнес Блока (в связи с его статьей «Ирония») к группе писателей, «которые на «хи-хи» строят все эффекты своих вещей». В дальнейшем отношение Блока к литературной деятельности К. И. Чуковского коренным образом изменилось; совместная работа в 1918–1921 гг. привела их к дружескому сближению.

29. «Стихия и культура».

1909

1. Источник цитаты не установлен.

2. Запись связана со статьей «Душа писателя», написанной в том же месяце (см. т. 4 наст. изд.).

3. Эта и последующие записи (датированные по новому стилю) сделаны во время заграничного путешествия Блока (Италия и Германия).

4. Митя – сын Л. Д. Блок, проживший всего восемь дней (2–10 февраля 1909 г.).

5. «Я давно уже читаю «Войну и мир»...», – писал Блок матери 19 июня (н. ст.) 1909 г. из Милана (т. 6 наст. изд.).

6. Ср. в указанном выше письме к матери.

7. Ср. об этом в указанном выше письме к матери.

8. А. Белый и С. Соловьев.

9. Ср. письмо к матери от 27 июня 1909 г. («Письма к родным», 1, с. 271).

10. См. в письме к матери от 27 июня 1909 г. («Письма к родным», 1, с. 269).

11. См.: Л. Н. Толстой. «Война и мир», т. III, ч. 3, гл. IX и XI.

12. Цитата из музыкальной драмы Р. Вагнера «Зигфрид» (д. III, слова Эрды).

13. Село в окрестностях Шахматова.

14. О Галле Плации см. в стих. Блока: «Равенна» и «Почит в мире Теодорих...»; об Изотте Малатесте Блок в 1919 г. предполагал написать пьесу (см.: СС, т. 4, с. 548).

15. Ср. в статье «Интеллигенция и Революция» (т. 4 наст. изд., с. 235).

16. Запись относится к черновым наброскам стих. «Всё это было, было, было...».

17. В развернутом виде основные положения этой записи Блок высказал в письме к Е. П. Иванову от 3 сентября 1909 г. (т. 6 наст. изд.).

18. 30 ноября Блок выехал в Варшаву к умирающему отцу.

19. Из стих. Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю...».

20. Имеется в виду Аллея роз — улица в Варшаве (упомянутая в начале третьей главы поэмы «Возмездие»).

21. Л. Д. Блок.

22. Имеются в виду книги: П. Гнедича — «Песни мухи» («Из записок моего соседа Сколопендрова»), т. 2. СПб., 1909, и А. Ремизова — «Рассказы». СПб., 1910. Эта заметка была развита в статью «Противоречия», написанную в январе 1910 г. (СС, т. 5).

1910

1. Девичья фамилия матери Л. Д. Блок, А. И. Менделеевой, — Попова.

2. В мае 1910 г. с тревогой ожидалось (в ночь с 18 на 19 мая) прохождение Кометы Галлея, грозившее будто бы страшной катастрофой. См. стих. Блока «Комета» и упоминание о «грозной комете» во вступлении к первой главе поэмы «Возмездие» (т. 2 наст. изд.).

1911

1. В Обществе ревнителей художественного слова (при редакции журнала «Аполлон»). Доклад Н. В. Недоброво был посвящен взаимосвязи ритма и метра в стихосложении.

2. Неточная цитата из поэмы Баратынского «Бал». В качестве примера строку «С очами темно-голубыми...» анализировал в своем докладе Н. В. Недоброво («Ритм, метр и их взаимоотношение». — «Труды и дни», 1912, № 2, с. 20).

3. Имеется в виду доклад Ю. Н. Верховского о подготовке издания сочинений Дельвига. См. об этом заседании и о выступлении на нем Блока: Вл. Орлов. Гамаюн. Л., 1978, с. 436.

4. См. драму Г. Ибсена «Кукольный дом», где героиня (Нора) бросает мужа и детей.

5. См. письмо А. Белого от конца мая 1911 г. («Переписка», с. 257). Речь шла о проекте издания журнала «Дневник поэтов» (Блок, Вяч. Иванов, А. Белый). См. об этом проекте также: Вл. Орлов. Гамаюн, с. 435—436.

6. «Антология». М., 1911.

7. Набросок послесловия к «Собранию стихотворений», выходящему в изд-ве «Мусагет» (не было написано).

8. См. стих. Блока «Седое утро».

9. Переписка Блока с Клюевым началась в ноябре 1907 г. и продолжалась до 1915 г. (письма Блока утрачены). Одно из писем Клюева, полученное около 12 сентября 1908 г., произвело на Блока сильнейшее впечатление и было им оценено как «документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах» (см. письмо к Е. П. Иванову от 13 сентября 1908 г. — т. 6 наст. изд.). Цитаты из этого клюевского письма Блок привел в статье «Стихия и культура» (т. 4 наст. изд., с. 122). Личное знакомство Блока с Клюевым состоялось осенью 1911 г. И в письмах и в личном общении Клюев с позиции «народного поэта» и носителя «народной религии» пытался принять по отношению к Блоку поучающе-обличительный тон, чему Блок на первых порах поддался (см. ниже дневниковые записи от 6 и 17 декабря 1911 г.).

10. Речь идет о замысле поэмы «Возмездие» (см. т. 2 наст. изд., примеч. 349 на с. 397; там же, с. 401 — к первой главе, ст. 666 и след.).

11. Речь идет о впечатлениях от редакционного собрания в журнале «Аполлон».

12. *Французский институт* — научно-исследовательский институт по изучению русской литературы, учрежденный в 1911 г. группой французских филологов в Петербурге в целях франко-русского культурного сближения.

13. Имеется в виду А. Ф. Кублицкий-Пиоттух, директор Лесного департамента («Горного» — описка Блока).

14. Стих. «Я верил, я думал...» (вошло в сб. «Чужое небо». СПб., 1912). В стихах Гумилева сердце становится не «куклой», а «фарфоровым колокольчиком».

15. Имеется в виду статья К. Чуковского «Мы и они» («Речь», 1911, 29 октября); в статье цитируются строки из стих. Блока «В голубой далекой спальне...» (без упоминания его имени).

16. Цитата из «Горя от ума» Грибоедова.

17. Речь идет о наследстве, полученном после смерти отца.

18. Под заглавием «Солнцев перстень» напечатана в сб. Вяч. Иванова «Cor ardens», ч. 2 (М., 1911).

19. Из стих. Тютчева «Два голоса».

20. Торговцы и приказчики с Хитровского, Апраксина и Сенного рынков составляли в Петербурге ядро черносотенных организаций.

21. Вопрос о «желтой опасности» («панмонголизме»), неотвратимом нашествии «варваров» с азиатского Востока на европейский Запад, активно обсуждался реакционной публицистикой конца XIX в. (в частности — Вл. Соловьевым). В контексте данной записи Блок рассматривает этот вопрос не столько в его историко-политическом аспекте, сколько в плане морального разложения «страшного мира»

буржуазной действительности. О переосмыслении Блоком теории «панмонголизма» см. в примеч. к стих. «Скифы» (т. 2 наст. изд., с. 394, № 340).

22. Имеется в виду Николай II.

23. *Желтая кровь, желтокровие*, просто *желтое* («желтое») — на языке Блока: все пошлое, низменное, сыто-благополучное, исключашее «борьбу и страсть», «огонь и тревогу».

24. Имеется в виду тихий уголок в самом центре Парижа, где в одном из домов помещалась польская библиотека и при ней — музей Мицкевича. Ср. письмо Блока к матери от 20 августа 1911 г. (т. 6 наст. изд.).

25. См. выписанное выше стих. Тютчева «Два голоса».

26. Далее в дневник вклеены три непосланных письма к Н. Н. Скворцовой.

27. См. стих. Блока «Своими горькими слезами...».

28. Ср. (здесь и дальше) стих. Блока «Унижение», законченное 6 декабря 1911 г.

29. Лекция о Пушкине из цикла «Пессимизм и религиозное сознание в русской литературе» (составила основу книги Вл. Гиппиуса «Пушкин и христианство». П., 1915). См. письмо к В. В. Гиппиусу от 30 октября 1915 г. (СС, т. 8).

30. Н. Н. Бекетов, умерший 30 ноября 1911 г.

31. «Возмездие».

32. «Два голоса».

33. Составная цитата (из Евангелия от Матфея, XXV, 13, и православного «Символа веры»).

34. См. выше, примеч. 9.

35. «Унижение».

36. «Сашка Жегулев».

37. «Петушок» (альб. «Шиповник», кн. 16. СПб., 1911).

38. Евангельское выражение (Евангелие от Матфея, XI, 30).

39. Д. И. Менделеев.

40. Незавершенный труд А. Л. Блока.

41. Источник цитаты не установлен.

1912

1. «Чего пожелать русским писателям в 1912 году». — «Речь», 1912, 1 января.

2. Из стих. XVIII, входящего в цикл «В картинной галерее», в переводе А. и П. Ганзен.

3. «Академией» в писательском кругу называлось Общество ревнителей художественного слова, учрежденное при редакции журна-

ла «Аполлон» (Блок входил в состав его Совета). *Цехи*. Имеется в виду «Цех поэтов», кружок поэтов-акмеистов. См. статью «Без божества, без вдохновенья» и примеч. к ней в т. 4 наст. изд.

4. См. стих. «Вячеславу Иванову».

5. Л. Д. Зиновьева-Аннибал, жена Вяч. Иванова.

6. Персонаж одноименной сказки Андерсена.

7. См. в стих. Блока «Голоса» («Снежная маска»): «Мы — в бездне звездной!..».

8. По поводу 2-го изд. «Стихов о Прекрасной Даме» и сб. «Ночные часы» («Русская мысль», 1912, № 1, отд. 2). Здесь Брюсов писал, что в последних своих стихах «прежний Блок, поэт ожиданий, видений», обратился к реальной жизни, «к заботам, радостям и печалям родной «горестной земли»... нашел новые силы для своей поэзии».

9. См. стих. Некрасова «Огородник».

10. В 1911 г. была напечатана первая автобиография Блока; в 1912 г. поэт начал писать новую автобиографическую статью, но не закончил ее (см. дневниковую запись 30 мая 1912 г. — СС, т. 7, с. 147). См. также примеч. к «Автобиографии» Блока (с. 373 наст. тома).

11. Имеются в виду иллюстрации в приложении к газете «Русское слово». — «Искра», 1912, № 5 (от 29 января).

12. Намек на журналы «Аполлон» и «Русский библиофил», ориентировавшиеся на эстетов и гурманов-книголюбов. См. об этом также в дневниковой записи 14 января 1918 г. (с. 236 наст. тома) и в статье «Памяти Леонида Андреева» (с. 55 наст. тома).

13. Часть первой главы «Возмездия».

14. См. примеч. Блока к стих. «Девушка из Spoleto» («Итальянские стихи»; т. 2 наст. изд., с. 361).

15. *Сергиевская* (ныне ул. Чайковского) считалась одной из самых «аристократических» улиц старого Петербурга.

16. Намек на М. Т. Блок, вторую жену А. Л. Блока, вращавшуюся в кругу монархистов и церковников.

17. Заключительная ремарка в трагедии Пушкина «Борис Годунов».

18. «Зеркало теней» (М., 1912). См. послание Блока «Валерию Брюсову».

19. Ответ Блока на анкету о самоубийстве в «Русском слове» не появился.

20. Памятник Петру I («Медный всадник»).

21. Ср. о службе в Исаакиевском соборе в письме к В. В. Розанову от 17 февраля 1909 г. (т. 6 наст. изд.).

22. Далее следует опущенный здесь черновой набросок письма к А. Белому; окончательный текст, датированный 16 апреля 1912 г., см. в т. 6 наст. изд.

23. Речь идет о «Товариществе актеров, художников, писателей и музыкантов», которое летом 1912 г. под руководством В. Э. Мейерхольда давало спектакли в Териоках (ныне Зеленогорск), курортном поселке на Карельском перешейке.

24. Отрывок из стих. Ин. Анненского «Дальние руки».

25. *Новая Голландия* — здание лесных складов, возведенное в XVIII в.

26. Улица в Петербурге, на которой жил Блок в 1907—1910 гг.

27. Из стих. Катулла «Аттис». См.: «Катилина» (т. 4 наст. изд., с. 286).

28. Монолог не был написан.

29. Театр пародии и гротеска.

30. См. сказочку Ф. Сологуба «Плененная смерть» («Книга сказок». М., 1905).

31. См. примеч. к пьесе «Роза и Крест» (т. 3 наст. изд., с. 430—433).

32. Об истории работы Блока над «Песней Судьбы» см. примеч. к пьесе (т. 3 наст. изд.).

1913

1. *Изида* — богиня плодородия в Древнем Египте; часто изображалась в короне с коровьими рогами и с солнечным диском между ними. Египетская мифология в эти годы стала модной в некоторых литературных салонах и мещанских околосредовых кругах.

2. «Русская молва», 1913, № 29, 9 января (И. Жилкин. Девятое января); № 30, 10 января («Годовщина» и «9-е января <1913 г.> в Петербурге»: две статьи, официальное сообщение о забастовках в этот день, хроника «На фабриках и заводах»).

3. В качестве приложения к журналу «Нива» на 1913 г. были объявлены собрания сочинений Тютчева, Л. Андреева, В. Вересаева и Мольера.

4. 12 февраля 1913 г. в зале театральной школы А. С. Суворина состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Вл. Соловьеву. В программе вечера: концерт, пьеса Вл. Соловьева «Белая лилия» и «танцы до трех часов ночи». Блок, объявленный участником концерта, на вечере не выступил.

5. Е. П. Иванов.

6. Из Евангелия от Луки, XIV, 24.

7. *Союзники* — члены черносотенного «Союза русского народа».

8. См.: «Возмездие», гл. 2, ст. 61—62, 54.

9. 23 и 24 марта 1913 г. футуристический «Союз молодежи» устроил в Троицком театре в Петербурге два публичных диспута — о

современной живописи и о новейшей поэзии. Главным оратором на первом диспуте был Д. Бурлюк, на втором — Маяковский, выступивший с докладом «Пришедший сам» (пародийная перефразировка заглавия книги Мережковского «Грядущий хам», 1906), в котором подверг резкой критике поэзию символистов, в частности — Блока.

10. Ср. в статье «Без божества, без вдохновения» (т. 4 наст. изд.).

11. Роман Бальзака.

12. См. о замысле этой пьесы: запись Блока от 28 июня 1916 г. (с. 206 наст. тома); В л. О р л о в. Неосуществленный замысел Александра Блока — драма «Нелепый человек» («Учен. записки Лен. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», т. 67. Л., 1948, с. 234—241). См. также примеч. 263 к стих. «Новая Америка» (т. 2 наст. изд., с. 391).

13. Книга Д. И. Менделеева (СПб., 1906). В экземпляре книги (в библиотеке Блока) имеются пометы, касающиеся страниц, где говорится о разработке естественных богатств и развитии производительных сил в России.

14. Ср. в трагедии Шекспира «Король Лир» (акт I, сц. 1) — отказ Корделии от наследства.

1914

1. См. статью «Пробуждение весны» (т. 4 наст. изд.).

2. Имеются в виду выставки художников-передвижников.

3. Манифест об объявлении войны Германии.

1915

1. Сергей Есенин. В бумагах Блока (*ЦГАЛИ*) сохранилась записка Есенина (без подписи): «Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять». На записке помета Блока: «Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет, стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык, приходил ко мне 9 марта 1915 года». Другую записку Есенина к Блоку, посланную, очевидно, в тот же день, см.: «Огонек», 1945, № 43. Рассказ Есенина о первом его посещении Блока см. в изложении Вс. Рождественского — «Страницы жизни». М., 1974, с. 252—255. Блок отобрал шесть стихотворений Есенина и направил его с рекомендательным письмом к журналисту М. П. Мурашову (СС, т. 8, с. 441).

2. Имеется в виду стихотворец А. Рославлев, высмеянный в статье К. Чуковского «Третий сорт» («Весы», 1908, № 1; вошла во 2-е и 3-е изд. сб.: К. Ч у к о в с к и й. От Чехова до наших дней. СПб., 1908).

3. Из стих. Фета «Псевдопоэту».

4. См. примеч. 17 к записи от 21 сентября 1908 г.

1. *Брютальность* – жестокость, грубость (от франц. *brutalité*).
2. См. аналогичную оценку в статье «Интеллигенция и Революция» (т. 4 наст. изд.).
3. Поэма «Грозюю дышащий июль» (1915). Отрывки из нее были напечатаны в сб. «Пряник осиротевшим детям». П., 1916; др. отрывки см.: В. Пяст. Встречи. М., 1929, с. 295–297
4. См. письмо к О. В. Гзовской от 26 мая 1916 г. (т. 6 наст. изд.).
5. «Возмездие».
6. Следующая запись, в которой Блок как бы подводит жизненные и литературные итоги, сделана в связи с ожидавшимся им со дня на день призывом в армию.
7. См. стих. Пушкина «Элегия» (1830).
8. «О современном состоянии русского символизма» (т. 4 наст. изд.).
9. «Возмездие».
10. «Нелепый человек». См. запись от 9 декабря 1913 г. и след., связанные с нею (с. 187–190 наст. тома).
11. Через отчима – гвардейского офицера.

1. Письмо не выявлено.
2. Д. Выгодский. У новой грани («Новая жизнь», 1917, 28 апреля). Отзыв о первой главе «Возмездия», опубликованной в январской книжке «Русской мысли».
3. См. выше черновик письма Блока к М. И. Терещенко.
4. См. примеч. к книге «Последние дни императорской власти» (с. 402 наст. тома).
5. Воззвание в защиту М. Бейлиса, подписанное многими деятелями культуры, было напечатано в ноябре 1911 г. в нескольких газетах. В октябре 1913 г. Блок написал заметку для печати по поводу оправдательного приговора Бейлису (не разыскана; рукопись не сохранилась).
6. Выборы в районные городские думы – первые выборы после свержения самодержавия, превратившиеся в своего рода пробу политических сил.
7. Здесь «Новая Жизнь» – как понятие («Vita Nuova»).
8. См. письмо к матери от 7 июня 1917 г. (СС, т. 8).
9. Далее речь идет об одном из заседаний Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов (3–24 июня 1917 г.). Подавляющее большинство делегатов съезда составляли эсеры и меньшевики. 16 июня Н. К. Муравьев докладывал съезду о работе Верховной следственной комиссии.

10. Имеется в виду 41-я лекция «Курса русской истории» В. О. Ключевского (М., 1918), посвященная событиям «Смутного времени». Ср. набросок Блока 1918 г. «Страница из дневника» (СС, т. 6, с. 448).

11. «Возмездие».

12. Ср. письма к матери от 19 июня 1917 г. и к Л. Д. Блок от 21 июня 1917 г. (т. 6 наст. изд.).

13. Слова Т. Карлейля в книге «Французская революция», неоднократно цитируемые Блоком (см. т. 4 наст. изд., с. 191 и 229).

14. Латинская поговорка; восходит к обращению римского сената к консулам в критические для государства моменты: «*Savcant consules...*» — «Стойте на страже, консулы...».

15. Прилегающая к Карповке (речке на Петроградской стороне) часть Большого пр., застроенная доходными домами в духе немецкого «модерна» начала века, напоминала Блоку «заграничный» город.

16. Окна квартиры в здании офицерского корпуса Гвардейских казарм, где Блок жил в молодости.

17. См. «Возмездие», гл. 3, ст. 135.

18. Из стих. Лермонтова «Воздушный корабль».

19. Блок имеет в виду явления, факты, слухи, которые в его представлении означали угасание революции.

20. Неточная цитата из стих. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...».

21. Неоконченная цитата из стих. Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...».

22. Источник цитаты не установлен.

23. Ср. необработанный стихотворный набросок Блока, относящийся к поэме «Возмездие» (весна 1915 г.), — СС, т. 3, с. 607.

24. Ср. в стих. «Обреченный» («Снежная маска»): «Тайно сердце просит гибели»; «Если сердце хочет гибели, Тайно просится на дно».

25. Вот как рассказывает об этом З. Гиппиус: «Савинков, ушедший из правительства после Корнилова, затевал антибольшевистскую газету. Ему удалось сплотить порядочную группу интеллигенции. Почти все видные писатели дали согласие. Приглашения многих были поручены мне. Если приглашение Блока замедлилось чуть-чуть, то как раз потому, что в Блоке-то уж мне и в голову не приходило сомневаться... Зову к нам, на первое собрание. Пауза. Потом: «Нет. Я, должно быть, не приду». — «Отчего? Вы заняты?» — «Нет. Я в такой газете не могу участвовать...» — «И вы... не хотите с нами... Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?» Все-таки и в эту минуту вопрос мне казался абсурдным. А вот что ответил на него Блок (который был очень правдив, никогда не лгал): „Да, если хотите, я скорее

с большевиками"» (З. Гиппиус. Живые лица, т. 1. Прага, 1925, с. 59–61).

26. Отражение слухов о подготовке большевиками вооруженного восстания, проникших в печать вследствие предательства Каменева и Зиновьева, которые 18 октября в меньшевистской газете «Новая жизнь» выдали решение ЦК о восстании. В тот же день на заседании Петроградского совета выступил и Троцкий, подтвердивший, что большевики готовы к восстанию.

1918

1. На 5 января было назначено открытие Учредительного собрания. Партия эсеров, получившая большинство на выборах в Собрание, призывала население Петрограда организовать демонстрацию в честь его созыва.

2. См. след. запись.

3. Судя по этой записи, Есенин читал Блоку в этот раз поэму «Июния», очевидно, только что написанную. Здесь встречаются стихи:

Тело, Христово тело
Выплываю из рта.

...Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом.

Ср. в «Преображении» (конец 1917 г.): «...Как яйцо, нам сбросит слово с проклевывавшимся птенцом». О Кольцове и Клюеве как старшем и «среднем» братьях – в стих. Есенина «О Русь, взмахни крылами...» (1917). Есенинский образ творчества («рыбы в воде», лед и месяц) был применен им в статье «Отчье слово» (по поводу романа А. Белого «Котик Летаев»), напечатанной 23 апреля 1918 г. в газете «Знамя труда» (см.: С. Есенин. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4. М., 1967, с. 210). См. также письмо Есенина к Иванову-Разумнику от января 1918 г. (там же, т. 5. М., 1968, с. 78).

4. Мысли, зафиксированные в этой записи, развиты в статье «Интеллигенция и Революция» (т. 4 наст. изд.).

5. *Тушинцами* Блок называл либералов – вслед за Ап. Григорьевым (см.: «Судьба Аполлона Григорьева» – т. 4 наст. изд., с. 217).

6. Из стих. А. Белого «Родине», напечатанного во втором сб. «Скифы» (январь 1918).

7. Из стих. Пушкина «Бесы».

8. Из диалога Платона «Большой Иппий» (слова Сократа).

9. План задуманной пьесы об Иисусе Христе.

10. Имеется в виду книга Э. Ренана «Vie de Jesus» («Жизнь Иисуса»).

11. См. примеч. к поэме (т. 2 наст. изд., с. 403).

12. Соглашение о перемирии с Германией было подписано 2 декабря 1917 г. Мирные переговоры начались в Брест-Литовске 9 декабря. Германская делегация выдвинула крайне тяжелые условия. Против подписания мира выступили «левые коммунисты» (Бухарин и др.) и Троцкий. Ввиду необходимости немедленной военной передышки Ленин настаивал на принятии германских условий. Чтобы предотвратить срыв мирных переговоров в результате авантюристической тактики Бухарина и Троцкого, В. И. Ленин добился в ЦК РКП(б) решения о всемерном затягивании переговоров.

13. Поэтическая интерпретация этих мыслей – в стих. «Скифы».

14. Д. Мережковский.

15. В Зимнем дворце собиралась созданная при Наркомпросе комиссия по изданию русских классиков, в состав которой входил Блок.

16. «Интеллигенция и Революция».

17. «Интеллигенция и Революция».

18. Пьесу об Иисусе. См. запись от 7 января 1918 г.

19. Статья была напечатана в газете «Знамя труда» 19 января 1918 г.

20. См.: «Фауст», ч. I, сц. «За городскими воротами» и «Кабинет <Фауста>» (перевод А. Фета. СПб., 1899).

21. Заголовок в вечерней газете «Новые ведомости» от 29 января 1918 г. 28 января 1918 г. советская делегация на мирных переговорах в Брест-Литовске от имени правительства Российской Советской Республики объявила, что, отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия считает состояние войны со странами четверного союза прекращенным.

22. 28 января (10 февраля) мирные переговоры были прерваны; 18 февраля (н. ст.) германские войска начали наступление на Советскую Россию.

23. Левые эсеры, входившие в Совнарком, не соглашались на подписание мирного договора с Германией.

24. Имеется в виду Ф. А. фон Шульман – дальний родственник Блока по отцовской линии (см.: СС, т. 7, с. 301).

25. 21 февраля было опубликовано написанное В. И. Лениным воззвание Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности!». В ответ на ленинский призыв рабочие Петрограда создали боевые дружины, ставшие ядром Красной Армии. 23 февраля немцы были остановлены на подступах к Петрограду – под Нарвой и Псковом.

26. «Поэтам революции»; подпись: «Поэт-пролетарий». Автор стих. – В. Т. Кириллов.

27. В протоколе заседания ЦК РСДРП(б) 23 февраля 1918 г. записано: «Товарищ Ленин считает, что политика революционной фразы окончена» (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 369). Ср. статью В. И. Ленина «О революционной фразе», напечатанную в «Правде» 21 февраля 1918 г. (Полн. собр. соч., т. 35, с. 343–353).

28. В ночь с 24 на 25 февраля В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором обсуждалось положение Советской Республики в связи с занятием немцами Пскова.

29. Ср. ответ на анкету («Что сейчас делать?..») (т. 4 наст. изд.).

30. См. незавершенный стих. «Русский бред».

31. Брестский мирный договор был подписан 3 марта 1918 г.

32. Вл. Гиппиус. Предчувствие. — «Мелос», 1918, кн. 2. В статье поставлен вопрос о роли «слова», «звука» в поэзии («Слух мудрее зрения»).

33. В статье «Красный призрак».

34. Речь идет о «восхвалении» Христа. См. предыдущую запись.

35. Вырезка из газеты «Петроградское эхо», вклеенная в записную книжку.

36. В письме от 17 марта 1918 г. А. Белый писал Блоку: «Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) — огромны и эпохальны, как «Куликово Поле»... По-моему, Ты слишком неосторожно берешь иные ноты. Помни — Тебе не *простят* *никогда*... Кое-чему из Твоих фельетонов в «Знамени труда» и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим... Будь мудр: соединяй с отвагой и осторожность» («Переписка», с. 335).

37. Блок водил Любовь Дмитриевну слушать эстрадного актера Савоярова, считая, что знакомство с его манерой исполнения поможет ей научиться читать «Двенадцать».

38. Описка Блока: стих. Катулла «Аттис». См. «Катилина» (т. 4 наст. изд., с. 285–287).

39. Названные поэты отказались от участия в литературном вечере кружка «Арзамас» из-за «Двенадцати». См. заметку «Тоска по „сретенью“» в эсеровской газете «Дело народа» (1918, 10 мая).

40. Было написано после получения от З. Гиппиус ее антисоветской книжки «Последние стихи» (П., 1918) с надписью в стихах. Книжка утрачена, но известно, что надписано на ней было обращенное к Блоку стих. «Всё это было, кажется, в последний...» (вошло в сб. З. Гиппиус «Дневник». Берлин, 1922). На черновике письма — помета Блока: «31 мая, получив книжку Гиппиус, я собирался ей ответить. Но решил — в стихах!» См. стих. «З. Гиппиус» и примеч. к нему в т. 2 наст. изд.

41. В стихах З. Гиппиус, обращенных к Блоку, есть строки:

Я не прошу. Душа твоя невинна.
Я не прошу ей — никогда.

42. Из стих. Блока «Рожденные в года глухие...», посвященного З. Гиппиус.

43. Ср. ответ на анкету <«Что сейчас делать?..»> (т. 4 наст. изд.).

44. См. набросок предисловия к сб. «Стихи о Прекрасной Даме», датированный 28 (15) августа 1918 г. (т. 1 наст. изд., с. 468), и Приложения, примеч. III (там же, с. 490).

45. На Марсовом поле, у могил — мемориала «Борцам революции».

46. Перед первым представлением «Мистерии-буфф» А. В. Луначарский произнес вступительное слово. Маяковский исполнял в спектакле роль «Человека просто».

47. Набросок отклика-ответа на стих. Маяковского «Радоваться рано», напечатанное в газете «Искусство коммуны», 1918, № 2, 15 декабря. Здесь Маяковский, занимая в ту пору ошибочную «нигилистическую» позицию по вопросу о значении художественного наследия прошлого для социалистической культуры, призывал к «разрушению» дворцов и другого «старья», охраняемого «именем искусства», и уничижительно отзывался о Пушкине и «прочих генералах-классиках». Стих. «Радоваться рано» вызвало также полемический отклик А. В. Луначарского («Ложка противоядия». — «Искусство коммуны», 1918, № 4), на что Маяковский, в свою очередь, отозвался стих. «Той стороне». Блок, очевидно, хотел развить свой набросок в целую статью для неосуществленного издания «Энциклопедия искусств» (см.: ЗК, запись 30 декабря 1918 г.).

48. Цитата из Библии (Книга Екклесиаста, III, 1).

1919

1. Не установлено, что именно говорил А. М. Горький в данном случае, но известен его отзыв о «Двенадцати», относящийся к 1920 или 1921 г. Он содержится в наброске статьи (или письма), где речь идет об издательстве «Всемирная литература». Говоря о романтизме и характеризуя романтическую литературу как «верующую в завтрашний день», сквозящую «сиянием будущего», Горький писал: «Современный литератор должен быть романтиком и писать примерно так, как написана поэма Блока «Двенадцать», произведение, которое не позволяет рассматривать себя с точки зрения хулы или хвалы действительности». Эти слова Горького были сообщены В. Н. Орлову 7 апреля 1938 г. ныне покойным С. Д. Балухатым, который обнаружил указанный набросок в горьковских бумагах (в печати до сих пор не появлялся).

2. Тогдашний руководитель петроградского Госиздата И. Ионов чинил препятствия изданию книг Блока в издательстве «Алконост».

3. Очевидно, для журнала «Записки мечтателей», предпринятого «Алконостом».

4. «Вольная философская академия» была задумана в конце 1918 г. группой философов-идеалистов и литераторов-публицистов левозеро-вского толка в противовес основанной в Москве в 1918 г. Социалистической академии, ставшей центром марксистской мысли. Утвержденная под названием «Вольная философская ассоциация» (Вольфила), новая «академия» начала свою деятельность в Петрограде в ноябре 1919 г. В ее уставе указывалось, что она учреждается с целью «исследования и разработки в духе социализма и философии вопросов культурного творчества, а также с целью распространения в широких народных массах социалистического и философски углубленного отношения к этим вопросам». На деле Вольфила оказалась пристанищем людей, для которых пропаганда идеалистической философии служила формой борьбы с пролетарской революцией и марксизмом. Блок был в числе членов-учредителей Вольфилы. 16 января 1919 г. он внес в дневник обширную выписку из «Проекта положения о Вольной философской академии» (здесь она опущена). Открытые заседания Вольфилы начались 16 ноября 1919 г. докладом Блока «Крушение гуманизма». Но прочих связей с Вольфилой у Блока не установилось. В мае 1924 г. Вольфила прекратила свою деятельность.

5. Крестьянин из деревни Гудино (вблизи Шахматова).

6. Имеется в виду случайная встреча в трамвае 3 октября 1918 г. (см.: ЗК, с. 430, и там же, с. 587, примеч. 179).

7. М. Левилов. Переступившим черту («Правда», 1919, 18 января).

8. По инициативе Ллойд-Джорджа и Вильсона Советская Россия и белогвардейские «правительства» были приглашены на Принцесы острова. Конференция не состоялась.

9. Под «Америкой» («американизмом») Блок понимал подход к делу, требующий «больших масштабов и широкого размаха» (см.: СС, т. 6, с. 299). Такой подход Блок видел в деятельности С. М. Алянского (см.: СС, т. 6, с. 525).

10. После раскрытия заговора руководящей группы партии левых эсеров в Москве и Петрограде были произведены аресты среди лиц, так или иначе связанных с этой партией. Блок был арестован (15 февраля) в числе петроградских литераторов, сотрудничавших в левозеро-вских изданиях (освобождены 17 февраля, после выяснения непричастности их к заговору).

11. См. воспоминания А. З. Штейнберга в сб. «Памяти Александра Блока». П., 1922, с. 35–53 (речь, произнесенная на открытом заседании Вольфилы, посвященном памяти Блока, 28 августа 1921 г.).

12. См. «План представления» (для «Исторических картин», задуманных А. М. Горьким) – СС, т. 4, с. 543.

13. Ср. запись об этом докладе в дневнике К. И. Чуковского — ЛН, кн. 2, с. 246.
14. Ср. в письме А. М. Горького к К. А. Федину от 3 марта 1926 г.: «Гуманизм в той форме, как он усвоен нами от евангелия и священного писания художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм — плохая вещь, и А. А. Блок, кажется, единственный, кто чуть-чуть не понял это» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти т., т. 29. М., 1955, с. 457). По предложению Горького Блок 9 апреля 1919 г. развил свои мысли о гуманизме в специальном докладе «Крушение гуманизма» (см. т. 4 наст. изд.). Непосредственно после доклада состоялась его длинная беседа с Горьким, которую тот тогда же записал (М. Горький. Собр. соч., т. 15. М., 1951, с. 327—333).
15. Эта и следующая запись связаны с работой над докладом «Крушение гуманизма».
16. См. <«Юбилейное приветствие Горькому»> (т. 4 наст. изд.).
17. См.: А. С. Пушкин. Евгений Онегин (гл. 2, строфа VI).
18. Запись связана с подготовкой списка русских писателей XVIII и XIX вв., чьи сочинения предполагалось выпустить в изд-ве Гржебина. См. «О списке русских авторов» (т. 4 наст. изд.).
19. «Книга о Горьком», заказанная изд-вом Гржебина Блоку и Чуковскому в связи с юбилеем писателя, не была написана. Блок, который должен был быть не только редактором, но и автором основной статьи о Горьком, лишь приступил к сбору материалов. С работой над этой книгой связан ряд следующих ниже записей о Горьком.
20. Журнал «Завтра», проектировавшийся А. М. Горьким и З. И. Гржебиным.
21. «Крушение гуманизма».
22. «За гранью прошлых дней», сборник юношеской лирики.
23. Колокольный звон по случаю «Страстной субботы» (пасхальная ночь).
24. Переработка ранних стихов.
25. Отказ от поста председателя режиссерского управления Большого драматического театра. См. письмо к М. Ф. Андреевой от 27 апреля 1919 г. (т. 6 наст. изд.).
26. *Стрельна* — дачная местность под Петроградом, куда Блок совершал частые поездки.
27. Об этом чтении см.: Конст. Федин. Писатель. Искусство. Время. М., 1957, с. 35—36.
28. См. примеч. 18.
29. Переводя на новый стиль дату своего рождения (по ст. стилю — 16 ноября 1880 г.), Блок ошибочно, по инерции, прибавлял вместо 12 дней (как полагалось в XIX в.) — 13 (для XX века).

1. А. Белый говорил о современной поэзии и читал отрывки из романа «Записки чудака».

2. Вечер Блока состоялся 21 июня в Доме искусств.

3. См. запись от 26 июня 1920 г. в дневнике К. И. Чуковского (ЛН, кн. 2, с. 253).

4. Здесь, как и в других местах, под фельетоном Блок разумеет статью общественно-политического характера. Неясно, какое именно произведение В. И. Ленина имеется в виду. Может быть, работа «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», написанная к открытию II конгресса Коминтерна и вышедшая в Петрограде отдельным изданием в июне 1920 г.

5. В июне 1920 г. Блок был избран председателем учрежденного в Петрограде отделения Всероссийского союза поэтов. Вскоре в Союзе начались конфликты, вызванные стремлением группировки поэтов-акмеистов во главе с Гумилевым занять командное положение и изолировать поэтов, близких Блоку. В этой обстановке Блок 5 октября 1920 г. сложил с себя полномочия председателя, но 13 октября делегация поэтов явилась к Блоку на дом и уговорила его остаться на своем посту. См. об этом: В. А. Зоргенфрей. Александр Александрович Блок (БВС, т. 2, с. 30–31), Надежда Павлович. Из воспоминаний об Александре Блоке (БВС, т. 2, с. 398–400), Всеволод Рождественский. Александр Блок (БВС, т. 2, с. 214–215) и его же статью «Как это начиналось» (сб. «День поэзии». Л., 1966, с. 89).

6. Стих. «Венецейской жизни, мрачной и бесплодной...».

7. Ср. стих. Н. Гумилева «Слово» (вошло в сб. «Огненный столп». П., 1921).

8. В. Пяст в 1918 г. порвал отношения с Блоком в знак протеста против «Двенадцати» и общественно-литературной позиции Блока.

9. «Саван Мухаммеда бек-Амер-ель-Мансура». (Перевод напечатан в альм. «Литературная мысль», 1. П., 1922.)

10. «Китайская литература» (сб. «Литература Востока», вып. 2. П., 1920).

11. См. примеч. 4 к записям 1919 г.

12. В этом журнале Блок напечатал статьи: о «Дон-Карлосе» («Король и свободный гражданин»), «Дантон», «Шиллер и его „Разбойники“» и несколько стихотворений.

13. См. примеч. 29 к записям 1919 г. См. письмо Блока к Э. Ф. Голлербаху от 21 августа 1920 г. по поводу книги, которую тот предполагал издать в честь сорокалетия поэта (СС, т. 8).

14. Имеется в виду «Открытое письмо Уэллсу» Мережковского в парижской газете «Последние новости» (1920 г.) — ответ на книгу

Уэллса «Россия во мгле». Злобный пасквиль на Горького и «Всемирную литературу».

15. Полный отзыв о пяти пьесах см.: *СС*, т. 6, с. 328–330.

1921

1. См. отзыв Блока о пьесе А. Чапыгина – *СС*, т. 6, с. 429.

2. Неточная цитата из стих. Тютчева «Чему молилась ты с любовью...».

3. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности» – провозглашалось в первом манифесте футуристов «Пощечина общественному вкусу» (декабрь 1912 г.).

4. Имеется в виду акмеистический «Цех поэтов» во главе с Н. Гумилевым. См. «Без божества, без вдохновенья» (т. 4 наст. изд.).

5. О работе Блока над планом издания строго избранного («маленького») Пушкина см. в воспоминаниях Е. Ф. Книпович (*ЛН*, кн. 1, с. 32–33).

6. Строка «Пускай умру, но пусть умру любя!» содержится в пушкинской элегии «Желание». Стих. «Уныние» («К ***» – «Не спрашивай, зачем унылой думой...») относится к 1817 г.

7. В 1819 г. Александр I, заботившийся в то время о своей репутации «либерала», прочитав «Деревню», велел «благодарить Пушкина за добрые чувства». В 1836 г. в стих. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Пушкин сказал: «И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал».

8. «Не дорого ценю я громкие права...». Сделанная Пушкиным ссылка на Пиндемонти – мистификация из цензурных соображений.

9. См.: А. А. Потебня. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905, с. 42.

10. Ссылка на т. VI Собр. соч. Пушкина под ред. С. А. Венгера. Изд. Брокгауза–Ефрона. На с. 492 этого тома помещен комментарий к стих. «Из VI Пиндемонте».

11. Имеются в виду мысли Грибоедова о свободе художественного творчества, высказанные в письме к П. А. Катенину от первой половины января 1825 г.: «Искусство в том только и состоит, чтоб подделываться под дарование...» (А. С. Грибоедов. Полн. собр. соч. в 3-х т., под ред. Н. К. Пиксанова, т. 3. Пг., 1917, с. 168–169).

12. См. стих. Фета «Псевдопоэту».

13. Заключительная строка из стих. Пушкина «Из Пиндемонти».

14. Из стих. Пушкина «Деревня».

15. См. стих. «Пушкинскому Дому».

16. См. воспоминания В. А. Зоргенфрея о Блоке – *БВС*, т. 2, с. 27–28.

17. Ср. рассказ об этой поездке в дневнике К. И. Чуковского — ЛН, кн. 2, с. 255—256.

18. В Доме печати Блок подвергся грубым нападкам некоторых выступавших. Малковский, узнав о готовившейся «обструкции», вместе с Б. Пастернаком пытались, но не успели предотвратить ее.

19. *Studio Italiano*, или Итальянское общество — кружок изучения и пропаганды итальянской культуры. Здесь Блок читал «Итальянские стихи» и был встречен «с необычайным радушием».

20. Ю. К. Балтрушайтис занимал пост дипломатического представителя Литвы в Москве.

21. Имеется в виду часть труппы Художественного театра, находившаяся на гастролях за границей.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ

Впервые — «Былое», 1919, № 15, под заглавием «Последние дни старого режима». Печ. по отд. изд.: «Последние дни императорской власти. По неизданным документам составил Александр Блок». Пг., 1921 (документы, напечатанные в Приложениях, здесь опущены).

8 мая 1917 г. Блок был назначен литературным редактором стенографического отчета, который готовила Учредительному собранию Чрезвычайная следственная комиссия, созданная Временным правительством под председательством Н. К. Муравьева для расследования деятельности бывших царских министров и сановников. Работа Комиссии не была завершена, и стенографический отчет при жизни Блока не был опубликован (издан в 1924—1927 гг. в 7-ми томах под заглавием: «Падение царского режима»). Книга написана Блоком на основании документов, собранных Чрезвычайной следственной комиссией, и материалов проведенных ею допросов. Ценный дополнительный материал к книге (в частности — характеристики отдельных лиц, подвергавшихся допросу в Комиссии) содержится в дневнике и записных книжках 1917 г. (см.: СС, т. 7 и 3К), письмах к матери (май — август 1917 г. — «Письма к родным», 2; СС, т. 8; т. 6 наст. изд.). См. также Приложения в наст. томе, с. 361—364.

1. Григорий Распутин был убит кн. Ф. Юсуповым, вел. кн. Дмитрием Павловичем и В. Пуришкевичем в ночь на 18 декабря 1916 г.

2. Здесь и далее Блок ссылается на Приложения к отд. изд. книги «Последние дни императорской власти».

3. *Кувака* — минеральная вода, производством которой занимался комендант Зимнего дворца Воейков.

4. В ноябре 1916 г. лидер черносотенцев Марков 2-й, стремясь сорвать очередное заседание Государственной думы, устроил громкий скандал и назвал в заключение председателя Думы «мерзавцем».

5. *Государственный совет* — высший законосовещательный орган Российской империи в 1810—1917 гг. В 1906 г. был преобразован в полупредставительный орган, наделенный административно-совещательными функциями. Играл крайне реакционную роль и тормозил проведение в жизнь даже самых умеренных проектов Государственной думы (упразднен в начале октября 1917 г. Временным правительством).

6. *Военно-промышленные комитеты* — организации крупной российской буржуазии, возникшие в мае 1915 г. по инициативе торговых и промышленных верхов. В условиях жестокого поражения, которое терпела царская армия на фронте, комитеты ставили своей задачей мобилизовать промышленность и упорядочить материальное и боевое снабжение армии для продолжения империалистической войны «до победного конца». В связи с ростом революционного движения царское правительство в январе 1917 г. арестовало «рабочую группу», созданную в Петрограде меньшевиками и эсерами при Центральном военно-промышленном комитете. Большевики, бойкотировавшие Военно-промышленные комитеты, выступали против участия в них рабочих.

7. *Особое совещание по государственной обороне* было создано царским правительством в противовес Военно-промышленным комитетам, которые постепенно превратились в подсобный орган в деле снабжения армии и распределении промышленных заказов.

8. «*Земгор*» — сокращенное название объединенного Комитета все-русского земского и городского союзов, в состав которого входили Земский союз и Союз земств и городов. В 1915—1916 гг. под влиянием поражения русской армии выступал за создание правительства, облеченного доверием буржуазии, в интересах успешного ведения войны.

9. 102-я статья царского Уголовного кодекса касалась преступлений, направленных на подрыв и ниспровержение государственного строя.

10. Гренадерская рота Преображенского полка, участвовавшая в перевороте 1741 г. при вступлении на престол Елизаветы Петровны и ставшая личной охраной императрицы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ

1. СООБРАЖЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ СТЕНОГРАФИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ

Впервые – «Вопросы литературы», 1962, № 1.

1. Н. Д. Голицын.
2. На допросе в Чрезвычайной следственной комиссии Н. С. Чхеидзе показал, что председатель Государственной думы М. В. Родзянко знал о провокаторской деятельности Малиновского, но не сообщил о ней.
3. День объявления Россией войны Германии.

2. <ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ>

Впервые – «Вопросы литературы», 1962, № 1.

1. Речь идет о царской семье.

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ О НЕКРАСОВЕ>

Впервые – «Летопись Дома литераторов», 1921, № 3, 1 декабря. Печ. по изд.: «„Чуккокала“. Рукописный альманах Корнея Чуковского». М., 1979, с. 214, где анкета и рукописные ответы на нее Блока воспроизведены факсимиле. На анкету, организованную К. И. Чуковским, помимо Блока, отвечали А. М. Горький, В. Маяковский, А. Белый, А. Ахматова, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов и др.

1. См. письмо И. С. Тургенева к Я. П. Полонскому от 13 января 1868 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Девушка розовой калитки и муравьиный царь	7
Сказка о той, которая не поймет ее	18
Молнии искусства. <i>Итальянские впечатления</i>	
〈Предисловие〉	22
Маски на улице	25
Немые свидетели	26
Вечер в Сиене	31
Взгляд египтянки	33
Призрак Рима и Monte Luca	35
〈Wirballen〉	39
Памяти К. В. Бравича	41
Исповедь язычника. <i>Моя исповедь</i>	44
Памяти Леонида Андреева	54
Ни сны, ни явь	61
АВТОБИОГРАФИЯ	65
ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК	77

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ

От составителя	281
I. Состояние власти	282
II. Настроение общества и события накануне переворота . .	294
III. Переворот	314

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ

1. Соображения об издании стенографических отчетов. <Докладная записка председателю Чрезвычайной следственной комиссии>	361
2. <Характеристики отдельных лиц, не вошедшие в окончательный текст>	363
<ОТВЕТ НА АНКЕТУ О НЕКРАСОВЕ>	365
Примечания	367

Блок А.

Б70 Собрание сочинений: в 6-ти т./Редкол.: М. Дудин и др.; Оформ. худож. Н. Нефедова. — Л.: Худож. лит., 1980 — 1983.

Т. 5. Лирическая проза. 1906—1921. Автобиография. 1915. Из дневников и записных книжек. 1901—1921. Последние дни императорской власти. 1918./Сост. Вл. Орлова. Примеч. И. Исакович и Вл. Орлова. 1982. — 408 с.

Пятый том составляют произведения автобиографического и отчасти мемуарного характера, а также документально-публицистическая работа «Последние дни императорской власти». Первый раздел включает цикл статей «Молнии искусства» и др. В раздел «Из дневников и записных книжек» отобраны лишь самые существенные записи, помогающие лучше понять эволюцию мировоззрения и художественного творчества Блока, а также освещающие литературное движение в России первых двух десятилетий XX века.

7 апреля 1983 года
Берлин
Г. Магадан.

Александр Александрович Блок

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ
ТОМ 5

Редактор Т. Мельникова
Художественный редактор Р. Чумаков
Технический редактор Н. Литвина
Корректор М. Зимина

ИБ № 2628

Сдано в набор 02.04.82. Подписано в печать 22.11.82.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Плэнтин».
Печать высокая. 21,42 + вкл. 0,05 = 21,47 усл. печ. л.
23,62 усл. кр.-отт. 18,82 + 1 вкл. = 18,87 уч.-изд. л. Ти-
раж 300 000 экз. Заказ № 375. Цена 1 р. 70 к. Ордена
Трудового Красного Знамени издательство «Художественная
литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград,
Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское произ-
водственно-техническое объединение «Печатный Двор» име-
ни А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государствен-
ном комитете СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский
пр., 15